

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Д Е В Я Т А Я

С Е Н Т Я Б Р Ъ

М О С К В А

4 . 9 . 3 . 1

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. ИЛЬЯ РУДИН. — Точка опоры, повесть.	5
2. ВИСС. САЯНОВ. — Три стихотворения.	35
3. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. — Море, люди, дни, из книги «Поход «Седова».	38
4. НИК. СМЕРНОВ. — Зирка, из книги «Человек и жена».	48
5. АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ. — Два стихотворения.	62
6. АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ. — Черное золото, роман, продолжение.	63
7. ЛЕВ НИКУЛИН. — Записки спутника, воспоминания, продолжение.	75
8. ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ. — К портрету Р., стихотворение.	108
9. МАРК ТАРЛОВСКИЙ. — Фергана, отрывок из поэмы.	109
ЛЮДИ И ФАКТЫ.	
10. ДЗАХО ГАТУЕВ. — Два перевала, очерк.	111
11. ДМИТРИЙ СТОНОВ. — Верный путь, заметки.	126
12. ГЕОРГИЙ ГАЙДОВСКИЙ. — Джизакский рейд, очерк.	135
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО.	
13. Н. ПИКСАНОВ. — Как учился молодой Горький.	146
14. АРК. ГЛАГОЛЕВ. — «Гидроцентраль» М. Шагинян.	158
15. Л. ЗИВЕЛЬЧИНСКАЯ. — О плакате и его роли в социалистическом строительстве.	166
16. ЕВГ. ЛАНН. — Из английской литературы.	173
17. АВГ. РАШКОВСКАЯ. — «... Без руля и без ветрил», новости фран- цузского романа.	178
ЗА РУБЕЖОМ.	
18. Е. ГНЕДИН. — Лето 1931.	185
19. С. ГАЛЬПЕРИН. — Подвиги генерала Урибуру.	198

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

	<i>Стр</i>
Т. НИКОЛАЕВА. — Василий Кудашев «Кому светит солнце».	203
Т. НИКОЛАЕВА. — Б. Левин «Жили два товарища».	203
ДМ. ГЕЛЬМАН. — а) И. Рудин «Галаган», б) Его же «Дикие».	204
АРК. ГЛАГОЛЕВ. — Сергей Третьяков «Месяц в деревне».	205
И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. — Анатолий Кудрейко «Сердце мира».	206
К. ЛОКС. — И. Фефер «Сборник стихов».	206
К. ЛОКС. — Ваан Тотовенц «Жизнь на древнеримской дороге».	207
И. СЕРГИЕВСКИЙ. — М. А. Цявловский «Книга воспоминаний о Пушкине».	207
И. СЕРГИЕВСКИЙ. — В. А. Сологуб «Воспоминания».	208

Точка опоры

Повесть

ИЛЬЯ РУДИН

Левон был известен всей округе своей мастеровитостью. И не в том его слава, что он, как любой кузнец, приваривал лемехи, подковывал лошадей, натягивал шины на колеса, ремонтировал бабьи домашние предметы, лудил, паял всякую утварь, а в его умении вытачивать железо и мастерить мелкие вещицы с фантазией: удивительные зажигалки, коробочки, открывавшиеся со звоном, ножики со штопором. Однажды Левон выдумал вещицу, которая поразила всех хуторских вышивальщиц. Вещицу эту Левон приказал называть фингрутом, хотя с виду она была обыкновенным наперстком, который обладал притягательным свойством — подхватывал на лету иголку и прижимал ее к себе крепко, как любимую, жарко. Никто не знал, что фингрут или попросту наперсток был намагничен Левоном большим магнитным бруском, который он тщательно прятал от людей, точно так же, как он прятал от любопытства свой самодельный токарный станочек.

Но еще больше был известен кузнец своим чудомыслительством и желанием выдумать какой-нибудь особый механизм — говорящую машинку или железного соловья, который прославил бы его и на суше, и на море. Конечно он не сотворил такого соловья и только безмерно томился, сторонясь людей и скрывая от них свои секреты, гордый, тяжелорукий и вздыхающий по-воловы.

Мужики знали о его причудах и уважали его за талант и за бескорыстие. С ним о цене не спорили. Глаза его тосковали и тянулись куда-то в неопределенную точку, увеличивались и сияли.

Платили ему по совести, без договора, не глядя в глаза и боясь обидеть.

Так прожил Левон до тридцати лет, не позволив глазу залюбоваться женщиной; разве только обратил он внимание на новую учительницу Александру Семеновну, понимавшую его душу. Это у нее он выпросил мудрую книжку алгебры и познал много секретного в мире, которое не было известно тысячам людей. Как бы обыкновенное число, помноженное на себя раз, еще раз, или трижды по четыре и больше, вырастает непомерно. И в гордыне своей вообразил себя кузнец этим самым числом. Будто постигнув секреты ремесла, а также сотворив из железа интересные предметы, он возведет себя в большую степень квадрата.

Тесле невдомек были причуды кузнеца, он-то хорошо его знал и желал только одного — залучить кузнеца в мастерскую.

«Какие бывают люди, — подумал он, глядя на кузнеца, который подошел к горну и стал раздувать его, дергая за ручку мехов. — У него ни кола, ни двора, ни хозяйки, ни лошади, а гордится. Чем? Мастерством своим? так ведь оно как орех, — в одиночестве мелкокалиберно».

— Ну где, ну в чем твой корень? — спросил он строго и присел на край колодки, где была наковальня. — У тебя сапоги просят каши, а ты артачишься.

Левон не ответил; он качал ручку, мехи опухали и, вздыхая, выпускали ветер, шумный и злой, в ровчак горна. Горн сверкал, уголья стали белыми, а подосок стал кроваво-темным, как рана. Казалось при взгляде на мехи и на горн.

что огромный медведь с румяным чревом, наполненным воздухом, и с огненной головой лижет свою больную лапу.

— Я качаю... качаю огонь, как воду, — сказал Левон, размахивая ручкой, как коромыслом насоса, — и на угольях плаваю железо, чтобы оно было мне покорным. Ага, я все могу. Я наделаю тысячи предметов, — лопаты, топоры, резаки понесут мое имя по всему миру. Я на них поставлю мою печатку, и лопата, вгрызаясь в почву, скажет: «Левон!» Топор, стуча лезвием, скажет про меня дереву, а оно упадет и крикнет: «Ой, Левон!»

Он нагнулся к горну и длинными щипцами извлек из него раскаленный подосок, на котором вспыхивали белые звезды, и поднес его к наковальне. Тесля поспешно отошел в сторону, а Левон ударил по железу молотком. Красная и обнаженная, как язык, полоса легко поддалась удару и вытянулась. Левон переворачивал ее и клал на бок, не жалея ударов, которые он наносил плоской частью молотка, потом он поставил на надосок зубило, ударил по нему не больше двух раз, придвинул брусок в месте рубца на край наковальни и легко отломил молотком кусочек железа, упавший на земляной пол кузни.

— Есть у меня большущий секрет, — сказал Левон, осторожно отодвигая носком сапога железный кусок, чтобы невзначай не наступить на него, — я задумал одну интересную машину, и если только она пойдет у меня, тогда я действительно умножаю себя в третью степень куба, — это аглебричное понятие.

Он опустил раскаленный подосок в ведро с водой. Вода зашипела, и из ведра поднялся белый и невзрачный дымок, а подосок стал черно-сизым.

— Если только машина пойдет, то делаюсь я равным не иначе как создателю, который из старого железного лома сделал мир. Он-то ведь, ха-ха, тоже кузнец — создатель. Он-то ведь сочинял машину не в колхозе, а один без подручных, он даже не нанимал себе в помощь молотобойца.

— Ах ты, столб горький, — проговорил Тесля, широко улыбаясь и моргая подслеповатым глазом. — Ого! А мозги, а ученость у тебя есть, а хватит ли ин-

струментов, чтобы выдумать такую машину?

— Из народа я, — ответил покорно Левон. — Бывают ведь крепкоголовые мужики из народа — Емелька, Ломонос, а также Ленин... — Левон словно испугался и произнес тихо, — у него сердце светло и голова вместительна.

— Ах ты, столб, — крикнул Тесля и, тряся бороденкой, пошел грудью на кузнеца, который смущенно попятился к горну. — Какие позволяешь себе сравнения! С кем?

Левон упрямо отворачивал голову, но не двигал плечом, на которое обрушился Тесля. Вдруг он поднял руку и отстранил Теслю с такой легкостью, как если бы он передвигал свой меньший молоток. Его глаза блестели, но с наволокой, с туманом, когда он сказал:

— Был один кузнец, — мне о нем рассказывала учительница, — по прозвищу Архи-Мёд. И как бы мог он перевернуть мир, да не было у него на что опереться, то-есть не было на что стать, раз он самую землю мыслил перевернуть. Так ведь я, наоборот, я ведь не перевернуть хочу мир, а построить его особенно, но как — не знаю. Меня металлы тревожат. Железо меня хрипло просит, когда я бью его, сталь визжит, когда я ее купаю в ведре: «Сделай из нас, Левон, жизнь, чтобы мы дышали, как ты, а то скучно в механике».

Он опустил голову и увидел кусочек железа, который за минуту до этого он отрубил зубилом. Он хотел его поднять, но поскользнулся и стал на одно колено, не выпрямился и опустился на другое колено. Не подымаясь с пола, своим покорным видом тревожа Теслю, он стал жаловаться.

— Почему я не такой, как все? Я будто гвоздик проглотил. Я хочу душу вдунуть в вещество и сделать одну машину, какую — не скажу. — Он вздохнул и внезапно признался. — По ночам не сплю, все думаю о моей машине. Но если бы она даже двинулась, все равно я не успокоился бы. Эх, неужто я глупый!

Он произнес это, протягивая руки и все еще стоя на коленях. Его голос прозвучал жалобно, а глаза потемнели от тоски и стали еще глубже.

— Между прочим мое мнение об Ар-

хипе Меде,—сказал Тесля,—он должно быть из справедливых мужиков, раз он хотел повернуть землю в те времена, когда она была еще барской и кулацкой. Так и случилось — земля повернута, но не Архипом, а нами. Теперь значит понял, где его пункт опоры.

— Где? — спросил Левон.

— На нашем большом дворе: Иди, говорю тебе, к нам; весна прет, вчера со станции мы привезли новенький инвентарь — сеялки, жатки и молотилку; отремонтировали старые трактора, да два новых получили. Иди к нам, работа есть.

— Нет, не пойду, — отказался Левон.

Тогда Тесля стал его упрашивать и грозить. Он называл его ласковыми прозвищами и тут же ругал. Он пустил в ход всю сумму доказательств, какими он обыкновенно уговаривал хуторян войти в колхоз.

— Нет, — качал головой Левон, — не пойду.

— Ну и есть ты гордец проклятый! — крикнул с отчаянием Тесля и вышел.



Левон прислушался к его шагам, хлопавшим по весенней грязи, надеясь, что Тесля возвратится и начнет его еще раз упрашивать. — Ему было приятно такое внимание. Он с уважением подумал о Тесле. Невзрачный мужик и не мастер, а доволен своими хлопотами. Уже прошло много лет с тех пор, как Тесля был начальником партизанского отряда трех хуторов, и вот, счастливая бестия, никак не угомонится Тесля: построил колхоз и служит при нем как бы паровозом. И тут Левон стал думать о колхозе. Конечно проку в нем больше, чем в отдельном хозяйстве. Так разве доля человека в богатстве, в жратве? Ему-то, мастеру, прожившему век свой на скромных пищах, ему не жратва, а овладение нужно, ему надо лепить железо. Он вспомнил о своей машине.

И надо открыть его секрет: машина эта называлась вечной. Она никем еще не построена, хотя многие над ней трудились. Вечная машина, по желанию ее мастера, должна двигать свой маховик

беспрерывно всю жизнь, и раз пущенная, она, как земля, как солнце, никогда не остановится.

Вечную машину Левон задумал недавно. Она должна была стать первым пунктом, который возведет его в степь. Ибо, если только машина двинется и колесо ее зарулит на веки веков, то мастер действительно станет вечным. То-есть он конечно умрет, но ведь колесо будет вертеться, как солнце, и славить мастера. Годы, миллионы годов пройдут, а колесо поет и значит мастер жив.

Свою машину он любил мучительно, как иная мать своего ребенка. Из-за нее он не спал по ночам. Он хранил ее в кузне, иногда по вечерам нес домой и там просиживал над ней до глубокой ночи. Возвращаясь утром в кузню, он брал с собой машину, осторожно неся ее в наволочке. Он словно боялся оставить ее без присмотра, или, может, он не мог расстаться с ней ни на минуту, как нельзя на минуту расстаться со своим сердцем.

Она стояла за точильным станком, накрытая листом жести. Левон откинул его и поставил машину на столик, где лежали напильники и мелкие инструменты.

И признаться — машина-то была похожа на бабью прялку. Между двух шпеньков было насажено деревянное колесо, в роде мельничного, с коробочками, в которые из небольшого ковша, находившегося выше колеса, падали свинцовые дробинки и своей тяжестью будто принуждали колесо вертеться. Дробинки, как град, стучали в коробочки и оставались в них. Колесо, повернувшись, должно было высыпать дробинки из коробочек в ковш, а оттуда опять в коробочки. Они словно оседают и вертят колесо. Но не повернулось колесо ни разу, потому что коробочки отяжелели от дробы и не полезли вверх: на обеих половинах колеса оказался одинаковый груз. Тогда Левон придумал наклонное водяное корыто, в которое он поместил ту половину колеса, что вместе с коробочками должна была подниматься вверх. Половина деревянного колеса потеряла в воде часть своего веса, колесо повернулось один раз. Левон стал регулировать высоту ковша и силу падения

дробинок и после томительных и долгих опытов добился того, что колесо повернулось два раза. То был большой праздник для кузнеца и в радости он дал машине имя «Саша». Он нарек ее человеческим именем, едва она обнаружила первые признаки жизни.

Он уселся возле машины и стал мечтать. Ну, да, машина должна осчастливить людей. Какие золотые времена настанут на земле. Машина будет жать, молотить, садить и копать картофель, рубить дрова, освещать. Ночи на земле не станут. Два солнца служат людям — одно небесное, а другое его, Левона. Какие пиры, какие высокие жита и травы. И не золото, а смех, хохот счастливенький на земле. «А кто мастер всего этого?» — спрашивают пьяные от радости люди. «Как, или не слышали? Левон — кузнец, алгебричная голова!» — «Это который, — спрашивают, — в пику создателю мир его достроил?» — «Он, он, — кричат звонкие люди, — это он такие чудеса настроил!»

— Тьфу, я прямо пьян, — сказал Левон вслух и провел ладонью по лицу, как человек, просыпающийся после крепкого сна.

Но мечты были завлекательны, и на санках своего воображения он опять унесся в заколдованные страны. Особенно приятно было Левону то, что он по-хорошему понял высокий смысл своего мастерства и цель вечной машины. Как-то все же неловко возводить себя в кубы ради непомерной гордости. А вот ради пользы людей — это совсем другое дело.

И мысли его приняли такой ход: он закончит машину во что бы то ни стало до выезда колхозников на сев. Он принесет ее живую в колхоз и крикнет: «Ага, вот она, жар-птица, в моих руках. Я дарю ее вам. Я счастливый, потому что теперь вы счастливее меня».

Он представил радость Тесли и хуторян и расчувствовался. Ему казалось, что он собственно любит колхоз и ради него строит вечную машину. Чудные мысли закружили ему голову, и, совсем расстрогавшись, он даже заплакал; не скорчился в гримасах плача, а заплакал без слез, говоря машине:

— Ну, ну, лети, моя мыслишка, как пуля... стучите дробинки... Я не гордец,

нет, я добрый... Теперь я немного понимаю, ха-ха, построение в степень... а кто степень? они, человек сто, а я, мастер, множаюсь на людишек. Ха-ха, алгебра. Архи-Мед, ну, чудак — он-то ее искал и там, и этам, а точка на земле...

Он блаженно смеялся и слезы блестели в его глазах.

— Эх, учительница... Она для людей старается, а кто их осчастливит? — Левон. И кто, значит, заслужит ее внимания? — Я!

Мысли его понеслись в школу, и он представил склоненную над столом золотистую, как утиный пушок, учительницу, молоденькую, до того хрупкую, что, казалось, ее сдуют, как пылинку, мехи, когда она, приходя в кузню, заглядывала в горн. Она часто навещала кузнеца и, беседуя с ним, перебирала мелкие инструменты, играла молоточком, вертела точильный камень или качала ручку мехов. Она словно что-то искала в кузне, но повидимому ее интересовал кузнец, чудогрей, как она называла его, горячая голова. Она ему рассказала о законах физики, химии и дала читать алгебру, говоря, что из кузнеца выйдет толк — он будто бы самородок. Левону лестно было слышать хорошие о себе слова, и он признался ей, что хочет достроить мир. Он открыл ей все свои гордые помыслы, учительница только усмехалась. Левон упрекал ее — она вот и кузнецом не может быть. Александра Семеновна схватила самый большой молот и с силой, которую нельзя было в ней ожидать, стала бить по раскаленной пластинке, которую Левон вынул из горна и положил на наковальню. Левон также взял молот. Наперебой, как два добрых молотобойца, они ковали огне-красную пластину. Хуторяне, заглянувшие по срочному делу в кузницу, были удивлены, увидев тонкого подручного в юбке рядом с огромным смолистым кузнецом. Левон, пьянея, воскликнул:

— Бей крепко, комсомолка... мое сердце... а оно — как в горне огонь!

Тогда учительница бросила молот на пол и сказала недовольно:

— Огонь? ну, а в моем лед... Эх, овач... ты романтик...

— А что это такое? — опешил он.

— Это, это... — не договорила она и вышла из кузни.

С тех пор она не появлялась в кузнице. Может быть, она боялась пересудов и толков. Левон же решил, что она равнодушна к нему, ибо он еще ничем не отличился. Фингруты и зажигалки не в счет. Но коли не убедил он ее молотом, то убедит вечной машиной. И у него мелькнула мысль показать машину Александре Семеновне сейчас же. Он положил машину на грудь и осмотрелся вокруг, ища бумагу, чтобы ее завернуть. Наволочка, в которой он всегда носил машину, покрылась пылью и почернела.

В это время в кузницу зашел Супчир, седенький старичок, сухой и жилистый. Левон повернулся к нему, держа машину на груди. В другое время он встретил бы хмуро Супчира, которого он не любил за жадность характера. Но сейчас Левон был в душевном свете, навеянном чудными мыслями. Супчир поклонился и изрек:

— Мои тебе поклоны, Леонтий Пантелеймонович, командир всеж желез. Куешь?

— Немного кую... гакаю...

— А что это ты нянчишь, новый механизм придумал, что ли? — заинтересовался Супчир машиной.

— Это необыкновенный механизм, — сказал гордо Левон, — вечный двигатель, который без пищи будет служить века вечные. Это ты видишь вечную машину...

— Интересно, хе-хе, — закивал Супчир, — ой, мальчик, ничто не вечно под луной. Хотя ты все можешь, ты золотой инженер... ну, яви мне это чудо...

Левон показал ему действие машины, и Супчир, словно восхитившись, наговорил кузнецу много похвальных слов. Будто ждет кузнеца мировая слава и несметное богатство. Вечная машина — божественное изобретение. Этой машиной покорит Левон весь мир и станет императором. Об этом Супчир сказал на ухо Левону, волнуя его таинственным шопотом и обещая ему славу царских масштабов. Левон доверчиво рассказал ему все свои мысли и то, что думает машину закончить до сева, чтобы подарить ее колхозникам.

Супчир назвал кузнеца безумным.

Разве не безумие отдавать золотой клад задарма, и кому — босьякам. Они, вишь, сортированным зерном сеют, а триер чей? — его, Супчира. Раньше он сортировал и молотил трем хуторам за небольшую плату, а теперь ни одна собака не забежит на его двор, потому что бежит она на колхозный двор, пускай его мыши поедят. Безумие — отдавать им вечную силу машины. Какая корысть в этом кузнецу? Да, его ждет слава и роскошные палаты...

— Так ведь мне не дворцы нужны, — признался виновато Левон, — мне нужны... того... Я ведь добрый... — сказал он смущенно. — Я омилосердствую человечность...

Тогда Супчир переменял тактику и напугал кузнеца врагами. Будто есть страшный враг у вечной машины, и враг тот — колхозный трактор. Ведь пока Левон завершит свою машину, они засеют поле, и весь шум славы пропадет. Посев близко, и нужно непременно его отсрочить; пускай они сеют с перебойми и нудятся. Вдруг тут как тут Левон навстречу несет им вечную машину.

— Сожрет трактор твою машину, помни, Левон, — сказал Супчир, стуча пальцем по колесу и пугая Левона, — Сегодня же, не откладывая дела, пойд с молотом — не забудь какого-либо буравчика — в сарай, где стоят трактора и пробей цилиндры...

— Что ты, страшновато... ведь это вред... — испуганно произнес Левон, но по его вспыхнувшим глазам Супчир понял, что эта мысль зажгла Левона.

— Ты царь... царь... — сказал Супчир, закрывая ладонью рот, чтобы Левон не видел его лукавой улыбки, — ты могучий инженер, и враг твой — трактор, не тобою сделанный. Я не сомневаюсь, что ты в силах построить еще лучший трактор. И действительно твоя вечная машина — это рай.

— Она сказка, она жар-птица, — счастливо улыбнулся Левон. Не люблю тракторов, они как бы упрек моей машине — они дышат, а она еще нет...

— Ты благодетельствуешь человеческий род, — увлекся Супчир, пряча свои улыбочки и жмуря глаза, словно видя картину счастья на земле, — тебя назовут Левоним Милосердным. Слава

твоя начнется после сева, когда ты запарившимся на лошадях колхозникам протянешь машину и скажешь: «Вот, босяки, вам мой подарок».

— Нет, я не так скажу, — воскликнул Левон, туманясь, — я скажу: братишки, вот жар-птица — берите!

Левон, увлекшись жестом, протянул машину Супчирю, который хитро морщась и рассмеявшись, поставил машину на наковальню. Он вынул из кармана полшубка часы, похожие на будильник, но меньше его, со звонком, спрятанным внутри. Эти часы были известны жителям хуторов и составляли гордость Супчира. На циферблате часов сияла царская фамилия с ее председателем во главе. Царь в красках на эмали был как живой. Супчир говорил своим друзьям, что часы — знак его ожиданий. Стрелка обкружит царскую голову сто тысяч раз и наденет на нее корону. Часы тикают, — время работает на царя.

— Вот что, — протянул он часы Левону, — я приду, как стемнеет, а пока посмотри: ход правильный, но не звонят.

Он поставил часы рядом с машиной и вышел, обещая возвратиться через час. Левон опасливо посмотрел на часы. Кузнецу лестно было, что Супчир доверил ему часы, но вместе с тем он боялся, что не поймет их механизма. Он никогда не имел дела с часами.

Он открыл крышку часов и содрогнулся, увидев маленькие колесики, пружины и крохотные зубчики. Что с ними делать? Разобрать часы конечно можно, но составить их? Да и щипцов маленьких нет. «А ведь срам для мастера, — подумал он, — строящего машину, рассчитанную на века, не одолеть прибора, который отсчитывает минуты и часы». Эта мысль огорчила его. Рядом на наковальне стояли вечная машина и машина коротких минут, и, глядя на них, Левон огорченно думал, что, пожалуй, не оживит он вечную машину, если он не сможет починить обыкновенных часов. Но, поворачивая часы косо на луч, он вдруг увидел в зубчиках посторонний предмет — кончик иглы, которую, видно, сломал Супчир, ковыряясь в часах. Он намагнитил длинное и тонкое шило, просунул его в зев колеса и с трудом коснулся обломка иглы.

Обломок прилепился к острию шила и вместе с ним был выгашен из часов. Пружина звонка натужилась и привела в движение весь механизм звонка; колесо двинулось, забегал боек — часы стали звонить. Звон пробудил в кузнеце его надежду; часы будто звонили о его мастерстве и еще о том, что машина его станет вечной.

Звонок был услышан Супчиром, зашедшим в кузню. Он бросился к своим часам — они были исправлены. Он завел ключом пружину — часы звонили.

— Ты мудрый инженер, ну, Левон, ты голова, — сказал он, словно восхищаясь. — Так что, царек... теперь айда на твоего главного врага...

Левон тяжело вздохнул и сел на колодку. Сердце его тоскливо сжалось. Супчир вынул из кармана две бутылки водки и на закуску завернутые в бумагу огурчики. Он сказал, что нарочно бегал домой за угощением; водка будто не простая, а английская, из города привезена, в чем кузнец может убедиться, прочитав наклейку на бутылке.

На третьем стакане Левон захмелел и вообразил себя царем вселенной. Он размахивал подоском и грозил разрушить всех врагов, если они станут поперек дороги. Супчир не пил, но показывал, что пьет, незаметно выливая жидкость себе под ноги. Он знал силу кузнеца, который хмелел головой, а с ног не валялся даже при пятом стакане.

Когда стемнело, Супчир, прихватив лом, запер кузню и повел захмелевшего кузнеца на колхозный двор.

Часы же свои Супчир забыл в кузнице.

На колхозном дворе было темно. Конишня и коровник примыкали друг к другу, образуя стену, служившую защитой двору с передней стороны. Дальше от углов этих построек шла высокая ограда, окружавшая весь двор, который на другой стороне, противоположной хутору, замыкался длинным сараем. В самом дворе, ближе к середине, возвышалось еще несколько построек, среди которых был примечателен двухэтажный дом, отделанный под терем приезжим самотытным плотником Пяталым, не пожалевшим своего таланта и леса, который был у хуторян в изо-

билии. От шеста, воздвигнутого над тремом, к другому шесту на крыше сарая шла антенна, которую провел Ничипорок, общий любимец, шестнадцатилетний мальчик, голова, большой мудрец, беспризорный сирота.

Супчир незаметно крался вдоль ограды, таща за собой кузнеца. Они остановились у тыльной стены сарая, где было заколоченное досками отверстие для окна. Левон твердо держался на ногах, но был смутен и не понимал толком, куда ведет его Супчир, как клещ, крепко державший его за руку и не отпускавший от себя на шаг.

— Становись на мои плечи, — приказал Супчир, — ломом подцепи доску и залезай, пускай господь благословит тебя на сурьезное дело.

— Не полезу, — отказался Левон.

— Ну, ты, царек, — грозно шепнул Супчир, — для своей пользы, не для моей, лезь туда, громи проклятое гнездо, лезь, говорю.

— Не полезу, — тупо покачал головой Левон.

— Вот что, — догадался Супчир, понимая, что ему не осилить упрямства кузнеца, — я сам подцеплю доску, я ведь твой друг по гроб жизни. А ты значит хлынешь в готовую дырку. Наклони голову.

— Это я могу, — сказал покорно Левон и склонил голову, держась за стену руками.

Супчир ловко взобрался на его спину и утвердился обеими ногами на его плечах — голова кузнеца оказалась между его сапогами. Послышался визг гвоздей, отрываемых от дерева вместе с досками, под которые Супчир просунул лом. Ему предстояло еще освободить верхний край досок; он стал на голову Левона, защищенную бараньей шапкой. И пока он громил ломом, отрывая доски, Левон вздрагивал при каждом ударе, чувствуя, как голова его тупеет под тяжестью Супчира. Он встряхнул головой, и Супчир, поскользнувшись, ухватился за край окна, с которого уже были сняты доски. В нечаянном движении он уронил лом, упавший внутрь сарая.

— Подними мой предмет, — сказал Левон и, неожиданно расщипав, толкнул Супчира в отверстие. Супчир

мелькнул сапогами и исчез в сарае. Через минуту послышался его стон и жалобы.

Левон пролез в отверстие до половины и увидел Супчира с зажженной свечой в руках, отыскивающего лом. Супчир нашел его под крылом жнейки. Он передал свечу Левону и со зла треснул ломом по крылу.

Левон высоко поднял над собой свечу; она скупо осветила тела мирно спавших машин. В углу возвышалась мощная молотилка с темным корпусом и открытой пастью. Она словно звала во сне, открывая рот, в котором замер крепкий барабан со стальными белыми зубами. Рядом стояла шеренга стройных сеялок с сошниками, которые почти касались земли. Зеленые, многокорпусные плуги спали, держа наготове когти лемехов. На белой стальной массе отвалов дрожали жидкие пятна свечи.

Левон, лежа на животе и упираясь локтем в крыло жнеи, стоявшей у отверстия, протягивал свечу на длину руки, стараясь заглянуть в далекие углы сарая, где были бороны и другие орудия земли. Он огорченно смотрел на становящиеся машины земли, которые только и ждали сигнала, чтобы двинуться в поле и осчастливить людей; его же вечная машина пока бессильна работать на себя, а не то что на других; от нее пользы меньше, чем от самого мелкого лушильника. Какие неведомые кузнецы построили эти механизмы?

«Может, я глупец, — думал Левон, колебля свечу, — может, мне лучше делать зажигалки и фингурты. Молотилка больше кита, и сеялки сеют; эти невечные машины, может быть, более вечны, чем моя? Может, я добрый глупец с моим несчастным гордым сердцем?»

Пламя свечи упало на середину сарая, где стояли рядом четыре трактора. Они были обращены к Левону своими передками и словно смотрели на него вызывающе и насмешливо. Левон только теперь заметил их. Ему показалось, что тракторы уже давно подсматривали за ним и ждут только сигнала, чтобы ринуться на него и уничтожить. В его хмельном сознании они приняли вид диких кабанов, обнаживших клыки и угрожавших. Вот они тут перед ним, железные враги его вечной машины. Это они,

звери, пьющие керосин вместо воды, затопчут его машину, а заодно и его мечту осчастливить мир.

— Бей их, бей их, — крикнул он Супчир, — они воры, они меня грабят. бей их в зубы и стекла!

— А ну, царек, не верещи, — предостерег Супчир, — держи свечу прямо.

Он подошел к трактору и поднял крышку, потом просунул лом в сплетение металлических частей, где были тонкие трубки и слегка повернул их. Раздался звон металла; какая-то трубка лопнула, соскочила гайка и покатила, стуча по цилиндру.

— Хе-хе, это они цари, а не ты, — сообщил Супчир, кривляясь в усмешках, — а коли они цари, то пускай идут в царствие небесное...

— Бей их в железные копыта, — неистовствовал Левон, — грей их в зад и в перед!

Ерзая на животе, он потрясал свечой, левой же рукой дергал крыло жнейки, стараясь вырвать его и бросить в трактор, но только поломал деревянный зубчик крыла. Тогда он бросил в трактор свою баранью шапку и потушил случайно свечу. Супчир крепко выругался и полез в карман за спичками. Левон притих. Супчир зажег спичку и поднес ее к свече, прося Левона опустить руку. Пока он держал спичку, Левон рассматривал его лицо и удивлялся. Перед ним был хищный дедок с кроваво-зеленым глазом, неприятно отражавшим огонек спички. Зажигая свечу, Супчир обломал спичку, упавшую на руку Левона. Боль словно отрезвила кузнеца.

— Да ты Кощей, — сказал Левон, морщась и поглаживая руку.

— Я, а не ты? — спросил ехидно Супчир, — ха-ха, кощей бессмертный, виноват, вечный. Это мне, старику, приходится утруждать себя ради твоего счастья? Ну, лодырь, лезь сюда... Наверное здесь есть где-нибудь бензин... Невзначай уроним спичку... люблю люминацию...

— Мне что-то непонятно, — пожаловался Левон, — бензин здорово горит. Ведь от него пожар вспыхнет.

— Именно пожар, хе-хе, — подтвердил Супчир.

— Так зачем он? — спросил глупо Левон.

— Для твоего счастья, ха-ха... кощей. виноват, царь бессмертный.

— Вор! — крикнул вдруг на него Левон, — поджигатель, держите вора! — завопил он со всей силы своего голоса.

Супчир взмахнул ломом над головой Левона и треснул по крылу жнейки. Лом задел по руке Левона, в которой была свеча. Свеча упала на платформу жнейки и потухла. Они боролись в темноте. Левон крепко ухватил лом, который тянул к себе Супчир и не мог вырвать. Другой рукой для сохранения равновесия Левон держался за крыло жнейки. Оно уже было надломлено ударом Супчира и легко переломилось, когда Левон изо всей силы потянул к себе лом и сполз с окна, почти касаясь ногами земли. Однако Супчир не выпускал лома, и он остался в его руках внутри сарая. Левон же вместе с крылом упал на землю у наружной стены сарая, потом побежал, размахивая крылом.

Супчир также бросился к окну, чтобы во-время скрыться, ибо кто-то уже открывал ворота. Он забрался было на голову жнейки и просунулся до плеч в окно, но зацепил карманом о костыль поломанного крыла и не успел выскочить. Его стянули за ноги на платформу жнейки и осветили фонарем. Рослый полковод Бурчак и конюх Снегирь узнали старика. Снегирь подозрительно оглянулся и, увидев полом жнейки, взволнованно бросился к тракторам и наделал крика. Бурчак крепко взял Супчира за воротник и подвел к трактору, который осветил фонарем конюх.

— Сожалею, милые, — перекрестился набожно Супчир, — я хотел люминировать сарай с четырех, да, жаль, не успел. Простите меня за незадачливость.

— Ты еще смеешься! — крикнул Снегирь.

— Поцелуй мне, батрачок, ноги, я тебе расскажу о моей сатанинской злости, — предложил Супчир и опять перекрестился.

— Клим, — спросил взволнованно Бурчак, — откуда столько злости?

— Из души, родимый, из моего колодезя, — вздохнул Супчир и признался. — Я всю жизнь мечтал построить дом с водопроводом, а пришлось его строить вам, а не мне. Такой я между прочим

человек, ха-ха, кулак. Поплясали бы вы у меня. Отпустите меня, милые, я пойду водопровод строить...

Снигирь поднял рыжую баранью шапку, валявшуюся у колеса трактора. Он узнал в ней шапку кузнеца и был поражен.

— Я прямо не верю глазам,—сказал он изумленно.

— Прихвати ее, разберемся, — предложил Бурчак и вывел Супчира из сарая. Снигирь заколотил досками отверстие и запер сарай.

А Левон шел по дороге и месил грязь, держа на плече крыло жнейки. Хутора развернулись на две версты. Это было, собственно, село, но с редким жильем, расположенным кучами на берегу глубокой и быстроходной речки. Сейчас она уже двинулась в путь, сбросив с себя зимние оковы. Левон пошел берегом, где было сухо. Он не знал сам, куда идет. Изба и кузня находились в стороне, противоположной той, куда он шел. Он нес на плече крыло жнеи, не понимая, для чего оно ему нужно. Ему казалось, что он держится за крыло, как за столб.

Поднялась луна из-за леса, темной стеной сторожившего другой берег реки, и осветила плывущие льдины. Левон присел на опрокинутую вверх дном лодку, оставленную с осени незадачливым рыбаком. Голова его прояснилась, но на сердце было темно и нудно. Он поставил крыло между колен и оперся на него подбородком, потом, будто только увидев его, в удивлении стал его осматривать и вспомнил все происшедшее.

— Тут что-то не так, — сказал он вслух и засмотрелся на реку.

Льдины толкали друг друга и словно спешили на праздник или на ярмарку. В лунном свете они были похожи на голубые цинковые пластинки; те же льдины, что почернели, покрытые навозом и щепой, казались кузнецу железными паяльниками, поржавевшими в воде.

— Или я глупец? — спросил он сам себя, провожая глазами льдины, — весна радуется своим талантам, а я сижу,

как пень, и крыло у меня в руках переломанное...

В хуторе залаяли собаки, им ответили другие из хутора, находившегося ниже течения реки по правую руку Левона. Он был как раз посередине раскинувшейся цепи хуторов. Луна поднялась выше леса и осветила противоположный берег. Стали видны контуры стволов и отдельные ветки деревьев. Река имела в ширину всего пятьдесят метров, и Левон легко различил даже тонкие деревца. Вдруг он увидел, как из леса вышел человек и остановился у дерева, как вкопанный, убедившись, что не может перейти. Человек стал метаться, но не позвал о помощи. Он видно вспомнил, что мост находится в километре ниже реки, где была школа, и двинулся по берегу.

— Ату на тебя, — крикнул Левон, — не ходи, берег затоплен!..

— Это ты, Левон? — спросил человек, останавливаясь. — Я была в Акимовке на учительском собрании. Вчера, когда я перешла реку, лед еще был крепок. Он пошел, должно быть, сегодня утром. Перегони лодку.

Он подождал, пока между льдинами образовался просвет воды, и спустил лодку. Быстро гребя деревянным обломком, он скоро достиг другого берега и так же перевез учительницу обратно.

Он был очень доволен собой и свысока поглядывал на шедшую рядом с ним учительницу, которая зябко куталась в шерстяной платок, накинутый сверх ее жакета. У кручи, которая была недалеко от школы, они остановились. Этой кручи боялись рыбаки и купальщики-мальчишки. Водоворот поглощал льдины и с силой выбрасывал их обратно. Льдины зачарованно шли в его пасть и, вылетая, ломались, тускло поблескивая под луной, как бутылочные склянки. Мелкое ледяное крошево и брызги воды разлетались во все стороны, достигая берега. Водоворот булькал своим кривым засасывающим горлом и жадно подвывал, слизывая плывущие льдины и тут же выплевывая их, словно были они горькими. Левон молча созерцал кипение водоворота, и гордая самодовольная усмешка сверкала на его губах.

— Тоже Архи-Мед без опоры, —

сказал он и бросил в кручу деревянный обломок крыла.

Обломок на миг скрылся в пучине, потом выскочил из воды, подпрыгнул и лег на льдину, — она и понесла его вниз по реке. Учительница рассмеялась.

— Так значит ты не забыл Архимеда?

— Не забыл, я ведь и двигатель устроил. — И он рассказал учительнице, как устроена его машина.

Александра Семеновна нахмурилась и словно была недовольна. Это удивило Левона, он надеялся, что вечная машина не только заинтересует учительницу, но и обрадует ее. Он тут же поспешил открыть ей, что вечная машина построена им с целью осчастливить мир. Но Александра Семеновна все равно была недовольна.

— Ну ты, ковач, неграмотный, — покачала она упрямо головой, — желая принести пользу людям, ты не забываешь о своей грядущей славе; желая милости людям, ты все равно остаешься индивидуалистом. Да и, помимо всего, машины, которая работала бы вечно без посторонней помощи, ты не построишь, кузнец-голова. Если бы ты поднял машину на несколько сот километров в безвоздушное пространство, где сила притяжения к земле неощутительна, твоя машина действительно стала бы вечной.

Она решительно направилась к берегу, но Левон остановил ее.

— Постой, — спросил он, улыбаясь, — индивидуалист — это хуже глупца? Это я — глупец?

— Это... это, — затруднилась она, вытирая краем платка брызги на щеке, — это когда человек желает добра людям не ради них, а ради своей славы. Это быть одиноличником своего мастерства и своей славы.

Левон положил руку на плечо спутницы; они шли, обнявшись, а между берегами шумела река и ломала льды. В темном лесу, слабо освещенном луной, была видна школа и еще дальше очертания темного хутора. Левон лукаво усмехался.

— Значит, я глупей глупца, — сказал он, подходя к крыльцу школы, — бархалист-индивидуалист. Выходит, что точка опоры не на земле, а под небесами, в пространстве, где даже нету воздуха.

Учительница взошла по ступенькам и уже хотела открыть дверь, но Левон остановил ее восклицанием.

— Постой, я забыл тебе сказать очень интересное. Машина-то ведь имячко имеет... Я ее назвал Сашей...

Александра Семеновна наклонилась к нему близко лицо, почти коснулась его своими ресницами и заглянула в глубину его глаз, погладила по щеке. Затем она слегка тряхнула его за волосы. Она улыбалась и говорила нараспев:

— Ой, ковач, шалая голова... ой, мальчик; что придумал. Я ведь не вечная, прощай и помни о законе превращения энергии.

Она скрылась за дверью. Одно из окон школы осветилось. Учительница опустила занавеску, — Левону были видны только верх ее головы и волосы. Она двигалась по комнате и стучала посудой, она повидимому готовила ужин. Левон, не отрываясь от окна, шептал:

— Я знаю, где энергия, которая движет мир. Ей-ей, это моя любовь. Я, Сашенька, навеки добрый. Любовь — вот это двигатель. Я не глуп, а пьян.

Он пошел по берегу реки, удаляясь от школы и часто оборачиваясь, — окноманило его к себе. Он чувствовал на своем лице теплоту ее руки и моргал счастливо веками и качался, как пьяный. Теперь он наконец узнал источник энергии, которая переключится в движение машины. Это его собственная воля, его желание осчастливить мир и любовь к Саше. И ни в ком другом, а только в нем самом значит находится точка опоры, которую Архимед искал в небесном пространстве, где даже нету воздуха. К нему опять возвратилась вера в свои собственные силы и глубокое убеждение, что машину он построит.

Он быстро шагал по берегу навстречу льдинам, ни разу не вспомнив, где его шапка. У избы его встретила черная лохматая собака, единственный обитатель скудного двора, где не было ни лошади, ни телки. Не зажигая лампы, Левон лег спать. Ему не хотелось видеть нищенства своей избы, которую он не любил за то, что провел в ней одиноко жизнь.

Ночью ему снилась вечная машина, на которой он и учительница будто проле-

гели через водоворот и поднялись высоко в безвоздушное пространство.

Так и не вспомнил Левон, где потерял свою шапку.

С утра он стал править пилу, принесенную его приятелем Шалунком еще неделю назад. Он зажал ее в небольших тисках, щеки которых были обложены ремнем, чтобы острые края их не оставили следов укуса на металле. Плоскими щипцами он придал правильный развод зубьями пилы, потом обточил их напильником. Серые опилки падали на губы тисков, и Левон сдувал их по привычке.

Затем он стал готовить себе пищу. Он сам варил и жарил, ставя горшочек или сковороду на уголья в горн.

Едва он приступил к завтраку, в кузницу вошли Бурчак и Тесля; Левон быстро накрыл сковороду. По их лицам он понял, что они пришли к нему по важному делу и приготовились их слушать.

— Куешь значит свою волю? — спросил Тесля без улыбки и насупил брови.

Бурчак загородил двери, словно намереваясь не впускать никого в кузницу и не выпускать из нее.

— Значит куешь, кувалда твоя мать? — повторил Тесля.

— Она моя мать, а я кую немного, гекаю, — ответил Левон, косясь на Бурчака.

— Так, так, ну, куй. А где между прочим, вольный кузнец, твоя шапка?

Левон провел по волосам и убедился, что шапки на голове нету. Он что-то вспомнил и мигом побледнел.

— Не она ли это твоя рыжуха? — вынул Бурчак из-за пазухи шапку и показал ее.

— Тьфу, моя! — воскликнул Левон и протянул руку за шапкой, но Тесля ударил его слегка по руке и произнес гневно.

— погоди, тут дело не в шапке, а в твоей голове. За одно с Супчиrom? Вред причинить и кому — нам? Кто ты такой после этого? Говори, кто ты такой после этого? — крикнул Тесля, гневно размахивая руками перед его носом.

— Я значит кузнец, что ли, — пролепетал Левон.

— Ты не кузнец, — бросил ему в лицо Тесля, — ты гордец проклятый. Что ли под суд тебя отдать?

— Братцы, — протянул руку Левон, как бы защищаясь ею от грозившего ему удара и вместе с тем как бы прося ее снисхождения, как просят милостыню. — Тут что-то не так... плохо помню, хоть лейте в мозги огонь; убью Супчира за то, что он меня напоил. Был у меня спьяна какой-то ветер итти с Супчиrom на разбой, а самого буреломства не было. Значит пролез я до половины в окно сарая, а Супчир уже там...

— Ну, ну там, — перебил его Тесля и переглянулся с Бурчаком.

— Супчир уже там и зажег свечу; что он делал — не помню, ну вдруг я крикнул на него: «Вор, держите вора» — и бросился бежать. Это я хорошо помню, как крикнул: «вор».

— Правильно, мы с Снигирем слышали этот крик и прибежали на него, — подтвердил Бурчак. — Но почему же ты не помог нам в таком случае задержать умышленника?

— Прямо не знаю почему, — признался Левон.

— Крик что ли наверное слышал, не ошибся? — спросил Тесля Бурчака.

— Как же, не будь этого крика, переломал бы Супчир все трактора, — улыбнулся Бурчак и доброжелательно посмотрел на Левона. Он уже не сомневался в том, что Левон не корыстный преступник и спьяна подчинился воле Супчира. Тесля же морщился и тер нос, размышляя над чем-то серьезно. Потом он вдруг воскликнул, осененный внезапной мыслью.

— А шапка? Почему твоя шапка возле трактора была, если ты внутри сарая не заходил?

Левон смутился; с лица Бурчака сошла улыбка; он виновато поглядел на Левона, как бы сожалее, что кузнец выдал себя пустяком — на шапке. Потупясь, он ждал, что скажет Левон; Тесля опять нахмурился и грозно ждал ответа.

Левон молчал, с трудом припоминая события в сарае; потом он воскликнул, найдя ответ:

— Братцы, я ведь того... я ведь шапкой бросил в свечу, чтобы ее потушить и обезвредить Супчира.

Бурчак рассмеялся. Тесля также был доволен тем, что кузнец оправдал себя и что единственная улика против него — шапка — оказалась свидетельством в его же пользу. Тесля знал, что кузнец не любил Супчира и что он был равнодушен к чужой и к своей собственности, не жадничал, как другие, не сколотил своего хозяйства. Этим и был Левон приятен Тесле, который считал его чужаком, заслуживающим уважения благодаря своему упорству, блажениям и главное благодаря своей бескорыстности. Александра Семеновна сразу определила все качества кузнеца, которые словно облагораживали его и были столь милы Тесле. Она называла Левона в своих разговорах о нем с Теслой идеалистом, романтиком и маньяком. Тесля не понимал этих слов, но смутно чувствовал их смысл; они дразнили его своей необычностью, и он, внешне равнодушно, на самом же деле с большим интересом спрашивал учительницу, каким же чудным словом она его определяет. Учительница говорила, что Тесля будто противоположен Левону по своему характеру; будто Тесля диалектик-организатор, с большим чутьем и пониманием не железа, как кузнец, а людей и что будто настоящий-то мастер, кующий новую жизнь, — это он, Тесля.

Слушая учительницу, Тесля дергал скудную рыжую бороду, усмехался и думал не о себе, а о кузнеце и говорил, что непонятен кузнец ему со своим упрямством и добровольной бедностью. Ведь колхоз в конечном счете имеет целью поднять благосостояние людей; и будь кузнец собственником, тогда было бы понятно его сопротивление колхозу, но он равнодушен к своему и чужому богатству — значит он богат самим собой, своим мастерством, своим молотком; значит он противопоставляет большому коллективу людей свою личность, считая ее богаче колхоза. Александра Семеновна объяснила ему секрет Левона: по ее мнению, он одиночник своего мастерства. Она кивала на Ничипорка в пример нового растущего мастера. И раз так, то, как и другие собственники, кузнец должен непременно войти в коллектив и раствориться в нем. Тесле понравилась эта мысль, да и, кроме того,

— думал он, — кузнец, войдя в колхоз, привлечет туда и других хуторян.

Теперь вот, глядя в упор на кузнеца, он напомнил ему о колхозе. И то хорошо, что кузнеца не поведут на суд; не пора ли ему наконец принести свои инструменты в ремонтную мастерскую. Ему забудут пособничество Супчиру, — кто старое вспомнит, тому глаз вон.

Левон, услышав о колхозе, нахмурился и отвернулся, потом стал неожиданно улыбаться и кивать в угол, где стояла вечная машина.

— Братцы, — показал он рукой на машину, но не взял ее из угла, — вот же она стоит в кутке. Я ее хотел подарить вам до сева — это ведь вечная машина; я ею мир, тьфу, осчастливлю.

Наступило молчание; Тесля и Бурчак перевели изумленные взгляды с кузнеца в угол. Левон держал протянутую руку и улыбался. Он посмотрел Тесле прямо в глаза, надеясь, что тот одобрит его, но Тесля пришел вдруг в непонятное раздражение и треснул кулаком по колодке, его глаза сверкнули слепым гневом, казалось, не было пределу его негодованию.

— Опять ты себя выпираешь? — крикнул Тесля и передразнил: я, я! Ты осчастливишь мир, а не мы? Кто же мы такие после этого? Опять ты ставишь себя против нас, гордец бесовский? Моей ноги больше у тебя не будет.

— Максим, ты пойми его... — начал было Бурчак, беря под защиту Левона.

Тесля решительно направился к дверям и вышел из кузни, оттолкнув Бурчача, который сказал кузнецу на прощанье:

— Надеюсь, что ты в конце концов придешь к нам; кузню на полном ходу переведем—видишь, слесаря у нас есть, а кузнеца нету. Между прочим обратно шапки не проси — оставляем ее как бы в залог. — Он усмехнулся и также вышел.

А через полчаса, пока Левон размышлял о происшедшем, в кузню забежала Александра Семеновна; он привстал радостно навстречу редкой гостье и тут же отступил, увидев ее лицо, искаженное гневом. Учительница только что узнала в колхозе о соучастии Левона в

преступлении, о котором неумолкаемо говорили на колхозном дворе. Она силлась выкрикнуть сразу все свое возмущение, но ей удалось только: ты... ты...

Левон, волнуясь, стал ей объяснять, что он невиновен; он повторил все то, что рассказал Тесле, стараясь во что бы то ни стало обелить себя в глазах учительницы. Ему особенно было важно ее мнение. Он сослался на то, что Тесля и Бурчак не более получаса тому назад уже убедились, что он невиновен.

— А крыло жнейки? — спросила учительница взволнованно, и видно было, как дрожат ее пальцы на пуговице жакета. — Я тогда не догадалась спросить, откуда оно у тебя.

Но Левон и тут нашелся и успокоил учительницу: крыло переломал ломом Супчир.

— Ну, чудогрей, хорошо, что все это так, — облегченно вздохнула учительница, и в глазах ее искрилась радость; она ласково притронулась в руке кузнеца, Левон мигом вскипел и прижал ее к себе...

Но в этот момент часы Супчира, стоявшие в углу рядом с машиной, зазвонили. Супчир, видимо, заводя пружину после ремонта, случайно поставил ее именно на этот час. Учительница повернулась на звонок и узнала часы Супчира; лицо ее мигом изменилось, она отшатнулась от Левона и произнесла в страхе.

— А... ковач, он тебя подкупил часами, теперь я все понимаю...

Она выбежала из кузницы, не дав Левону объясниться.

Его же охватила ярость: он бросил часы на наковальню и ударил по ним молотком. Он расплющил маленькие зубчатые колеса, винтики, порвал пружину и все еще гремел молотом.

Так уничтожил он машину коротких минут и часов, вечная же машина стояла в углу и ожидала своего мастера.

В странной тоске и обессиленный опустился он на землю и так просидел до полудня; потом он поднял развороченный, бесформенный слиток часов и пошел, качаясь, как пьяный, в школу. В необычайном волнении он переступил порог школы; навстречу ему выбежал шустрый мальчишка и сообщил, что Александра Семеновна сейчас на уроке.

Собралась вся детвора; в большом удивлении глядели детишки на кузнеца, думая, что он пьяный: волосы его были взлохмачены, лицо — красное, потное, а глаза блуждающие. Левон попросил мальчишку передать учительнице часы, а сам вышел.

Легкий и теплый ветер шевелил его волосы; день был лучший весенний, и Левон присел на пенек возле дороги напротив избы, не разглядев, что это жилище его приятеля Шалунка. Он уперся локтем в колено, а голову положил на руку, как на столб.

Он стал припоминать всю картину сговора с Супчиром и постепенно восстановил его в памяти во всех мелочах. Его поразила внезапная мысль, что он неправду виноват и не в самом разбойстве, но в намерении: ведь пошел он с ломом. Как же так? Хотел мир осчастливить, а пошел на вредительский разбой. И кого, кого грабить — своих же соседей, своих же трудяков, с которых он хотел начать осчастливливание. В центре его мыслей, как накаленный стальной прутик, была Александра Семеновна с искаженным от гнева лицом и презрительными глазами. Как доказать учительнице и Тесле, и всему миру, что он неподкупен, что он добрый навеки веков?

Что делать, что делать?

И вдруг он вспомнил о вечной машине. Вот где выход; он войдет в коллектив, но только с вечной машиной; он непременно заставит ее работать, принесет живую на поле, поставит перед табором и скажет: «Вот мой пай и навеки. Жните, молотите, покуривая в стогроне, — она нажмет, намолотит за вас, эта техническая жар-птица. Во какой я — предатель».

Он поднялся, решив немедленно же пойти в кузню. Шагнув, он почти натолкнулся на Шалунка, который сидел на заборе своего двора с топором в руке. Видно, он давно наблюдал за Левоном.

Тут коротко о Шалунке. Он два года сореволювался с колхозом, надеясь перещеголять его и увеличить свое нищее хозяйство единолическим путем. В момент организации коллектива он раздобыл где-то поросенка английской поро-

ды. Он выкормил его в длинную, тяжелую свинью и, продав ее, купил лошадь. С этого и началось процветание, а вместе с ним и жадность Шалунка. Не зная, как бы украсить свое хилое хозяйство, он разбил перед окном сад — несколько молодых яблонь, два грушевых дерева, кусты малины и смородины. Шалунок вообразил себя самостоятельным хозяином, купил самовар и летом пил чай непременно в саду, у фруктового дерева, зазывая хуторян к себе на стаканчик и похваляясь перед ними укладом своей жизни.

Клин его находился возле коллективного поля, и Шалунок во время пахоты, понукая свою тощую клячу, с трудом тащившую однолемешный плуг, вызвал колхозников, трудившихся рядом, на соревнование. Колхозники, смеясь, советовали ему подрезать конячий хвост и опутать им лошадь, чтобы от ретивости она не разбила плуг. Тесля только улыбался, а однажды повел свои бригады на клин Шалунка, когда его не было на поле, и запахал клин полностью. Это поразило Шалунка, как и в другой раз, когда, придя на поле с серпом, он нашел весь хлеб лежащим в колосьях, срезанных колхозной жнейкой. Ему оставалось только связать молча снопы. Вечером колхозники подкатили к его избе на двух подводах с пустыми мешками; они просили продать им несколько мешков яблок, — они будто слышали, что у него громадный сад. Усмехаясь, они без спроса повалили в сад, а Шалунок не знал, куда спрятаться от стыда, — на яблонях ни одного яблока.

Шалунок проникался молчаливым уважением к коллективу, который рос на его глазах, строился, прикупал машин, тракторы, с которыми Шалунок уже был бессилен соревноваться, но пока он не сдавался, надеясь на свой сад и неясно сознавая, что проку в нем мало. Мечта его о шумном дворе с птицами, коровами, лошадьми казалась ему уже почти неосуществимой, как в той сказке, которую Шалунок иногда брал себе в пример; в сказке речь шла о бабе, купившей курицу и по дороге с базара мечтавшей, едва курица даст потомство, продать его и купить свинью, которая в свою очередь принесет потомство, что даст бабе корову или лошадь.

До лошади, правда, и Шалунок дотянулся, начав оборот прямо со свиньи, а не с курицы; но дальше лошади, предугадывал он, у него дело не пойдет.

Так что в последнюю зиму он решил, что другого хода у него нет и наметнул об этом Тесле, который словно и не удивился, а приказал ему привести лошадь на общую конюшню с упряжкой и инвентарем. Шалунок несколько раз запрягал лошадь в сани и тут же распрягал ее, не решаясь; прошли два зимних месяца, и весна пришла, а он все запрягал и распрягал лошадь, проклиная себя за нерешительность, тревожась, надрываясь и все же не ведя лошади.

Однако в самый последний момент, когда всем стало известно, что пойман на разбое Супчир, подговаривавший также и Шалунка на вредительство, Шалунок твердо решил повести лошадь, чтобы рассеять подозрения тех, которые может быть, видели, как Супчир заходил к нему в избу.

И поэтому теперь он с особой нежностью суется в сад, который словно оставался ему как залог неосуществленной сказки. Он увидел сквозь переплет забора Левона и короткое время наблюдал за ним, потом окликнул кузнеца.

Левон нехотя подошел; встреча с Шалунком могла отнять у него драгоценное время. Однако он согласился на приглашение Шалунка пообедать и зашел в избу.

Мечты Шалунка разбогатеть не увлекли Левона и даже были ему чужды, он презирал его желания и цель жизни наполнить хозяйством двор, сравнивая ее со своей великой мечтой, но он тянулся к Шалунку за веселостью и ребячливостью его характера, еще за то, что Шалунок верил в его мастерство, уважал его и считал необыкновенным человеком, — это льстило Левону.

Настя, круглолицая баба Шалунка, подала на стол щи и сама присела с края. Они брали прямо из миски крашенными деревянными ложками, подставляли хлеб, чтобы не капало. Левон ел молча, слушая разошедшегося Шалунка, который признался, что решил бесповоротно записаться в коллективное хозяйство.

Левон ничем не показал ни удивления, ни восхищения; Шалунок, облизывая

ложку, расписывал свое будущее в колхозе и тут же, таинственным шопотом, сверкая своими маленькими, быстрыми глазками, признался; что в колхозе-то ведь жить выгодно — огород и сад не обобществляют. Он повторил это несколько раз, подчеркивая слово «выгодно» и тем раздражая Левона, который мрачно безмолвствовал и уже почти со злобой глядел на Шалунока, на его ложки, на его утварь, на хату, на всю его сущность, которая даже в колхозе ищет выгоды.

Левон уже с трудом удерживал бурю, когда Шалунок силой увлек его в сад и стал расхваливать и гладить каждое деревцо, тронутое весной, с розовыми почками, чуть-чуть опухшими.

Земля у корней была вскопана, тут же валяясь заступ; стволы деревьев были в белой краске.

— Садочек, — залюбовался Шалунок и заботливо разгладил на деревце ветку, — в нем расстет моя отдельная мечта, а колхоз тоже отдельно. Понимаешь? Как бы мои надежды — в саду; может, еще и сбудется. А колхоз — что, дело пока выгодное...

И тут наконец Левон прорвался; он ринулся к заступу и секанул им по стволу молодой яблони. Шалунок оторопел и не двинулся с места. В своем бешенстве Левон бил по стволу плашмя и ребром заступа, не попадая в одно и то же место, но все равно калеча деревцо.

— Бей свою гадкую мечту, — кричал он, задыхаясь, — веди лошадь туда, оборванец, без отдельных надежд. Бей с корнем мечту!

Выбежала Настя и с воплем бросилась отнимать заступ. Шалунок также ухватил Левона за руку. Вдвоем они пытались вырвать заступ, но Левон не давал его, прижимал к себе и повторял:

— С корнями... злыдень, бей с корешками!

Шалунок отпустил заступ и с внезапной тоской сказал вопившей Насте:

— Отдай ему заступ, пускай уничтожает крестьянскую мечту... Ну подпали, Левон, коли так, заодно и мою хату, перебей горшки; ха, обобществитель! — и он крикнул: я веду туда свою лошадь, а ты что ведешь? Ты хочешь, гордец, мир

покорить, а я только сад иметь. Ну, бей мои надежды, подпали хлев!

Левон присмирел и, отступая, задел калитку и вышел во двор.

— Что-то не так, не то, не то, — сказал он перебрасывая заступ через ограду, — страшновато мне... прости, эх...

Он осекся и, не поворачиваясь, вышел из двора.

Шалунок через доски забора наблюдал за кузнецом, который шел по дороге. Он видел, как его здоровенные плечи слегка вздрагивали; одно плечо опустилось ниже другого, словно кузнец нес на нем невидимую тяжесть. Шалунок почесал затылок и, улыбаясь, сказал Насте:

— Эх, мечты, мечты... Потерял Левон шапку в сарае, и за голову боится; вообще думаю, хреново ему. Гордости в нем больше, чем плодовых деревьев у меня в саду, а плодов меньше. Так что думаю, лошадь хоть сейчас повести...

— Подожди денька два, — сказала Настя, выпрямляя деревцо, — уж так сразу и вести, успеешь, не пожар.

Уже два дня кузнец не выходил из кузницы; он заперся внутри и никого не впускал. Мужики со спешной починкой колотили в дверь и слезно упрашивали, чтобы он взял работу — пахота близка, но Левон или не откликнулся, или ревел, как зверь, одним только голосом пугая их. Много подвод толпилось у кузницы, часами ожидая и надеясь, что кузнец все же смилостивится. Они уезжали перед вечером, потеряв надежду. Левон не пустил к себе даже знакомого почтаря, который на обратном пути решил проведать кузнеца. Шалунок юлил у кузницы, пытаясь подсмотреть, что делает Левон.

А он уже две ночи и два дня достраивал свою машину, — последняя карта должна быть бита, а если машина не двинется, то горе кузнецу и всем его мечтам.

Он попробовал опять урегулировать наклон корыта, в котором обод колеса машины, идя наверх, терял часть своего веса в воде. Может, если бы ему уда-

лось погрузить в воду три четверти колеса, а не половину, как у него на деле, колесо послушалось бы. Но подобный наклон корыта не удался — ведь корыто нужно было поставить так, чтобы в него погружался не только низ, но и верх колеса. Вода из корыта при таком наклоне выливалась и загрозила машину.

Левон понял, что такая установка корыта вообще невозможна и опять обратился к регулированию высоты ковша, из которого падали дробинки. Он поднимал ковш или на расстояние руки выше коробочек, или опускал его низко, на палец длины от коробочек. В первом случае дробинки падали с большой силой, но не высыпались обратно в ковш, так как он находился много выше колеса; в другом случае дробинки еле стучали по дну коробочек и не в силах были повернуть колеса даже один раз.

Левон установил ковш на его прежнем уровне и стал регулировать количество выпадаемых дробинек в одну коробочку. Он испробовал силу большого количества и слишком малого количества дробинек. Коробочки со множеством дробинек отяжелевали и тормозили колесо при его повороте снизу вверх; слишком малое количество дробинек также не в состоянии было повернуть колесо больше одного раза. Прибавляя по одной дробинке, Левон испробовал силу дробинек от пяти до сорока и не пришел к победе.

Отчаяние охватило кузнеца — ведь ось колеса он поставил на шарикоподшипниках, и колесо было столь чувствительно, что от легкого щелчка могло двигаться несколько минут; оно могло даже повернуться несколько раз при сильном выдохе из человеческих легких. И если так, если колесо столь чувствительно, что движется от легкого дуновения, но не может двинуться само по себе, то может ли машина стать вечной?

Кузнец высох и почернел от горя и злости; он почти ничего не ел; щеки его пожелтели, подбородок и нос стали острыми, как камень, глаза горели, а волосы сбились и липли ко лбу. Он то ругал бешеными яростями машину, то ласкал ее, без слез плакал и лепетал,

лепетал ей слова нежности и умолял не губить мастера.

— Имей крылья... лети, лети, моя мышь, — говорил он, держа машину на коленях и проливая как слезы воду на штаны из корыта. Я — что, я ведь вечный добряк, я ведь хочу им... того... счастья, а выходит только горе.

Он ставил машину на столик и, подымаясь, обращался к своим орудиям производства:

— Плюнь в меня огнем, Миша-горн, бей, бей меня, Василиса-кувалда, моя мать, а вы, мои железы, смейтесь надо мной — я ржавый мастер, ни туда, ни сюда, — не найду опорную точку...

Он ерошил волосы и внезапно кричал с бешенством:

— Э-нер-гия! А где она? — во мне, во мне, тот закон превращения тут, во мне. Или разве, разве мое желание, мой горящий разум не энергия, чтобы ей гудеть в яростях машины?

Он падал на колени, подползал к столику и шептал уже не своим голосом, непохожий на себя.

— Разве, разве? Мое сердце, Сашенька, сила—ого! Разве оно и разум—не вечные силы? Ой, я ржавый...

Обессиленный, он ложился у подножия машины и засыпал, не различая ночи от дня. Просыпаясь, он бросался к машине, лихорадочно комбинировал, забавлялся магнитом, говорил сам с собой, проклинал машину, тут же ласкал ее, умолял, кричал на нее и торопился, страшно торопился, повидимому, достигши той грани, где уже теряют разум.

В такой момент в кузню незаметно пробрался Шалунок, воспользовавшись тем, что Левон вышел за водой к бочке, оставив двери кузницы открытыми. Весь хутор говорил, что кузнец сошел с ума. Шалунок спрятался за мехами и стал вынужденным свидетелем всей кручины кузнеца. Он боялся пошевелиться в засаде и жалел, что пробрался тайком — его испугало лицо кузнеца. Шалунок просидел в засаде два часа, на его счастье Левон заснул, свесив голову на столик у подножия машины. Шалунок тихо прокрался к дверям, он хотел было уже уйти, но раздумал и подошел к машине. Он давно слышал о ней от Левона, но видел ее в первый раз.

Заинтересованный ею, он слегка толкнул колесо, потом испуганно отскочил к дверям. Колесо быстро завертелось, касаясь волос Левона, перебирая и шевеля их своим ветром. Левон поднял голову и отпрыгнул, — он не верил своим глазам и стал протирать их, думая, что это во сне. Колесо шибко вертелось. Тогда ега охватила бешеная радость, он ударил в ладоши и стал прыгать, как иной весельчак на свадьбе; он кричал при этом хрипло, как пьяница, и не о кручине, а о своей радости. Он вспотел от крика и от прыга, и от своего счастья. Шалунок стоял бледный и в тревоге, зная, что колесо сейчас начнет замедлять ход и что Левон после бурного взлета будет потрясен. Он решил обратить на себя внимание и кашлянул, но привороженный к машине Левон даже не повернулся. Тогда Шалунок сказал заплетающимся голосом:

— Значит иду я, а кузня открыта... Дай, думаю, зайду... а ты спишь. Я значит пальцем ковырнул колесо, а оно, бедовое, ишь, как веселится...

Левон повернулся к Шалунку, потом он стал почему-то дрожать и клониться к земле.

— Постой, постой, Левон, чего ты, — кинулся к нему Шалунок, подхватил его и помог сесть на колодку.

— Я, может, сейчас удавлюсь, — сказал покорно Левон, — жизнь мне не мила.

— Не имеешь права, — по-петушиному и как-то смешно произнес Шалунок, — не имеешь никакого права удавиться. Посмотри на меня, — ей-ей, я веселый бедняк.

— С кем сравниваешь себя? Со мной! — сказал хрипло Левон, — я именно мастер громадный, а ты кто — земляная гля...

Шалунок обиделся и молча развел руками.

— Неужто я тля? — спросил он опечаленно, потом крикнул с достоинством. — Ты хуже меня, ты хочешь большего, чем можешь, а я могу больше, чем то, что делаю. Ты на луну лезешь, а я от земли ни ногой. Ты меня не знаешь — я интересный, на луну не лезу...

Левон упрекнул его.

— Ты в колхоз идешь, а сам промеж-

ду прочим бережешь свою мечту, злыдень.

— Левон, я могу сейчас весь сад вырубить, ага, ну? — уставился на него Шалунок. — Возьму и вырублю, что ты тогда скажешь?

— Я ничего не скажу, я удавлюсь, — сказал Левон.

Шалунок рассмеялся и махнул рукой, не веря, что Левон исполнит угрозу. Он пригласил его притти на обед и вышел из кузни. А Левон, подождав полчаса, накинул на машину наволочку, запер кузню и побежал к водовороту. Он решил броситься в него с машиной. Она не стала вечной, и значит ее мастеру, — думал он, торопясь, — зачем жить. Зачем? Он честен, он не хитрит, как Шалунок, который оставил своей мечте лазейки.

Река уже давно очистилась от льдов и затопила противоположный берег. Во всей своей дикой и вольной красоте веселился и завывал водоворот. Уж так было наклонено русло реки и повернуты ее берега, что именно в этом месте вода катилась, образуя воронку, над которой булькали и лопались пузыри, летели брызги и кипела белая пена, похожая на пену занузданного и бешеного коня. В самой воронке вода была черной.

Левон остановился у берега и заглянул в свистящую яму, голова у него закружилась, егд даже стало тошнить — ведь он не ел почти два дня, а работал много; от быстрого бега его и занузило. Кашляя и нагибаясь, он сделал последний шаг и свесил голову над кручей. Малейший наклон вперед, и он потерял бы равновесие. Однако, даже идя добровольно на смерть, он подался назад и выпрямился: это был инстинктивный жест самосохранения. На его лицо попали холодные брызги и слегка отрезвили его, тошнота прошла. Он не вытирал брызг, и ему казалось, что его лицо в слезах, и потому стало печально, стало жаль себя, и показались настоящие слезы; вместе же с ними то щекощущее сладкое желание умереть нарочно, на зло людям, которое побеждает бессознательный страх перед смертью. Он протягивал машину над кручей и шептал, мокрый от брызг и от слез.

— Значит точка всему, ха-ха, точка опоры?.. Почему я такой — жить не хо-

чу? Ага, я тля: я хотел быть добрым и с ломом пошел разбойствовать, Шалунка обидел. Ха-ха, Левон Милосердный! Плюй, ну плюй мне, вода, в лицо, дразнись, темная ямка, Левон вечен, как смерть...

По берегу тянулась группа людей, они вышли из школы, позади их была учительница. Она видно рассказывала им о весне и часто нагибалась, срывая какие-то робкие травки. Передний из ребятишек, курносый Гришуха, которому Левон передавал разбитые часы, первый заметил кузнеца и обратил на него внимание всей ватаги. Ребятишки испугались, а еще больше учительница: кузнец стоял слишком близко к круче и по всей видимости задумал что-то недоброе, никто из них не осмелился бы так близко стоять у водоворота. Учительница перегнала своих ребят и, путаясь в юбке, быстро засеменила к берегу, а за ней кинулись притихшие ребята.

Она слыхала все его жалобы, остановившись возле него в нескольких шагах, и уже не сомневалась в том, что кузнец бросится в воду. Ребятишки сбились, как ягнята, ожидая вдали. Александра Семеновна, перепуганная до крайности, не решалась однако крикнуть. Кто-то из малышей стал плакать, Левон повернулся и увидел детей, привороженных, покорных и бледных. Он шагнул назад и встретился глазами с учительницей, она была бледе пены, что играла в водовороте, с неподвижными расширенными зрачками и посиневшими губами. Левон перевел взгляд на детей, в глазах их бился страх. Он скомкал детишек в тесную и трогательную кучку. Крохотная школьница громко зарыдала.

И вот то щемящее чувство, которое толкало его на смерть и было особенно сладко, когда он стоял над водоворотом и прощался с жизнью, будто немилый ему, уступило место инстинкту самосохранения. При виде страха на чужих лицах, особенно выразительного на лицах детей, Левон и сам испугался смерти и оглянулся на водоворот.

Александра Семеновна же поняла его жест так, что Левон думает броситься в воду и примеряет на глаз пространство, отделяющее его от края пропасти.

С воплем она бросилась к нему и вцепилась в локоть; между ними завязалась молчаливая борьба. И хотя Левон за секунду до этого поколебал в себе желание прыгнуть в кручу, теперь он с тем же сладким упрямством отбивался от своего спасителя и будто нарочно рвался к водовороту. Александра Семеновна почти повисла на его локте и тянула его к себе.

— Толкни меня в овражек, я ведь гадкий, — крикнул Левон, — индивуалист-барахлист, я ведь взяточник... Толкни меня.

— Не верю, не верю, — задыхаясь от борьбы, произнесла учительница, — я ошибалась, не губи себя.

Левон придвинулся опять к самому краю, спиной к реке. Малыши замерли, учительница застыла, боялась пошевелиться, но не отпускала его локтя, — при падении он неминуемо увлек бы в реку и ее. Левон видел совсем близко ее перекосенное лицо и глаза с пожелтевшими белками и злорадно кинул.

— Нарочно бултыхнусь... Архи-Мед.

— Левон, опомнись, ну опомнись, — умоляла учительница, не шевелясь, — ради детей... они никогда этого не забудут. Им жить нужно... и тебе тоже. Машина никогда не станет вечной, из-за нее сошел с ума не один человек, она в науке известна под названием перпетум мобиле. Никто не смог построить эту машину, потому что она противоречит законам физики. Левон, ты хороший кузнец, опомнись... прошу тебя, ради детей... Ну, ради меня.

— Ради тебя? — спросил он шопотом и вспыхнул.

— Ради жизни, — воскликнула она, видя, как сверкнули его глаза, — ради превращения своей энергии. Ты жил слишком одиноко, вдали от людей. Ребята, — позвала она детей, — подойдите к нему... расскажите, ради чего нужно жить...

Малыши однако не решались подойти к круче, девочка все еще плакала и утирала кулачком нос. Неожиданно для мальчиков она двинулась маленькими шажками и бесстрашно остановилась недалеко от водоворота. Левон шагнул навстречу, отстранив Александру Семеновну, он опасался, что неразумное дитя может оступиться на берегу. Учи-

тельница поняла его беспокойство и обрадовалась.

— Ты чего ревешь? — спросил Левон строго девочку.

Она, вытерла слезы и сказала, хныкая:

— Боязко... утопишься..

Ее носик покраснел, а глаза были испуганно-нежны и стеклились от дрожащих слез. Левону стало жаль девочку и себя, и весь мир, ком подкатил к горлу, он кашлянул и протянул ребенку машину.

— Не плачь, коли я не плачу... вот тебе игрушка...

Девочка взяла модель на руки, но опустила ее и с трудом поволокла по земле. Мальчишки отобрали у нее машину и стали ее рассматривать, забыв о кузнеце.

— Они дети... растут... — вздохнул Левон, — ну пускай, а я пойду.

И, ни разу не оглянувшись, он пошел в направлении к хутору.

Малыши затеяли суетню и уже успели передаться; они помирились на том, что, поставив машину на землю, сели вокруг нее все разом. Крохотная девочка опять заплакала, потому что машина не была ей видна из-за спины мальчишек, и слезы ее были не менее обильны, чем только что из-за страха перед смертью. Александра Семеновна подняла плаксу на руки и так держала ее, пока от сильного толчка Гришуки вертелось колесо машины.

На колхозном дворе было оживление — Шалунок привел свою лошадь. Молодые колхозники, добродушно подсмеивались и дергали коняку за хвост, щупали ей живот, хребет, смотрели в рот, определяя ее возраст. По мысли Кулика, молодого и веселого тракториста, коню — не менее ста лет вместе с хозяином. Шалунок важно держал коня за повод и косо посматривал на развеселившихся парней, среди которых он узнал тех, что приезжали к нему за яблоками и дразнили его помещиком; но эти же хлопцы, знал Шалунок, запахали ему поле, засеяли и срезали рожь. И он не мог на них осерчать, понимая, что нужно дать им вволю наредотаться сейчас и тем раз навсегда отбить у них охо-

ту насмешничать и вспоминать прошлое. И потому он нарочно веселил их, выставляя брюхо, хохлясь, важничая и покрикивая; хлопцы, пользуясь отсутствием Тесли, не скупились на шутки.

— Ну и лошадь, и не жаль тебе отдать нам такую цацку? — подсмеивался Филипп, безусый, рябой парень, работавший вместе со Снигирем в конюшне.

Лошадь была уже распряжена, и упряжь валялась тут же у двух возов с инвентарем, который также привез Шалунок. Подошел Бурчак и крикнул на хлопцев, чтобы они угомонились, потом он стал ощупывать лошадь и пальцем ковырять в ее рту. Он также пришел к заключению, что лошадь стара и годна на шкуру, но поработает еще годик-два на подвозке воды в поле или дров из лесу, на полевой же работе лошадь засечется.

Филипп между тем рылся в сбруе, лежавшей у воза, и искал в ней какой-то предмет. Он убедился, что его там нет, — он искал в кованых звездах уздечку, которую Шалунок купил за три пуда ржи. Она украшала скудную упряжь Шалунока: потрескавшийся облезший хомут, жалкую войлочную седелку и пеньковые вожжи. Об этой ремяной уздечке знали и другие хлопцы, и Бурчак, да и все знали, ибо Шалунок не раз громыхал на своей кляче мимо колхозного двора, подвесив к дуге колокольчик, наяривая своего несчастного рысака и гикая. Это было уморительная сцена: хлопцы бежали вслед и смеялись. Все точно видели и колокольчик, и синюю дугу, и уздечку; Филипп спросил, где она. Наступило молчание. Хлопцы переглянулись, а Шалунок смущенно отвернулся, избегая встретиться глазами с Филиппом, который настойчиво требовал уздечку.

— Нет, ей-богу, нет уздечки, — отказывался Шалунок.

— Не приставай к нему с ножом, — остановил Филиппа Бурчак и сказал Шалуноку: — мы не требуем, чтобы ты вывернул карманы.

— Я могу вывернуть карман, — крикнул Шалунок, — я могу хоть сейчас... нате, пожалуйте...

Он засунул руку и не вынул ее из кармана, ибо подопевший в это время Тесля остановил его.

— Не ищи, Григорий, в кармане блоху на аркане, — у нас и своих много.

Он осведомился, о чем разговор, и Филипп ему рассказал об уздечке. Тесля рассердился и назвал его чурбаном, а Шалунку сказал:

— Не журишь, мы и без этой уздечки как-нибудь выедем. Значит решительно к нам?

— Решительно, — без запинки ответил Шалунку.

— Чем же мы тебе понравились? — спросил, улыбаясь, Тесля.

— Да так, видишь, — замялся Шалунку и признался, — другого выверта нет, Максим Максимович. Куда ни кинь, — тонко, а где тонко, там и рвется.

— Инвентарь что ли весь привез? — спросил деловито Тесля.

— Весь, что имел, — поспешно ответил Шалунку, — разве вот лопаты... э, лопаты то-есть на огороде нужны.

— Мы не могильщики, лопаты нам твои не нужны, — пошутил Тесля. — Что ж давай посмотрим инвентарь и запишем его на твой счет, лошадь потом оценим.

Хлопцы стали снимать с воза инвентарь Шалунка — два плуга, борону и разную мелочь, грабли, вилы, серпы и косу. Плуги были самодельные, с деревянной грядилью, а борона имела наполовину железные, наполовину деревянные зубья. Шалунку было совестно за свое убогое хозяйство. И как нарочно почти рядом у сарая стоял четырехкорпусный плуг, а через раскрытые ворота сарая были видны другие мощные машины, которые словно подчеркивали нищенство единоличника, который так упорно состязался с коллективом.

Филипп нашел на дне воза в ворохе соломы молотильный цеп и вытащил его на диво всем; при взгляде на это первобытное орудие как-то особенно ярко стало для всех, какими жалкими средствами хотел Шалунку обогнать машины и осуществить свою мечту. Кулик, размахивая цепом, признался, что в первый раз видит это орудие и будто не знает, для чего оно; и хотя хлопцы понимали, что он притворяется, все же стали объяснять ему назначение цепа; один сказал, что цепом отгоняют собак на ярмарке, другой — что цепом горох лущат, а Бурчак, которого также рассме-

шил цеп, сказал, что в древности, лет тысячу назад, цепом молотили хлеб.

Шалунку ничего не оставалось, как смеяться.

И в это время появился на дворе Левон. Он молча наблюдал, как Кулик забавлялся цепом. Никто пока кузнеца не приметил, он стоял за срубом колодца. Филипп повел лошадей в конюшню, а плуги и бороны поставил у сарая. Шалунку первый увидел кузнеца и с'ежился, потом, удивляя всех, зачем-то полез на телегу и стал лицом к Левону.

— Дарю без описи звонок для ведения общественных собраний, — крикнул Шалунку и вынул из кармана небольшой блестящий колокольчик, в котором все узнали тот самый колокольчик, который болтался в дуге Шалунка. — Это особый звоночек, — пояснил он, — это голос моей мечты, то-есть... ну как бы сказать...

Хлопцы дружно рассмеялись, поняв наконец мысль Шалунка. Тесля также улыбнулся. Шалунку, ободренный смехом, стал трясти колокольчик, гримасничая, как бы подражая иному председателю собрания, в то же время он наблюдал за кузнецом, — для него он придумал всю эту штуку.

— Звони, звони! — крикнул Левон, приближаясь к возу.

Все обернулись к нему, звонок звякнул и замер. Тесля шагнул навстречу и спросил с надеждой.

— Пришел наконец?

— За шапкой пришел, — сказал на ходу Левон и опять крикнул Шалунку. — Звонишь?

— Звоню, действительно звоню, — подтвердил Шалунку.

— Ну и звони, злыдень, — бросил со злостью Левон.

— Да почему он злыдень? — уже раздражаясь, спросил Тесля.

— Этот звоночек особенный, это ты пойми, Левон, — сказал просительно Шалунку.

Левон молча полез в карман полушубка. Он увидел, как смутился Шалунку, и нарочно стал долго рыться в кармане, показывая Шалунку ремешок уздечки и пряча его обратно. Шалунку обомлел и уронил звонок, ударившийся в лужную воза и упавший на землю. Левон, роясь в кармане, дразнил Шалунка и длил пыт-

ку, наконец бросил уздечку к его ногам, удило зацепилось за втулку, уздечка упала на землю, тут ее все и увидели.

Наступило неловкое молчание; хлопцы, не поднимая уздечки, смотрели на нее так, как смотрят на раздавленного ужа. Шалунку казалось, что уздечка ожила и шевелится. Внезапно он соскочил с воза и поднял уздечку.

— Ну и звону, — крикнул он и протянул уздечкой по спине Левона.

Это был лучший выход из неловкого положения, хлопцы рассмеялись, но Левон и не моргнув глазом.

— За дерево бьешь, что я его сломал? — спросил он тихо.

— За все, за все, — уже негодовал и слепо пенился Шалунок, — за твое плеватьство, что я тля, а ты мудрец; за твое смеханство надо мной и гордичество, за все, за все. Где твой звонок, что ты сюда принес?

Шалунок сгоряча опять протянул его уздечкой; и то, что Левон даже не поморщился, распалило Шалунка еще больше, уже не считая ударов, он хлестал Левона по спине и по ногам. Хлопцы пытались оттащить его от кузнеца, который стоял бледный и не шевелился. Левон сказал презрительно:

— Он меня кует, потому что он кузнец, ха-ха, кузничек... этот, который трещит во ржи и прыгает, как блоха. Он меня кует, потому что я горячий... Я горячий сейчас, как железо, то куйте меня все, пока я такой...

Левон оглядел всех.

— Я за лошадью пришел, чтобы кузню сюда к вам привезти.

— Ась, кузню? — воскликнул Тесля.

— Инструменты, мехи, камни, железо, — пояснил Левон, — то не дадите ли мне лошади, — и он усмехнулся, — я ведь безлошадник...

И Тесля горячо крикнул.

— Ах ты, чудак, да бери пару лошадей, да мы тебе трактор дадим, да мы... Эй, запрагайте!

Шалунка как-то забыли в эту минуту. Когда со двора выезжала подвода, на которой шумели хлопцы и понуро сидел Левон, Шалунок одиноко стоял посредине двора и наматывал на руку уздечку; к нему подошел Тесля и увлек его в конюшню, чтобы показать лошадей, а потом и все хозяйство.



Левон внешне покорился необходимости жить, не осчастливив жизни в ее мировом масштабе; и коли он сделал шаг от бездны, шагнул от смерти обратно к жизни, засмотревшись на дитя в слезах, то приходится жить, но как-то по-иному, а как, он и сам не знал толком. Он почувствовал себя опустошенным, — без машины жизнь не мила, но если все же приходится принять жизнь, то повидимому ее нужно построить с другим расчетом, без надежд, которые питала в нем вечная машина. И потому он не мог возвратиться в кузню, где каждая мелочь, любой напильник напоминали ему о машине и о его гордых планах. Понятно значит, почему он так торопился с перевозкой кузни в колхоз — единственное для него место жизни.

Кузню со всеми ее незатейливыми приспособлениями установили в ремонтной мастерской, отгородив часть помещения. В ремонтной работали Кулик, пожилой и неразговорчивый слесарь Шеншин, молодой тракторист и слесарь Чипко и еще несколько слесарей. Левону они все были видны из его отгорожи, он слышал их разговоры и смех, особенно звонкий Кулика и раскатистый Ничипорка, который забегал ежедневно в мастерскую, чтобы узнать, как подвигается дело со сцепками. Левон слышал эти разговоры о сцепках и понял, что они очень интересуют рабочих и повидимому нужны дозарезу в хозяйстве.

Однако он и не показал вида, что его трогает такой незначительный предмет, как сцепка. Он был угрюм и неразговорчив, делал свою работу без оживления. Сошники сеялок и диски борон, которые ему поручили, не могли заманить ему мечты о великом мастерстве.

Никто из рабочих не тревожил и не пытался с ним без нужды говорить, все знали, что он покушался на жизнь. и, может, был спасен соломинкой — ребенком, разжалобившим его своим плачем. Тесля просил рабочих мастерской не надоедать кузнецу, не беспокоить его, пускай он пока не чувствует перемены в обстановке, пускай хмурится наедине со своими мыслями, к которым он привык, работая в одиночестве. Может быть, он начнет оглядываться и поймет новый

режим. Понизив голос, Тесля сообщал, что Левон, несмотря на свою бедность, самый лютый единоличник, какого только знал мир. В чем точно было единоличество Левона, Тесля не мог объяснить, зная о нем со слов Александры Семеновны. Рабочие понимали, что Тесля преувеличивает, однако они согласились с ним, что пока кузнецу нужен покой.

Левон кормился в столовой колхоза, но ночевать ходил в свою избу, и не то, что пища была вкусная, но скорее помещение светло и тарелки белы, как снег. Столовая понравилась Левону, раньше жившему без толка, всухомятку. Не переходя за круг отчужденности, он все же осмотрелся вокруг... Он уже улыбаясь, когда Кульбиха, прочившая ему свою дочь, наливая ему тарелку супа, упрекала его, как всегда, за то, что он не женится. Он не бежал от нее, как прежде, напротив, он весьма охотно подставлял тарелку для второй порции.

Ему поставили определенную норму выработки, таков был закон для всех, и кузнец подчинился ему с покорностью, которая удивила и обрадовала Теслю, считавшего, что лютый единоличник непременно воспротивится закону. Левон же был доволен тем, что работа загрузила его без передышки на весь день и отвлекла от беспокойных дум, которые то и дело потрясали его. Вспоминая вечную машину и отбиваясь от этой страшной мысли, он яростно бил молотом по накаленному бруску, осыпая искрами штаны и фартук; потом он двигал молотом более равномерно и даже равнодушно, без какого-либо интереса к тому, что он делает. Если бы ему дали дляковки мечи, а не лемехи, он ковал бы их, не спросив, для чего они, ибо не было у Левона главного — сознательно интереса к окружающему.

Тесля установил, что кузнец не только выполнил норму, но и превысил ее, и, довольный этим, объявил ему в обеденном перерыве, что за излишек кузнец может просить вознаграждения, конечно в том случае, если он не считает себя в числе ударников. Ударники это бишь те, что дают в общий котел сверх нормы сознательно свои силы.

— Какой смех, — сказал при всех Левон, — разве кузнец не ударник? Разве он не ударяет по железу?

— Значит денежки выписать? — спросил Тесля.

— Денег мне не надо, прикажете, и я буду всю ночь грохотать, спасибо, что кормите.

— Постой, что это значит — «прикажете», — перебил его Тесля, — кто тут приказчик и кто кого кормит! У нас не богадельня, Левон, — у нас общее трудовое и обеспечение.

— Ну, мне все равно, — отмахнулся Левон.

— Ты, может, жить к нам перейдешь, ведь ты холост. — Он предложил Левону переселиться в общежитие холостых конюхов и скотников.

Левон равнодушно согласился и в тот же вечер перенес свой сундук в общежитие. Окна избы он заколотил досками и поручил соседу наблюдать за собакой. Он занял в комнате самый большой угол и два дня терпеливо переносил общество своих сожителей, а на третий забрал сундук и пошел с ним в свою избу. Тесле он потом сказал, что ему бесполезно жить в общежитии с молодыми хлопцами, которым нужно повеселиться.



В первый день выезда на пахоту во дворе был шум, никак не затронувший Левона, который видел через двери ремонтной, как старые и молодые работники сидели на запряженных телегах и на тракторах, уже выведенных из сарая, и совещались о предстоящей пахоте. Это был летучий производственный совет после большого производственного совещания накануне, где участвовали почти все люди коллектива. На переднем тракторе спиной к Левону сидел Тесля и ораторствовал. Левон прислушался, и его поразило то, с какой уверенностью и пониманием дела говорил Тесля. «Малограмотный, а как брешет» — думал Левон, и в нем зашевелилось какое-то чувство, которое он не мог бы назвать; это было что-то в роде зависти, которая сменилась глубоким неприятным удивлением, когда выступил Бурчак. Полевод вновь, как и накануне, на большом совете, напомнил бригадирам их обязанности; отдельно Бурчак обратился к табельщикам, на обязанности которых было учитывать труд работников.

Бурчак предложил им по примеру пахарей устроить показательное состязание между собой для того, чтобы установить норму максимальной выработки табельщика. Левона поразило то, что Бурчак, которого он сызмальства знал как самого последнего мужика, не имевшего сапог, произносит непонятное слово «табельщик» так уверенно. «Какие грамотейщики» — думал кузнец и кривил презрительно губы, но на сердце его было беспокойно и холодно.

Он вышел во двор и незаметно остановился у наружной стены. Пахари двинулись со двора с песней; впереди ехали тракторы, а за ними лошади. Они почти задели Левона, который отпрянул к стене и согнулся, глядя куда-то под колеса телег. Проезжая, хлопцы вызывающе смотрели на него, кто-то взмахнул кнутом, кнут свистнул около самого уха Левона. Он поднял глаза и увидел только задки телег, уже выехавших со двора. Они увозили с собой песню, весело катились по дороге и скоро растаяли в поле.

— Мешок дел, — сказал кто-то. Левон быстро оглянулся и встретил упрямые, подсмеивающиеся глаза Тесли. — Гора дел, — повторил тот и показал рукой на дорогу, — клин в этом году расширяем, растем немного.

— Генерал, — вдруг крикнул Левон со злобой, — ха-ха, генерал куриный!

По двору шла Александра Семеновна, и, увидев ее, кузнец смутился. Учительница слыхала, как он оскорбил Теслю, она подошла к ним.

Тесля презрительно плюнул, и на лице его Левон прочел самое чистосердечное негодование. Лицо учительницы было холодно и чуждо. Левон развел виновато руками.

— Я ведь нищий, — сказал он оправдывающимся голосом, — я тут нищий — я ведь не внес своего пая.

— Какого такого пая? Мы тебе все инструменты засчитали, — сказал Тесля.

— Не то, не то, я не внес громадного пая, — сказал плачевно Левон, — мое кузнечное барахло не в счет, я не внес громадного пая, такого громадного, что все ваши трактора перед ним мертвцы.

Из амбара выбежал Филипп и сообщил, что украден мешок с овсом. Тесля

махнул рукой и пошел к амбару. Учительница сурово взглянула на кузнеца и сказала ему чуждым, даже ненавидевшим голосом:

— Да, ты нищий, как и твоя вечная машина. Она игрушка для детей.

Учительница выпалила это одним духом и, круто повернувшись, поднимая сердитый ветерок, пошла со двора.

Кузнец остолбенел и ринулся за ней, крича:

— Александра Семеновна, подожди... я того... я значит включусь, а как, как, — кричал он, — Расскажи, как?

Учительница скрылась за воротами и не слыхала его вопроса. На него почти наехала лошадь, толкнув его мордой в спину, Шалунок вез бочку с водой в поле.

— Садись на бочонок, — весело пригласил его Шалунок, — я тебе все расскажу.

— На людей прешь, — процедил Левон с ненавистью, — что, приспособился уже тут?

— На всех парах ползу, но-о, ряска, — стегнул он свою клячу и затрусил по дороге.

Слесари Чипко и Шеншин выкатили из сарая две сеялки и стали прилаживать к ним какие-то деревянные брусья с кольцами. Чипко уперся на дышло передней сеялки и повез ее за собой; вторая сеялка плавню пошла за передней, влекомая деревянными перекладинами, соединявшими обе сеялки. Левон сразу догадался, что слесаря испытывают самодельные сцепки. Чипко катил сеялки по всему двору, а Шеншин бежал сзади и прикрикивал: «Идет, ядреная мать». Чипко осторожно повернул и обкружил колодезь, — сеялки шли плавню и не наскакивали друг на друга. Однако при резком повороте сцепки разехались в стороны и сломали продольный брус второй сцепки. Чипко огорченно выругался, а Шеншин мрачно вздохнул.

— Это что ли и есть сцепки? — спросил Левон, улыбаясь, и подошел ближе. Счастливая мысль мелькнула у него, но он скрыл ее от слесарей.

— Они самые, — ответил Шеншин, — работаем по памяти, без чертежа. Я мельком видел эти сцепки в одном совхозе, там трактор пер по три и по пять сеялок.

— Точки опоры не найдем, — пожаловался Чипко.

— Какую точку? — переспросил Левон и испугался.

— Точку сцепления, — пояснил Чипко.

— Точка сцепления... право дело, интересно, это... это... — и, не договорив, Левон пошел к себе в отгорожу.

Он сразу открыл ошибку слесарей: сцепка представляла собой продольный брус на колесах, дышла к нему — поперечный брус, прикреплявшийся к трактору, от дышла к концам продольного бруса шли растяжки из круглого железа. Сеялки прикреплялись к продольному брусу сцепки также с помощью двух брусьев, напоминавших дышла. Ошибка слесарей была в том, что обе сеялки они поставили рядом, растянув продольный брус передка почти на длину обеих сеялок. Сеялки касались друг друга втулками и при повороте неминуемо должны были ломать дышла или втулки. Идя по прямой, они не засевали полосы земли в ширину обеих соседних колес. Левон сообразил, что продольный брус сцепки необходимо укоротить и передвинуть дышла сеялок ближе к середине и так, чтобы вторая сеялка шла позади первой. В этом случае колеса шли бы не рядом, а гуськом по одной колее, устраняя незасеянную полосу, придавая сцепке легкость и гибкость.

Кузнец снаскоку открыл ошибку слесарей, как иной посторонний наблюдатель шахматной игры, глядя со стороны, ясно видит промахи игроков. Может быть, легкость, с какой кузнец открыл место опоры сцепления сеялок, была обязана его громадному мастерству. Так он конечно подумал и представил переполюх, когда на производственном совете он положит уже готовую сцепку перед восхищенными колхозниками. В точке сцепления сеялок он словно почувствовал свою собственную точку опоры в коллективе. Все эти дни он словно спотыкался, он словно искал почву для ног, и вот случайность, — благодаря сцепкам, через мастерство он наконец переклочит свою энергию. Не видя своих мыслей, обратной их стороны, кузнец попрежнему гордо мечтал осчастливить сцепками коллектив, оставаясь, как говорила учительница, единоличником своего мастерства. Но и то хорошо, что

он задумал обогатить коллектив не вечной машиной, а вещью, действительно полезной в хозяйстве.

Это был первый невольный шаг переклочения.

Едва слесаря ушли обедать. Левон подбежал к сеялкам и стал лихорадочно измерять сантиметром продольный и поперечный брус, потом дышла сеялок; так и выходило, как он думал, — продольный брус необходимо укоротить, а дышло передвинутым назад второй сеялки растянуть в длину. Он точно установил, на какое расстояние передвинуться к середине оба дышла сеялок. За своими махинациями он не заметил, как подошли слесаря, через окно столовой видевшие его с сантиметром в руках.

— Приспособляешь? — спросил доверчиво Шеншин, и морщины на его темном коричневом лице разошлись.

Левон испуганно отскочил, успев толкнуть ногой переднюю сеялку, чтобы скрыть от слесарей точку сцепления.

— Я, ну да... то-есть, эге, измеряю. — залепетал он смущенно, пряча сантиметр в карман.

— Ты посоветуйся с нами, мы целую неделю ломаем голову, — сказал Чипко простодушно, — вместе обмозгуем.

— Вместе, — спросил со страхом Левон, — как это вместе?

Чипко пояснил.

— Да так, вместе, сообща, один ум, два ума, три ума и сделаем...

— Это невозможно, зачем вместе, если я сам сделаю и на производственном совете доложу.

Шеншин нахмурился.

— Ты, может, надеешься патент получить или славу? Такое рассуждение — себялюбское, а мы в коллективе, как вода в море — миллион капель. Вместе мы скорее сделаем, до сева осталась неделя.

— Братцы, — стал умолять Левон и побелел, — я один сделаю, не могу вместе. Или вам не все равно? Дайте мне на потребу сцепку, сделаю, будь я проклят, если не сделаю. Я не... я ведь добрый.

— Ты добрый? — рассмеялся Шеншин.

Чипко обиженно молчал; его безусое лицо надулось, глаза буравили кузнеца исподлобья.

— Что ж, раз ты добрый, то бери сцепку, у нас есть запасная, — продолжал насмешливо Шеншин. — Ты добрый, а мы выходит добрее, если отдаем тебе уже готовую сцепку. Э-эх, коллективщик, варить тебя в когле со смолой, поработать тебе, добряку, на заводе, как я работал. Эх, эх, косточка собачья.

Он увлек Чипко в столовую, Левон потащил сцепку и дышла сеялок в ремонтную и принялся за работу. Он отмахнулся от Кульбихи, которая позвала его обедать, он чрезвычайно торопился и хотел до вечера исправить сцепку вчерне. Слесаря видели его через дверь и не посмели подойти, — кузнец хмурился и грозно смотрел на них.

Поздно вечером, когда колхозный двор спал, Левон перенес сцепку в сарай, где стояли сеялки, перевезенные туда слесарями еще после обеда. Испытание сцепки он хотел произвести без свидетелей, боясь, что слесаря подсмотрят его секрет.

При свете фонаря Левон установил сцепку и выкатил сеялки во двор. При повороте они наскakивали колесами друг на друга, вертелись и танцовали, но кузнец не смутился. Заднюю сеялку, — собобразил он, — можно прикрепить к передней сеялке гнутой железной пластинкой наглухо; пластинка проходила бы между колесами обеих сеялок, одним своим концом привинченная к раме сошников передка задней сеялки, а другим — к тылу передней сеялки.

Он решил пластинку приготовить днем, а пока тихо вкатил сеялки обратно в сарай, сцепку же он спрятал за молотилкой. При свете фонаря он вдруг увидел окно, заколоченное досками, и вспомнил, как он лез в него с ломом. Ему стало как-то не по себе. Он поднял фонарь выше и осветил сеялки, бороны и молотилку, из-под корпуса которой торчал поперечный брус спрятанной сцепки. Перед ним были не вечные машины, на которые он совсем недавно покупался с ломом; теперь он смотрел на них с умилением. «Я чудак, — сказал он себе, — ну прямо глупей Архи-Мёда: точка опоры — это точка сцепления полезных этих машин. То какой механизм вечный? Эге, я чудней Архи-Мёда...»

Он потушил фонарь и закрыл ворота сарая на засов. По двору кто-то крался

в конюшню; в силуэте Левон узнал Шалунку и, не выходя из тени, пробрался за ним в конюшню и стал свидетелем неожиданной картины: Шалунок подкармливал свою клячу овсом, беря его из мешка, спрятанного в сене. Значит мешок был украден из амбара Шалунок. Левон ничем не обнаружил своего присутствия: он решил уличить своего приятеля при всех на производственном совещании.

Уже два дня работал кузнец над сцепками, храня в глубокой тайне свои изыскания. Весь колхозный двор был уверен, что кузнец сделает сцепки, на то он мастер известный, находчивые руки. Тесля говорил, что благодаря сцепкам расширенный клин будет засеян во-время и с большой экономией средств. Левону было приятно внимание Тесли и всего колхозного двора, он словно чувствовал себя в центре мирового внимания, и ему начинало казаться, что от сцепки зависит благоденствие колхоза. Он признался и конечно не без гордости, что давно мечтал осчастливить колхоз своим мастерством, да не было случая, и еще, что он природный коллективщик и добряк. Тесля морщился и, подсмеиваясь, спрашивал, почему кузнец не обратился к помощи слесарей, ведь при совместной работе сцепки наверно скорее будут сделаны. Левон молчал, а Тесля лукаво улыбался.

Ничипорок также упрекал кузнеца за то, что он прячет свои сцепки, и предлагал свои услуги. Он залетал в кузню, этот черномазый мальчик с веселыми глазами, перекидывал инструменты, стучал без толку молотом и все норовил подсмотреть секрет сцепок. У Левона не хватало духа прогнать мальца. Ничипорок, уходя из кузни, таинственно общал кузнецу, что скоро он покажет ему на деле закон превращения энергии. О законе, видно, малец узнал от учительницы.

Испытание сцепок Левон производил по ночам. Соединительная железная пластинка, которая должна была придать сеялкам устойчивость, при первой же пробе погнулась. Левон сделал другую пластину из более толстого железа, но результат все был тот же. Кузнец по-

нял, что сеялки можно скрепить только соединительным тройным кронштейном и только с помощью слесарей. Но если он намекнет о нем слесарям, они сразу догадаются, в чем секрет сцепок. И значит потерять право на изобретение? Он словно ненавидел слесарей за то, что ему придется уступить им свое личное право, но вместе с тем ему было стыдно перед ними — в сущности они добрее его, они работали, не щадя сил и времени, и не для славы, а для коллектива. Но ведь он также старается для коллектива, думал Левон, ну да, для коллектива, но почему, спрашивал он тут же себя, слесаря работают совместно, а не в одиночку, как он? Значит желание их принести пользу коллективу сильнее желания каждого из них прославиться, а если так, то значительна сама по себе не слава, а желание совершить общепользное дело.

Так подверг себя кузнец критике и был близок к тому, чтобы сделать свой второй шаг — признать превосходство общественной пользы над тем, кто совершает подвиг.

Пока же Левон не сдавался и не шел к слесарям, надеясь перехитрить кронштейн. В кузню зашла учительница, она осведомилась, как подвигаются сцепки. Кузнец признался, что дело будто тормозится из-за отсутствия какого-то винтика. Учительница упрекнула его, что он прячет секрет.

— Ты хочешь быть один добрый, как иной хочет быть один богат, ты — одиночник.

— Я ведь не для себя мудрую, я не Шалунок, — сказал Левон.

— Все равно, — крикнула она гневно и вышла.

Шалунок продолжал по ночам подкармливать свою клячу в то время, когда Левон как раз испытывал сцепки. Они возвращались ночью на хутор вместе, каждый после своего секретного занятия. Шалунок избегал встречи с кем-либо и рысдой трусил по дороге, но Левон подстерегал его за леском и шел вместе с ним до его избы, задавая осторожные вопросы и наслаждаясь тем, как елозит Шалунок, объясняя причину позднего пребывания на колхозном дворе. Он измучил Шалунка намеками и, расставаясь у его избы, говорил:

— Эх ты, садовод.

Шалунок весь изгибался и молча запер дверь, а Левон посылал в темноту:

— Садовод скаредный, я тебя разглашу!

Откуда-то из темноты раздавался дребезжащий голос Шалунка:

— Ты хуже меня, гордец... ччорт.

Так повторилось две ночи, а на третью, когда Левон уже знал, что один не сделает кронштейна, расставаясь с Шалунком, огорченный неудачей, он крикнул ему:

— Ты — вор, ты крадешь овес, я все видел!

Дверь распахнулась, и на крыльце показался Шалунок, шатающийся, более желтый, чем луна, восходившая на небо.

— Ты видел, да не все, — сказал он взволнованно. — Ты видел, да не все.

— Чего же я не видел? — спросил Левон.

— Ты не видел моих благородных дум, а только воровство: я хотел, чтобы моя лошадь участвовала наравне с другими на пахоте в бригадах, как ее не берут туда за худощавость, а только на подвозку воды, а я не водовоз, я пахарь. И чтобы мне не тыкали пальцем за плохой пай, я подсыпал ей овес, а осенью при сборе урожая заявлю, чтобы мне вычитали мешок овса...

— Значит вон как, — сказал глубоко изумленный Левон, — ха-ха, ревность двух собственников по ночам, это — их благородство в пользу котла. Но только перекрою я тебя, и вот на чем: завтра же покажу слесарям сцепку и будем делать сообща. А ты, может, все еще про свою мечту думаешь. Ага, каким козырем ты меня переключешь?

Он вызывающе посмотрел на Шалунка, который крикнул ему:

— Лезь через ограду, лезь, сукин сын, я тебе раз навсегда покажу.

Левон перемахнул через ограду, уже зная, что Шалунок начнет рубить фруктовые деревья. Их было всего семь штук. Шалунок выбежал из хаты с топором: ему достаточно было одного взмаха, чтобы положить тонкое деревцо. Топор вскипал лунным огнем, деревцо падали без шума, покорно и не разбудили Насти.

— Раз навсегда! — шептал Шалунок, руба последние корни своей отдельной мечты.

— Кущи малины, пожалуй, не надо рубить, — сказал серьезно Левон, наблюдая за порубкой. — Теперь я тебе верю, так что мешок овса купим вместе... Прощай, дружок.

— Прощаем, — ответил Шалунок, закрывая за Левонем калитку.

А назавтра Левон открыл слесарям секрет сцепления сеялок и предложил совместно закончить сцепки. Слесаря будто и не удивились: Шеншин усмехнулся и крякнул одобрительно, Чипко же упрекнул кузнеца, что он обратился к ним за помощью в силу необходимости и что, если бы не кронштейн, который кузнец не мог сделать без них, он до конца сохранил бы в тайне секрет сцепления. Левон стал уверять молодого слесаря, что он сознательно для пользы дела поспешил с секретом и еще, будто, вразумил его Шалунок одним своим поступком, а каким, он пока не скажет.

— Я Шалунка знаю, до мозга косточки, — сказал Левон. — И коли он уничтожил на моих глазах, а как, не скажу, растения своей мечты, то я перед ним гад и больше никаких. Я действительно немного гордый и не открыл бы сцепку, утопился бы, а не рассказал бы. Я все искал точку опоры, ну теперь интересно понимаю, что это, ну вообще, как бы сказать... Э-эх... жалко конечно, что я один не осилил кронштейна, — признался он вдруг.

Чипко насмешливо подхватил.

— Проговорился... эх, ты.

Шеншин же стал хвалить кузнеца за его сознательное желание работать совместно над изобретением.

— Давайте, братухи, без самолюбия делать дружно, — сказал он, — претензии наши ничто перед задачами сева; какая право полова, Левон, твои досады. Слышал я, что ты чуть было не свихнулся из-за вечной машины, и значит теперь хорошо, что ты понял, где точка сцепления: она не в сеялках, а в нашей крепкой работе. Давайте, братухи, делать этот кронштейн.

Левону стало совестно перед откровенностью старого слесаря. Во время работы он нарочно посвящал его в свои мысли, возникавшие в связи с деталя-

ми кронштейна, этим он хотел показать свою полную откровенность и желание работать дружно, ничего не скрывать. Ночью же он не мог заснуть от ненависти к слесарям, воспользовавшимся его идеей; тут же он упрекал себя и днем на работе покорно исполнял приказания Шеншина, который торопил слесарей и столяра, строгавшего брусья для сцепок. Работа поглотила людей. И, не замечая, Левон также растворился в работе, поглощенный ею до отказа. Он постепенно приучался работать на виду, в гурте, и без назойливых дум. Кто-то из слесарей предложил сделать привесную серьгу к дышлу сцепки, чтобы придать ей шарнирность на неровных местах. Серьга увлекла всех, особенно Левона. Он предложил выковать ее, не поинтересовавшись, кто дал идею серьги. Кузнеца уже увлекла сама работа и общее желание закончить сцепки до начала сева.

Три дня дружной работы не прошли даром для кузнеца, который всю жизнь работал в одиночестве. Ему даже понравился смех слесарей и спешка, не позволявшая изнурительным думам кружить голову. «Я хотел оживить железо и дерево, и камень, — думал кузнец, — а они меня самого оживили; они — люди. Я хотел умножить себя и возвести в степень молотком и напильником, а множитель-то — не железо. Эх, Левон Милосердный, — глушец...»

Больше других Левону нравился Шеншин, даровитый мастеровой, большой знаток слесарного дела, знакомый также с токарным станком. Это он научил Левона работать коллективно и не только нравоучительным словом, а своей молчаливой преданностью делу. При большой опытности Шеншин считался с мнением молодых слесарей и даже с мнением Ничипорка и тем словно попрекал кузнеца за его прежнюю гордость.

— Слесарное ремесло, — говорил Шеншин, — состоит из двадцати трех приемов — из рубки, опиловки, сверления, ну и конечно ковки. За три месяца берусь научить Ничипорка.

— Ну, а сколько приемов нужно, — спрашивал Левон, — чтобы сделать человека счастливым?

— Ух, счастливым, н-да, — соображал Шеншин и находил ответ. — Если один человек хочет быть счастливым, он

поступает, как слесарь, он создает свое счастье рубкой, ковкой, опиловкой и сверлением своей судьбы. Ха-ха, он кует горячее железо своего счастья потным лбом. Это не счастье, а шишка на лбу.

— Ну а вообще счастье? — допытывался Левон.

— Молод не спрашивает, что такое железо, а его кует, — усмехался Шеншин.

— Я теперь сам как железо, а вы... вы, братцы, мои слесаря, — сверкал глазами Левон, — вы куете меня без молотков...

— Дядька Левон, — восклицал пылко Ничипорок, присутствовавший при разговорах, — ты шел супротив законов физики. Я сейчас строю одну машину и докажу тебе закон превращения энергии. Я назову машину «социализмом», который действительно вечен, но с помощью электричества, как говорит Ленин, электрификация и плюс.

Левон умиленно глядел на мальчика.

— Ну, строй, строй свою машину, маленький Ленин, я ведь слышал про него. Он громадный слесарь, приемов слесарских у него, быть может, не двадцать три, а двадцать четыре... я ведь тоже... того, как бы сказать... Что такое индивидуалист? — спрашивал он вдруг.

— Не знаю, — говорил Шеншин.

— Я тоже что-то не знаю, — признавался Ничипорок.

Чипко же говорил:

— Приходи к нам на заседание, Левон, узнаешь.

— Я приду, конечно приду, — согласился Левон.

В тот же вечер он присутствовал на собрании молодежи, а вечером перетаскивал свой сундук в общежитие и поселился в углу.

Испытание показало хорошее качество сцепок, и слесаря срочно заготовили четыре сцепки по одной на трактор и четыре запасных. Пришлось работать до поздней ночи, чтобы поспеть к севу, разговоры в мастерской прекратились. Левон делал подвесную сережку, столяр Андреев стдельно в сарае заготавливал брусся, слесаря — кронштейны, болты, скобы и растяжки. Они подгоняли друг друга в работе без слов; это было молчаливое соревнование. И то, что каждый

из них создавал отдельную часть сцепки, которую он потом видел собранной воедино у сеялок, сплывало их как одного человека. Левон за это время незаметно для себя сделал свой третий и решительный шаг. В точках механического сцепления составных частей уже готовых сцепок он словно видел сияющие точки нового для него коллективного мастерства.

— Я ударник, — сказал он с усмешкой учительнице в столовой за обедом, — но по ночам реву... Ха-ха, индивидуалист...

— Ревы, реви, это, может быть, последняя конвульсия, — сказала она, смеясь, и прибавила многозначительно. — Я тебе, ковач, слезы вытру...

В общежитии, где теперь жил Левон, то и дело они вели беседы о преимуществе коллективной жизни над одиночной. Левон уверял хлопцев, что по натуре своей он добрый социалист, но не тем путем шел, чтобы осчастливить мир: будто мир улучшить можно не двадцатью тремя слесарскими приемами, а одним, коллективным. В чем точно был этот прием, Левон хорошо не знал, и хлопцы ему объяснили. Тесля был рад, что хозяйство приобрело хорошего ремесленника; учительница также была рада по-своему...

Лошадь Шалунка взяли на пахоту, об уздечке никто ему не напоминал. Тем более угнетал Шалунка мешок овса. Он облегчал тоску покаянием перед Левоном, который успокаивал своего приятеля, обещая, что мешок с овсом он сам купит и отдаст хозяйству в почтение к тому, что Шалунок — уничтожил последние корни своей отдельной мечты и тем успокоил ревность Левона.

И только один человек, черномазый и шустрый, не верил в полное преображение кузнеца по той причине, что кузнец будто еще не видел на деле закона превращения энергии. Ничипорок завладел моделью вечной машины и построил еще одну, очень похожую на нее, с электрической батареей, которую ему привезли из города, зарядки хватало почти на час. Он хотел убедить кузнеца, что машина может двигаться только с помощью какого-либо постороннего двигателя, хотя бы электрического. Он строил

свою машину в школе тайно от школяров и как раз закончил ее в первый день сева. Он положил машину Левона и свою машину в сундучок и пошел на колхозный двор. Тут он узнал, что не далее как полчаса тому назад бригада выехала в поле вместе со слесарями, учительницей и Левонем, которые хотели увидеть сцепки на работе. Ничипорок побежал в поле.

Он увидел на границе вспаханных гребней четыре трактора с прицепленными к ним сеялками. Солнце выливалось щедрые ведра своего весеннего золота на землю, на тракторы, сверкавшие чистым огнем. Легкий ветер подкинул волосы учительницы на плечо Левона и играл его кудрями. Левон был выше других людей на голову и улыбался, обняв десны. Тракторы уже стали в шеренгу и ждали сигнала рулевого. В это время Ничипорок и раздражил кузнеца, он вынул из сундука модель своей машины и на расстоянии двадцати шагов крикнул:

— Э, дядька Левон!

Левон, а за ним и другие обернулись и увидели машину: Левон ахнул и онемел, потом сразу стал пьяным и крикнул:

— Сашенька!

— Смотри, смотри,—пенился Ничипорок,—это вечная машина, я сейчас пушу колесо!

— Сашенька!—крикнул возбужденно Левон и слепо бросился к Ничипорку, забыв о тракторах и о сцепках,—и, может быть, в последний раз прорвалась с огромной силой его прежняя гордость. Он вырвал машину из рук Ничипорка и поднял ее высоко. Трактористы, соскочившие со своих сидений, слесаря и учительница окружили его. Он держал на протянутой руке машину и счастливо хохотал. Колесо вертелось бодро и весело; облитое солнцем, оно шумело о его солнечной мечте.

— Грими, моя мысль!—крикнул Левон, слепо пьяный.—Я громадный мастер. Ну, лопни теперь Архи-Мед, глядя на меня. Реви, железо, танцуйте, напильники, я, я, ого!

Он обвел всех сияющим взглядом.

— Я как раз хотел ее подарить до начала сева, так и вышло. Тысяча лет пройдет, а колесо вертится и поет: «Сла-

ва тебе, Левон Милосердный». Я теперь построю еще один новый мир и больше никаких.

Слесаря и трактористы смотрели на него с улыбками, а Шеншин хмурился, потом спросил:

— Новый мир, ты?

— Вселенную! — гаркнул Левон. — В моих руках солнце!

— Дядька Левон, — сказал жалобно Ничипорок,—ты перепутал: твоя машина лежит в сундуке, а это моя машина «Социализм», который действительно вечен, потому что он с батареей, как говорится, электрификация и плюс. Я тебе хотел показать закон превращения и поставил электрическую батарейку в свою машину, а твоя машина не двигается, потому что из ничего не выйдет ничего.

Ничипорок взял из сундука модель другой машины и поставил ее у ног Левона, свою же спрятал в сундук.

— Вот это так, Левон Милосердный, — произнес насмешливо Чипко.

Невыразимы ужас и стыд кузнеца после столь бурного взлета. Он стал качаться и оседать, потом грохнулся на землю, трогая волосами колесо своей бездыханной машины.

— Глупец, глупец, — кричал он и словно хотел зарыться от стыда в землю.—Пускай плюнет мне в душу Шалунок, пускай теперь смеются надо мной все, все; запахайте, вдавите меня в землю, я новый мир, ха-ха, хотел построить... глупец, глупец...

Все молча смотрели на то, как он царапает землю, давится и хрипит. Учительница была бледна, слесаря и трактористы хмуры, а Ничипорок, казалось, вот-вот расплачется.

— Дядька Левон, — коснулся он его плеча,—встань, пожалуйста... Я ведь только хотел доказать тебе физику...

Левон вскидывал плечом и шептал:

— Ты интересный мальчик, я глупее тебя. Я не встану. Как мне теперь в глаза всем вам смотреть, ух, строитель, ну, строй, Левон, вторую природу: лезь в степен... в гроб-землю.

К нему приблизился Шеншин и сказал сурово:

— Вставай, молотобоец, надо действительно строить мир, мы его слесаря... Ты хотел его создать один на один и не теми инструментами. Как это ты

говоришь, Ничипорок, про закон? — спросил он мальчика.

— Закон превращения энергии,—ответил тот.

— Крепкий закон. Разве ты не говорил нам, что твоя точка — опоры что ли — находится в месте сцепления с нами?

— Говорил, говорил, я — подлец, — произнес виновато Левон, не поднимая головы.

— Разве ты не говорил, чтоб построить новенький мир, нужен двадцать четвертый слесарный прием, который ты будто обмозговал с хлопцами?

— Говорил... я — подлец...

— Так почему ж ты не можешь посмотреть нам в глаза, если ты это, все говорил нам? Вставай, Левон.

— Я встану, ну, я встану,—сказал Левон и поднялся.

Ему бросилась в глаза машина, стоявшая на земле; с внезапной яростью он ударил ее ногой, потом стал бить ее каблуком, раздавил колесо, разбил машину в щепки.

— Хорошо, что я из-за нее не сошел

с ума,—сказал он, швыряя щепы.—Вот что я хотел сказать. Братцы, э... давайте сеять...

— Именно сеять! — подхватил Шеншин. — Хлопцы, скажите это коням...

Трактористы заняли свои места; через минуту сеялки плавно двинулись, увлекая за собой слесарей. Они бежали за ними до поворота, наблюдая за сцепками, которые вполне оправдали себя.

Левон взглянул на стройную линию сеялок и сказал учительнице, следившей за севом.

— Я вот грохнул Сашеньку, то как теперь тебя называть?

— Зови так, да не гордись; ну и ну, ковач, — рассмеялась она, — только не вздумай и меня в щепы...

Ничипорок нес свою машину в сундуке, потом он вынул ее и, присев на косогор, стал забавляться; колесо шибко и стремительно завертелось, едва он включил ток. Ничипорок счастливо слушал музыку колеса, и ему казалось, что он поет о борьбе человека за свою вечность.

Три стихотворения

(Из книги „Жизнь бригадира“)

ВИСС. САЯНОВ

1. Лес «Рублевики»

В Полюстрове — лес Рублевики. В этом лесу собирались в дореволюционные годы маевки рабочих Выборгского района.

В Полюстрове — лесок Рублевики,
Полюстровым прошла весна,
В Полюстрове — лесок Рублевики,
Ольшанник, верба и сосна.

В Полюстрове — проулки узкие,
Одноэтажные дома,
В Полюстрове — проулки узкие,
В них полусовет и полутьма...

В Полюстрове, на крае города,
Овраг, пригорок, бугорок,
В Полюстрове, на крае города,
Десятки сходятся дорог.

Городовые на постах
Стоят, кобенясь по уставу,
Пока, продрогнув и устав,
Не рухнет вечер на заставу.

И вот уже проулком шастают
Глухие сумерки в тени,
И ночь короткую, мышастую,
Несут над городом они.

Лесок Рублевики, рассветы,
И конспирация, и все,
Вечерним сумраком одеты,
Бегут мальчишки по шоссе.

Маевка первая, весна,
Летящая перекладными,

Ты вновь качаешься, тесна,
Гремя дворами проходными.

Полны «Шпалерка» и «Кресты»,
Всех филеров кружит охранка,
Но ты проходишь прямо, ты
Выходишь с песней спозаранка.

Но падает глухая сетка
Твоих постов сторожевых,
Почти до Невского проспекта
Разводишь ты городовых.

И вот тогда свистят нагайки,
К ногам поджаты стремяна,
На стрёме морщась, разлетайки
Шныряют за тобой, весна...

В Полюстрове — лесок Рублевики,
Полюстровым прошла весна,
В Полюстрове — лесок Рублевики,
Ольшанник, верба и сосна.

Там пионеры водят игры,
Простой мальчишеский разброд,
И сосен выгнувшихся иглы
Слегка склоняются вперед.

А для маевки — город целый,
Огни вблизи и вдалеке,
Осколок тучи — белый, белый,
Дробится, выгнувшись, в реке.

2. Царь Николашка

В дни первой революции была популярна песня о том, что царь Николай II издал манифест, дающий мертвым свободу.

«Царь Николашка издал манифест:
Мертвым свободу, живых—под арест.

Царь Николашка, чтоб эту свободу
Дать ты сумел, не жалея, народу,

Выстрой по строю жандармов своих,
Станет в России поменьше живых.

Царь Николашка и ночью, и днем,
Думает, думает все об одном.

Мертвым твоя конституция дадена,
Вот и веревка, петля, перекаладина,

Вот и румяный, как псковский калач,
Ходит по каторге царский палач.

Катом катали, чёхом мели,
С польской и русской, и финской
земли.

Мало того, разожгли тютюну,
Сделал буржуй и помещик войну.

Мертвые! Вытопчут ваши останки,
Будут над вами гундосить Родзянки,

Барыньки тоже захохчут им в тон:
«В смерти героев виновен тевтон».

Только буржуи не шли на ура,
Выбить тевтона, как пыль из ковра.

В каждом дозоре, в каждой разведке,
Мы пригибаем кленовые ветки,

Нашими трупами реки мостят,
Пушки провозят на наших костях.

На Металлический старый завод
Тоже военная смута идет,

Мы подымаемся против хозяев,
С нами Муранов, Петровский, Бадасев.

Вышлют в остяцкие дымные чумы
Большевиков государственной думы.

Только запомни, о дымные доски
Бьются причалы твоей миноноски.

Царь Николашка, разлуку коря,
Буря с причалов сорвет якоря.

Царь Николашка, тебя отпоём,
Пулей, гранатой, снарядом, ножом.

Те, кто погиб под Варшавой и Двин-
ском,

Знайте: мы поднялись грозным един-
ством.

Мститель за вас и ответчик за вас,
Бьет революций двенадцатый час».

3. Отцы и дети

На одном из ленинградских заводов пионеры мерами общественного воздействия заставили прогульщиков ходить на работу.

Пыльный станок, а пыль не дым,
Как будто глаза не выест,
Когда Пешехонов был молодым,
Имел он собственный выезд:

«Вошь на аркане,
Блоху на цепи,
А ну, уркаганы,
Спешите, торопите».

Грязный станок, а грязь не плоха,
Просеивал всю до отвала,—
Как прыгнет порою его блоха,
Еще погрязней бывало.

Ржавый станок и пустой станок,
Со всех удирал Пешехонов ног
Не то, чтобы в «жизнь иную».
А попросту так, в пивную.

Он пиво мешает с водкой — даешь!
 Во вкус постепенно влазь,
 Дерет эта водка во-всю, как ерш,
 Костистая, как карась.

Потом на закуску багровый рак
 Толщиною в четыре пальца,
 Глядит Пешехонов сердито — «брак!»
 По-рачьи назад плятятся.

А в это время, во весь прокат
 Гудящего глухо взрыва,
 Пятнадцать идет штурмовых бригад,
 Смывая клеймо прорыва.

Но дома во-всю Пешехонов спит
 И сладкие видит сны,
 Как дудка, в горле его хрипит
 Первый прогон весны.

Липы в цвету, и на всех цветах
 Моченый горох и вобла,
 И пиво с небес течет, да так,
 Что все подставляют ведра.

Толкают в загривок, пора вставать,
 Садится он на кровать.
 И слышит он, что бьет барабан,
 Как дождь без конца и края,
 И первая палка бьет по верхам,
 А сразу за ней вторая.

И сын говорит ему: «Стыд, как дым,
 Глаза твои сычи выест,
 Не то, что когда ты был молодым,
 Имел ты собственный выезд:

«Вошь на аркане,
 Блоха на цепи,
 А ну, уркаганы,
 Слеши, торопи».

Теперь на раздумье минуту даю:
 Станок без тебя подзатерло,

Не то, признаюсь, прощайте, адью,
 Мы сами возьмемся за сверла».

Хоть зол Пешехонов, но все же идет,—
 Клянясь и кляня с перегара,
 Стозевною глоткой встречает завод,
 Глухой переборкой удара.

Хотя против шерсти, но все же попер,
 И ночь отлетает, седой осетер,
 А рядом упорно, во весь прокат
 Летящего глухо взрыва,
 Пятнадцать идет штурмовых бригад,
 Смывая клеймо прорыва,
 И так, проработав что надо, прямой
 Дорогой идет Пешехонов домой.

Но бьет барабанщик, и целый отряд
 На палке несет ему рака,
 Тебе непременно, тебе, говорят,
 Тебе, как зачинщику брака.

Через десять дней, вина не тронув,
 Пива и глотка не отхватив,
 Говорил ребятам Пешехонов
 На совсем особенный мотив:
 «Хоть я лыком шит
 Да мылом мыт,

Подшофе, под фирмой, под сурдин-
 кой,

Не хочу я больше в свете жить,
 Этакой задрипанной сардинкой.
 Килькою такую иль желторотым
 В жире задыхающимся шпротом».

И ребята тут ответили ему:
 Что, зачем, куда и почему:
 «Очень это дорого и мило,
 Отступить ни в коем не могои,
 Свайку ты теперь сменял на мыло,
 Лапти променял на сапоги.
 Чтоб тебя не выела проказа
 И потом к ершам не занесла —
 Шефство с настоящего числа»

Море, люди, дни

Из книги «Поход Седова»

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

В прошлом году мне довелось быть участником замечательного похода ледокола «Георгий Седов» на Землю Франца-Иосифа и далекую Северную Землю. Успех этого похода тем более замечателен, что в самое кратчайшее время была выполнена двойная задача. Меня, наблюдателя, поразила необычайность, величие ледяной мертвой пустыни и особенно энергия и мужество людей, поставивших себе задачу победить и оживить эту пустыню. Такими людьми, которым с особенным уважением я пожимал на прощанье руки, были Георгий Алексеевич Ушаков, ныне зимующий на берегах далекой Северной Земли и капитан «Седова» Владимир Иванович Воронин, неутомимости и опыту которого мы обязаны благополучным завершением рискованного похода.

Земля Франца-Иосифа

Земля Франца-Иосифа открыта в 1873 году австрийскими путешественниками Пайером и Вайпрехтом. Их корабль «Тегеттгорф», направлявшийся на исследование северной части Баренцева моря, вмерз в льды у берегов Новой Земли. Этот год был особенно неблагоприятен для плавания в ледовитых морях. Все попытки освободиться из сковывавших льдов были напрасными. Долгую зиму корабль дрейфовал вместе с сжимающимися его ледяными полями, водимыми океанским течением и ветрами, медленно подвигаясь на север. За долгие месяцы вынужденного плавания было пройдено расстояние, на которое иду-

щему по свободной воде судну понадобилось бы не более трех дней. Наконец, на второй год невольного дрейфа, путешественники увидели поднимающиеся из тумана снежные, сверкающие горы. Подойти к берегу долго не удавалось и только после долгих усилий и ожидания, уже в темноте начинавшейся полярной ночи, путешественникам удалось ступить на берег неведомой земли. Здесь, у пустынного острова Вильчека (так назвали его австрийцы в честь лица, давшего деньги на организацию путешествия), они провели вторую зиму. Весною, при первых лучах солнца, Пайер отправился на обследование берегов открытой земли. Путешествуя на собаках, он достиг самой северной точки архипелага — мыса Флигели на о. Рудольфа. По предположению Пайера (он путешествовал ранней весной, когда все острова и отделявшие их проливы были под снегом) Земля Франца-Иосифа состояла из двух покрытых снегом и льдом пространных массивов, разделенных глубоким проливом. Предположение это впоследствии оказалось ошибочным. Последующие экспедиции установили, что Земля Франца-Иосифа представляет собою архипелаг, состоящий из многих малых и больших островов, разделенных проливами, и заканчивается на севере мысом Флигели, дальше которого никаких островов нет¹⁾. Летом Пайер

¹⁾ С мыса Флигели Пайер видел большую землю, названную им Землею Петермана, и нанес ее на карту. Впоследствии оказалось, что никакой «Земли Петермана» не существует, и Пайер ошибся, приняв нагромождение торосов за далекий берег. Такие ошибки нередки

Вайпрехт должны были убедиться, что надежды на освобождение вмерзшего во льды корабля нет, и путешественники стали поспешно готовиться к ледовому переходу. Это обратное путешествие стоило невероятных трудов и жертв. По льдам, гонимым к северу южными ветрами, таща на себе тяжелые нагруженные снаряжением лодки, одолевая непроходимые торосы и полыньи, за два месяца тягчайшего пути путешественники отошли лишь на несколько километров от места зимовки. Белые горы о. Вильчека все не скрывались из глаз. Наконец, после трехмесячного путешествия, уже в середине августа (Пайер и Вайпрехт вышли с о. Вильчека 20 мая), измученные путешественники увидели воду и спустили шлюпки. На следующий день они благополучно достигли берегов Новой Земли и вскоре были подобраны дедом нашего капитана, русским промышленником-помором Федором Ворониным и за хорошее вознаграждение доставлены в норвежский порт Варде.

После австрийской экспедиции Пайера и Вайпрехта, считавшихся погибшими и встреченных в Европе с большим триумфом, обследование заинтересовавшей весь научный мир земли перешло главным образом в руки англичан. В 1880 году, спустя шесть лет, на Землю Франца-Иосифа отправился шотландский спортсмен Ли-Смит на собственной яхте «Эйра», построенной специально для плавания во льдах. В первый год он успешно достиг берегов Земли Франца и, обследовав часть берегов и проливов, осенью благополучно вернулся с твердым намерением повторить путешествие в следующем году. Второе путешествие Ли-Смита к берегам Земли Франца-Иосифа было несчастным. Его корабль «Эйра» потерпел крушение у мыса Флоры. «Эйра», прижатая к береговому припаю внезапно подошедшими льдами, пошла ко дну с такой быстротой, что люди не успели выкинуть из трюмов все необходимое для зимовки снаряжение и продовольственные запасы. Зимовать пришлось в хижине,

происходящей во льдах на крайнем севере, где глаз путешественника обманывается световыми эффектами, рефракцией, искажающей лежащие на горизонте предметы.

сколоченной из остатков погибшего корабля. Однако зимовка прошла вполне благополучно. Зверей и птиц на мысе Флоры оказалось много, и экспедиция в достаточном количестве запасла на зиму мяса¹⁾. Проведя зиму на мысе Флоры, экспедиция Ли-Смита, подобно австрийской экспедиции Пайера и Вайпрехта, на лодках благополучно достигла берегов Новой Земли.

В девяностых годах, в период увлечения полярными путешествиями, Земля Франца-Иосифа стала базой для многих экспедиций, пытавшихся нащупать легчайший путь к Северному полюсу, бывшему главной приманкой для многих полярных исследователей. Особенно много по обследованию Земли Франца-Иосифа сделала экспедиция англичанина Джексона. Этот неутомимый путешественник провел безвыездно три года на берегах Земли Франца, где на мысе Флоры им выстроен был маленький, достаточно благоустроенный поселок. За три года Джексон и его помощники успели обойти и исследовать весь архипелаг. Большинство островов и проливов Земли Франца-Иосифа положено на карту Джексоном. Великосветскому англичанину, не забывавшему и на мысе Флоры своих господских привычек, настолько пришлось по вкусу отшельническая жизнь на Белой Земле, что он уехал оттуда с большой неохотой и только потому, что его покровитель, дававший на оборудование экспедиции деньги, прекратил денежную помощь и категорически предложил ему вернуться.

¹⁾ Ярким примером, что здоровый и энергичный человек, имеющий оружие и патроны, не может погибнуть от голода, служит зимовка Нансена на о. Джексона. Вдвоем со спутником своим Иогансеном, в берлоге, сложенной из камней и утепленной шкурами медведей, питаясь мясом убитых зверей и птиц, они благополучно провели зиму. Еще более замечательно описанная в одной старинной книге история девяти русских промышленников, потерпевших крушение и несколько лет благополучно проживших на Шпицбергене. У этих людей не было никакого оружия и никаких принадлежностей. Они добывали пропитание, собирая на птичьих базарах яйца и палками убивая птиц. Вообще голодная смерть на берегах арктических земель — вещь невозможная. Сотни и тысячи пудов свежего мяса всегда в распоряжении человека. Кроме того, Джексон с успехом запасал «ложечную траву», служившую ему для приготовления свежего «салата».

Кроме англичанина Джексона и первых исследователей, на Земле Франца зимовали итальянская экспедиция герцога Абрुццского, в свое время установившая рекорд достижения северной широты (лейтенант Каны), и несколько богатых американских экспедиций, имевших более спортивный, чем научный, характер. От этих экспедиций, снаряжавшихся с исключительной роскошью и богатством, осталось несколько складов, один из которых на о. Рудольфа в 1928 году, разыскивая могилу Седова, посетил наш ледокол. Склад оказался переполненным (американцы были вынуждены вследствие крушения судна поспешно оставить свое становище) дорогим снаряжением, большая часть которого значительно пострадала от многолетнего пребывания в сырости и морозе.

Из русских на Земле Франца работала главным образом экспедиция лейтенанта Седова, зимовавшая в бухте Тихой в 1913—14 гг. Ею обследована прилегающая к бухте Тихой местность и было предпринято несколько разведочных экскурсий. В последние годы русские ледоколы почти ежегодно подходят к берегам Земли Франца-Иосифа (которой в недалеком будущем, быть может, суждено стать базой арктического воздушного сообщения между Америкой и Европой), а норвежские промысловые суда в поисках убывающего зверя ухитряются проникать даже к наиболее недоступным северным островам.



Все перепуталось: напролет мы бодрствуем ночи, спим не более часа и, просыпаясь, спрашиваем друг у друга: который теперь час, а получивши ответ, осведомляемся неизменно:

— Дня или ночи?

К этому трудно привыкнуть. И ночь, и день яркое светит над нами солнце.

В самом деле, точно видишь во сне.

Вот я открываю глаза, и мне видится: призрачные белые горы, слепящие льды, призрачный свет полного солнца, я сижу высоко на покрытой известковым кометом выступе береговой скалы. Подо мною зеленым ковром расстилается мох, ниже — розовый снег и вмерзшие в лед

недвижимые камни, вода, опять лед, зеленые льдины и полыньи, лиловые, уходящие в прозрачную даль торосы, белые ледяные поля и над ними — сверкающие на солнце снежные горы. Нет возможности уследить, где завершаются горы и начинается прозрачное, голубое небо.

Все воздушно, все призрачно, все непохоже на виденное раньше.

Яркие полярные маки качаются у моих ног. Они растут пучками, упрямо пробиваясь мохнатыми своими стрелками меж обломков камней. Надо мною, наверху шумит большой птичий базар. Выступ, на котором сижу, был излюбленным местом птиц — белогрудых маленьких люриков, — и они сотнями со свистом пронесются над моей головой, садятся на камни и, ежели посмотреть снизу, похоже на иконостас: как точные фигурки, как игрушечные ваньки-встаньки, расселись по выступам и карнизам черноголовые белогрудые птички.

Я сижу неподвижно. Ружье лежит на коленях. Здесь оно почти не нужно. Пропало чувство борьбы, погони за хитрым, убегающим зверем, зажигающее охотника страстью. Я сижу на скале и точно растворяюсь в окружающем меня, похожем на сновидение мире. Птицы пронесются над моей головой и близко садятся. Мне видны их накрахмаленные белые грудки, их круглые лакированные головки и черные разглядывающие меня глазки.

Я сижу, смотрю, слушаю. Холодный воздух прозрачен, чист. И поразительной, чудесной показывается эта необычайная прозрачность полярного воздуха. Вижу отчетливо: по дальней гряде освещенных низким солнцем льдов желтоватое движется пятно. Оно то появляется среди торосов и ропаков, то исчезает. Я поднимаю бинокль, смотрю.

Это идет по своим делам хозяин здешних краев — белый медведь. Мне хорошо видно, как он, не торопясь, взбирается на снежные глыбы и, вытянув шею, обнюхивает воздух. До него не менее двух верст, а мне отчетливо видно каждое его движение; каждый его неуклюжий шаг.

Странный шум доносится с моря. Я долго слушаю и не могу понять. Быть может, это шумят и грохочут, сталкиваясь и разрушаясь, льды. Льды идут

сами собою, длинною вереницей, движутся куда-то, крутят на одном месте. Вот проплывает большой белый город: собор, колокольни, сказочные башни ледяного кремля. Он плывет быстро, обгоняя мелкие плывущие льдины, точно неведомая гонит его сила.

Стоит закрыть глаза, и ясно слышу, как шумит большая пригородная дорога. Слышу стук бесчисленных колес, а рев автомобильных гудков доносится четко. Впечатление большого, шумного города так сильно, что мгновение кажется — все перекинулось и не сошел ли я невзначай с ума.

А все такое же, и все незаметно переменилось. Похожая на сказочный город, ледяная гора остановилась и, медленно раскачавшись, с грохотом перевернулась и поплыла дальше, став похожей на корабль с распущенными парусами.

И опять слышу: гремит-шумит большой город, а все так странно, что начинает казаться, вот изменится и проснешься...

Стайка птиц, обдав меня ветром, садится в полуаршине. Мне хочется протянуть руку, потрогать их гладкие чистые перья. Они сидят кучкой, один к одному, тесно прижавшись, и кажется, что сидят неживые.

Громкий и очень близкий поражает меня звук.

Мне отчетливо вспоминается: деревня, летний деревенский вечер, туман над рекою, за околицей в разнобой стучат молотки, — мужики отбивают с вечера косы.

Я осторожно оглядываюсь, вытягиваю ноги, стараюсь уследить происхождение звука. Подле меня горбатая, снизу подтаявшая глыба розоватого льда. Солнце растапливает лед и с прозрачной, увешанной ледяными сосульками нижней поверхности глыбы светлыми каплями сочится вода. Стук падающих капель слышится как разнобой молотков, отбивающих за деревенской околицей косы.

Долго сижу на холодной, облитой птичьим пометом скале, привлекая внимание пролетающих птиц. Они проносятся надо мной тучами, разрезая крыльями воздух, падают с таким шумом, что невольно закрываешь глаза.

А все не умолкает таинственный, издалека доносящийся шум.

Изредка далекий слышится грохот, точно выстрелили из пушки или прогремел гром и долгое покатило эхо. Где-то упала, отколовшись от глетчера, миллионпудовая глыба. Грохот, не умолкая, катится долго.

Окруженный флотилией льдин, белый, ледяной проплывает корабль. Призрачное светит солнце.

Осторожно, нащупывая каждый камень, придерживая ружье, сползаю вниз со скалы. Медленно спускаюсь по ледяному припаю к открытой, светлой, как зеркало, воде, ступаю на большой вмерзший в береговой лед камень. Три гаги — пегий самец и серые самки — поднимаются из-под ног и, отразившись в зеркале вод, тянут над самой поверхностью моря. Проваливаясь в снег, оставляя за собой следы, похожие на следы зверя, я иду берегом к приметному месту, где, привязанная к глыбе льда, лежит на снегу шляпка, а над берегом синий тянет дымок, здесь странно пахнущий человеком.

Путешествие на о. Мертвого Тюленя

Мне особенно запомнилась поездка на островок Мертвого Тюленя, давио привлекавший внимание наших охотников. Я не знаю, кто дал название этому маленькому островку, едва видневшемуся над льдами. По рассказам бывалых спутников, там в огромном количестве гнездились гаги, стайки которых мы ежедневно наблюдали над поверхностью бухты. Григорий Петрович, мой спутник, решил обследовать гнездовые гаг, и мы отправились в путешествие на предоставленном в наше распоряжение моторном боте.

Этот моторный бот, выдавший на своем веку многие виды, причинил седовцам множество огорчений. Наши мотористы часами, бывало, возились над незапускавшимся мотором, упрямо плевавываям кольцами вонючего дыма. Однако на сей раз мотор завелся благополучно, и, завернув к станции, чтобы пополнить запас нефти, мы взяли курс к темневшему за грядю подвижных льдов плоскому островку.

Мы выбрались близко к полуночи, но

яркое светило солнце, и все было зеркально. Было чудесно скользить по гладкой, казавшейся стеклянно-густою, отражавшей небо и белые льды воде. Одинокие птицы черными точками плавали по зеркальной поверхности бухты. Доктор, сидевший на носу бота, занялся стрельбой в лет по пролетавшим над лодкой птицам. Он мазал отчаянно, и напуганные выстрелами птицы со свистом пронеслись мимо.

— Соли, соли на хвост!..

— Доктор, не попадете!..

— Опять мимо!..

До островка было около шести миль, и мы отправились в расчете вернуться пид утро. Мотор работал отлично. «Груммант» (так назывался наш старый, пропитанный нефтью и ворванью бот) оставлял за собою две широко разбегавшиеся, отливавшие стеклом складки.

Вокруг все было розоватое с позолотцей. Розовые отсветы лежали на дальних, наполнявших Британский канал льдах. Похожий на праздничный стол, золотом сверкал остров Скотт-Кельти. На одной из льдин, освещенных солнцем, мы увидели двух червячками лежавших у самого края тюленей. Не подпустив близко, они свалились в воду и мгновенно исчезли.

Островок Мертвого Тюленя со всех сторон был окружен плавучими льдами, сквозь которые нам пришлось с большим трудом пробираться. С риском застрять и быть раздавленными проскакивали мы в узких каналах, тотчас замыкавшихся за кормою. Понадобилось более часу, чтобы добраться до берега, окованного высоким, осевшим на мели трипаем.

Причалив к льдине и закрепив конец, мы поднялись на гряду лежавших на берегу камней. Тотчас над нами с криком и угрожающим треском взвились населявшие возвышенную часть островка белые крачки.

Островок был небольшой, плоский. Три гаги неожиданно поднялись из-под ног и, низко протянув над землею, сели у берегов в полынью. Доктор выстрелил поспешно, и одна гага, забившись на воде крыльями, перевернулась вверх брюхом. В охотничьем азарте доктор бросился в воду и, провалившись по пояс, с торжеством достал убитую птицу.

Доктор напрасно принимал ледяную ванну. Птиц на стровке оказалось очень много и, если бы мы стали стрелять всех, легко можно было добыть несколько десятков. Птицы то и дело слетали из-под наших ног. На покрытой мохом и мелкими камнями земле было трудно разглядеть даже на близком расстоянии отлично замаскированные гнезда и самих затаившихся птиц. Я хотел сфотографировать сидящую на гнезде гагу и, осторожно подвигаясь, внимательно разглядывал каждый камень. Несколько птиц, не допустив близко, сорвались с гнезд и, сделавши над берегом круг, плавно опустились на воду. Наконец мне удалось увидеть притаившуюся на гнезде гагу. Она хоронила за скрывавшим ее круглым камнем, и только при самом внимательном разглядывании можно было ее заметить. Боясь испугать, я со всею осторожностью подвинулся ближе. Гага продолжала сидеть в двух шагах от меня неподвижно. Казалось, она была неживая. Только по открытым черным глазкам, внимательно следившим за моими движениями, можно было понять, что каждое мгновение она готова вспорхнуть. Я успел сделать снимок (впрочем неудачный, так как оперение гаги совершенно сливалось с окружавшим ее каменным фоном) и, подвинувшись ближе, протянул руку. С необычайною быстротою гага вскочила с гнезда и, не взлетая, пешком направилась к морю. Она ковыляла, как домашняя утка, смешно переваливаясь и припадая. Так, притворившись больной, она отводила меня от гнезда. Я быстро пошел за нею, и она, не позволив себя поймать, оказавшись совершенно здоровою, быстро взлетела.

Разбредясь по всему островку, мы нашли несколько десятков гагачьих гнезд, наполненных драгоценным серовато-синим пухом. Чтобы не губить насиженных и еще теплых яиц, мы старательно прикрыли их пухом, как это делают сами отлетающие на корм птицы. Кроме свежих с насиженными яйцами гнезд, на острове уцелело много покинутых и перезимовавших. В этих старых гнездах пух был не столь чист и легок. Не трогая жилых гнезд, мы взяли с собою несколько горстей гагачьего пуха, смешанного с сухим, мелким мохом.

Гаги населяли отлогую южную часть острова. В восточной — более крутой и каменистой — гнездились белоснежные крачки. Эти острокрылые, напоминавшие ласточек красноклювые птички с удивительной храбростью защищали своих птенцов. Пара крачек, к гнезду которых я случайно приблизился, напал на меня с отчаянной решимостью. С угрожающим треском они останавливались в воздухе над моей головой и, треща крыльями, внезапно падали камнем. В дно моей кожаной шапки сыпались удары. Крачки нападали с таким упорством и смелостью, что на потеху смотревших на меня со стороны спутников я был вынужден всерьез отбиваться от них обеими руками.

Гнезда крачек трудно рассмотреть в однообразных горах камней, покрывающих остров. Эти маленькие и красивые чайки кладут яйца прямо на голую землю. Родители сами выдавали близость птенцов. Чем ближе подходил человек к гнезду, — отчаяннее металась и трещала над ним встревоженные родители. Так, при помощи беспокоившихся родителей, нам удалось найти только что вылупившегося беспомощного птенца. Птенец был очень чувствителен к холоду и, растянувшись на плоском камне, покинуто дрожал. Пока мы смотрели, он закрыл глаза и совсем приготовился умирать. Мы положили его на землю. Тотчас к нему спустилась мать, все время падавшая над нами. Было трудно понять, как ухитряются заботливые родители выхаживать на голой ледяной земле своих, столь чувствительных к холоду, нежных птенцов...

Понадобилось не более двух часов, чтобы обойти и осмотреть весь маленький островок, имевший в окружности около километра. Однако и за это короткое время вокруг неузнаваемо изменилось. Сплошные пловучие льды окружили остров со стороны бухты. Льды длиной грядой быстро шли из Британского канала. Казалось, не было возможности пробиться к «Седову», едва видневшемуся за льдами. К счастью, мотор завелся исправно, и, расталкивая баграми мелкие льдины, медленно пробиваясь во льдах, мы стали пробивать себе дорогу. Понадобилось сделать боль-

шой круг, чтобы наконец выбраться на вольную воду.

Мы опять скользили по гладкой, розовой, стеклянно-тяжелой поверхности бухты. Солнечная ночь была прекрасна. Никому не хотелось скоро возвращаться на ледекол.

— Поедемте к Скотт-Кельти смотреть нарвалов, — предложил кто-то из участников нашей прогулки.

— Нефти хватит?

— Хватит до вечера.

— Право на борт!

Мы повернули направо к острову Кельти, ярко блиставшему на солнце. Там, в проливе Меллениуса, наши охотники на-днях видели целое стадо нарвалов. Эти допотопные чудовища, снабженные длинными штопорообразными бивнями-носами, считаются редкостью даже в малодоступных человеку ледовых морях. Их рев, похожий на завывание автомобильных гудков, я долго слушал, сидя на каменных откосах Кельти, и никак не мог догадаться о причине поразившего меня своей неожиданностью звука. Однако нам не удалось увидеть редкостных чудовищ. Поверхность пролива была недвижима. Ни единый всплеск не нарушил ее удивительной зеркальности. Мы долго скользили по отражавшей солнце и высокое небо, и тонкие облака, горы, льды и редких пролетающих птиц, казавшейся стеклянкой глади. Вернулись мы под утро, когда на берегу уже кипела работа. «Седов», окруженный флотилией айсбергов, приплывших ночью в бухту, стоял на своем месте. В окружении гор и льдов он казался крошечной букашкой.

Долина молчания

— Не хотите ли проехать с нами в «Долину Молчания»? — сказал мне один из участников геологической экскурсии, отправлявшейся на обследование берегов острова Хукера.

Шляпка покачивалась у трапа. Я наспех оделся, захватил ружье и, быстро сбежав по трапу, последним вскочил в шляпку, где уже разместились все мои спутники.

Наш путь на сей раз лежал к северу от бухты Тихой, вокруг покрытого камнями мыса Седова и выступавшего ледяного откоса, носившего странное имя

Маланьи. Мы с удовольствием налегали на весла, и шлюпка шибко пошла по гладкой, зелено-прозрачной, точно застылой, воде.

Этим путем когда-то направлялся Седов в свое последнее путешествие к полюсу. Ничто не напоминало ужасных подробностей давней седовской трагедии. Солнце светило ярко. Округ простиралась слепящая зеркальная гладь. Редкие, зеленоватые и белые, проплывали льдины. Птицы, отражаясь в воде, пролетали над нашими головами.

— Это получше, чем на курорте, — заметил кто-то из самых восторженных спутников, любовавшийся на открывавшиеся просторы.

— Что курорт!

— Поживи здесь годок, узнаешь, — сказал, посмеиваясь, зимовщик, на опыте знавший изменчивость и непостоянство здешней погоды.

Воздух был поразительно чист. За дальней грядой подвижных золотившихся льдов, как опустившееся облако, виделась Земля принца Георга и сквозили прозрачные очертания острова Хансена, лежавшего в глубине Британского канала.

Мы шли у берега, сверкавшего белизною многолетнего слежавшегося снега. На отлогих скатах спускавшегося в море ледника грязными пятнами темнели морены — груды каменных пород, разрушенных напором безостановочно подвигавшегося берегового льда. Над морем ледник обрушивался высокой отвесной стеною, из-под которой с грозным шумом выкатывалась пресная весенняя вода, мутною полосой далеко вливавшаяся в глубокую и чистую синеву моря.

Мы прошли подле огромного айсберга, похожего на чудовищную голову в серебряном сверкающем шлеме. Все можно было отчетливо рассмотреть на яркой синеве моря: зеленую косматую бороду, уходившую глубоко в воду, и широкий сплюснутый нос, и прищуренный синий глаз, светившийся под нависшей седой бровью. Вблизи айсберг звенел миллионами колокольчиков. Звук был тонкий, серебряный, сливавшийся в струнную музыку. Это звенела, скгытаваясь с подтаявшей глыбы, струйками падая в море, вода. Мы близко подо-

шли к переливавшей нежнозелеными и лиловыми красками ледяной стене. Тысячи струек свергались на воду, и у основания ледяной горы вода пузырилась и кипела, как в проливной дождь. Мы не рисковали подходить вплотную к светившейся ледяной поро, быть может, готовой обрушиться от первого звука и, сделав несколько снимков, отправились дальше...

«Долина Молчания», до которой мы наконец благополучно добрались, представляла собою глубокое и извилистое ущелье, на дне которого с весенним звоном, сверкая на солнце, катился ручей. Летом здесь мало что оправдывало мрачное название ущелья. На берегу, где мы оставили шлюпку, еще сильнее чувялась и гуляла полярная весна. Ноги по щиколотку вязли в размокшей, размытой ручьями, перемешанной с острым щебнем земле. На полуденном скате полого поднимавшемся к основанию базальтовых скал, ярким ковром пестрели желтые, и лиловые цветы. По моховым кочкам перелетали пегие пуночки. Я с особенной радостью смотрел на этих торопливых птичек, напоминавших жаворонок и нашу весну.

По каменистому руслу мы направились к вершине ущелья. Краснобурые каменистые стены (над ними особенно глубоко казалось прозрачное светло-голубое небо), возвышавшиеся над нами, обломки базальтовых скал, серый ископаемый пепел, в котором обрушивалась нога, молочные кристаллы гипса — все это указывало на вулканическое происхождение острова и ущелья.

Каждый звук — крик, выстрел, пение ручья, катившегося с камня на камень, — десятки раз отражался в окружающих нас каменных стенах и скалах. Белогрудые люрики гнездились у самой вершины обрыва. На каменных скалах, как серебро с чернью, затейливыми узорами сверкал нерастаявший снег.

У истока ручья, сбегавшего из полукруглой котловины, наполненной пепельным мягким туфом, мы открыли залежи окаменелого леса. Дерево — черные обуглившиеся куски — отлично сохранило свое строение, на нем отчетливо были видны сучки, окаменевшая шелушившаяся кора и годовые слои.

— Нет никакой возможности точно

объяснить происхождение этого дерева, — сказали нам геологи, бродившие с длинными молотками и сумками за плечами. — Быть может, многие тысячи лет назад его занесло сюда морскими течениями и выбросило на берег, бывший более низким. Быть может, еще в более отдаленные времена здесь рос вековой лес, и эти каменные куски — остатки того доисторического леса...

Добравшись до вершины ущелья, мы устроили небольшой привал. Геологи, нагруженные, как верблюды, с удовольствием сняли наполненные тяжелой ношей плечевые мешки. Хорошо было лежать на прохладных камнях, смотреть вниз, в глубину извивавшегося, чуть синевшего легкой дымкой ущелья, сознавать, что здесь мы первые люди, слушать наполнявшую этот доисторический мир прозрачную тишину...

На обратном пути, спускаясь к морю, у большой, вросшей в землю плахи плавника (когда, в кои веки занесло сюда это огромное дерево, пролежавшее, быть может, многие сотни лет!) я нашел жестяную порожнюю банку. Когда и кто из путешественников здесь устраивал привал? Сопутствовавший мне Муханчик, всегда открывавший необычайные вещи, нисколько не задумываясь, тотчас по-русски прочитал на банке стершуюся надпись:

— Нобиле, клюква...

— Что, что такое, Муханчик?

— Нобиле, клюква...

В голове Муханчика уже складывалась сенсационная телеграмма. Глаза блеснули. Видимо, его давно мучила надежда разыскать погибший дирижабль Нобиле, за находку которого итальянским правительством объявлена награда в 30.000 лир. Муханчик во всяком предмете готов был видеть следы этого погибшего дирижабля.

— Где, какая «клюква»?..

На жестяной банке, которую мы держали в руках, была видна стершаяся надпись повидимому на норвежском языке. Из полустершихся букв действительно при некоторой игре воображения можно было сложить два прочитанных Муханчиком таинственных слова. «Клюква» Муханчику померещилась. Ему пришлось скоро разочароваться: подошедшие спутники, зная норвежский язык,

определили, что банка повидимому принадлежала экспедиции Джексона, занимавшегося тщательным исследованием архипелага. Более трех десятков лет назад на самом этом месте отдыхала одна из джексоновских разведывательных партий, и следы ее стоянки сохранились в полной неприкосновенности...

— Ах, Муханчик, Муханчик, — сказали мы добродушно смеявшемуся вместе с нами Муханчику. — А еще корреспондент...

Нагруженные добычей геологов, имевшей весьма солидный вес, возбужденные хорошей прогулкой, мы бодро отправились в обратный путь. Как водится в полярных странах, льды приготовили нам новый сюрприз. Пока мы бродили в «Долине Молчания», подошедшие из пролива льды загородили дорогу. Шлюпка оказалась в ледяном мешке. Рискую попасть под обвал, мы попробовали пройти под самую стеною слезившегося ледника, но льды нажимали теснее, и нам пришлось вытаскивать на лед тяжелую шлюпку. Пришлось еще раз вспомнить описания тягостей полярных путешествий, когда, взявшись за борта шлюпки, проваливаясь в подтаявшем снегу, рискуя выкупаться в открывшихся трещинах, мы потащили ее через лед по ропакам и торосам. Тащить, к нашему счастью, было недалеко, но мы уже чувствовали себя героями Арктики. Вытирая катившийся по лицу пот, садясь в шлюпку за весла, кто-то сказал:

— Теперь будем знать, что такое Арктика...

— Ну, еще мало знаем...

— Довольно и этого...

Все изменилось, когда мы возвращались на ледокол. Розовый отсвет лежал на снегах. Темнее — с жилками прозолоти — стало море. Высокие перистые, цвета расплавленного золота, висели облака. Большим огненным шаром играло солнце.

На обратном пути мы увидели тот же айсберг. Он успел перевернуться, и над поверхностью возвышалась его иссосанная морскою водою, бывшая подводною, часть. Теперь айсберг был похож на огромный башмак. С его ледяных выступов попрежнему серебряными колокольчиками звенела, струйками сбегая, вода.

На берегу

Четвертый день «Седова» стоит в бухте Тихой. Все это время к берегу отходят нагруженные всяческим добром лодки и возвращаются порожнем. Почти круглые сутки на палубе грохочут ледбки, извлека я трюмов последние грузы. В работе принимает участие весь экипаж «Седова». Особенно хлопочет Юрий Константинович, старший помощник. Этот необычайно деятельный человек успевает всюду, и там, где слышится его голос, работа кипит.

День и ночь стучат на берегу топоры и слышатся человеческие голоса, чуждо гаснувшие в тишине бухты. Видно, как растет новый домик. Среди керосиновых бочек греются на солнышке собаки. Коровы бродят понуро. Им нелегко досталось морское путешествие, а тощий полярный зеленеющий между камнями мох вряд ли пришелся по вкусу.

В маленькой лодочке-пашке, мы с'ехали на берег, чтобы хорошенько осмотреть на прощанье зимовку. Жилой дом станции, построенный в прошлом году, стоит почти на самом берегу бухты. По виду это обыкновенный деревянный дом барачного типа, с бревенчатыми стенами и окнами на Рубини. Внутри несколько комнат, отделенных дощатыми перегородками, кухня, столовая и кладовые. Каждому — особая комната. Обстоятельство это имеет большое значение в условиях полугодовой ночи, когда люди надоедают друг дружке до невыносимости и появляется необходимость в уединении. (О житье-бытье полярных зимовок можно рассказать многое, это — особая и богатая тема). Дом, построенный наспех, был достаточно теплым. «Мерзли, пока не было снегу, — рассказывали зимовщики, — а завалило сугробом, стало тепло, как в бане, градусов до двадцати нагоняли, можно было не покрываясь спать...» Кроме жилого дома, станция имеет отдельную баню (ту самую, в которую забрался зимою медведь) и помещения для складов. Бочки с горючим в видах предосторожности лежат под открытым небом отдельно.

Сменившиеся зимовщики поспешили перебраться на корабль, и опустевший дом имел вид квартиры, из которой только что выехали жильцы, а новые

не вселились. В опустелых комнатах остались следы пустынноческой жизни зимовщиков. На дощатых стенах висели винтовки. На столе лежал альбом с фотографиями, изображавшими скучные события зимней жизни. Над одной из кроватей были написаны шуточные стихи. Висели крымские виды, с луною и кипарисами.

Я надеялся найти на берегу следы экспедиции Седова, зимовавшей возле места нынешней станции. Я спустился с крыльца и пошел вдоль берега бухты. Вокруг отчетливо видны дела человеческих рук. Стекавший с пригорка ручей был отведен в сторону, по железному лотку бежала прозрачная ключевая вода и фонтаном падала почти у самого крыльца дома. Собаки, ласкаясь и виляя хвостами, окружили меня. Я прошел мимо метеорологических будок и по большому круглым камням, сплошь покрывавшим потрескавшуюся мертвую землю, поднялся на ровный взгорок. Здесь высился деревянный крест, обозначающий астрономический пункт Седова. Другой низенький крестик стоял над могилою Зандера, механика «Фоки», скончавшегося от цынки в зимовку 1913—1914 года. Это все, что осталось от седовской экспедиции, зимовавшей в бухте Тихой. Крест и могильный холмик, сложенный из камней руками участников седовской полярной экспедиции, хорошо сохранились. На обоих крестах (я узнал руку Пинегина) были вырезаны надписи, обозначающие даты и имена. Жиденькие полярные маки желтели подле каменного холмика одинокой Зандеровой могилы.

С высокой площадки открывался прекрасный вид на бухту, наполнявшуюся редкими льдами. Внизу, у строившегося домика рации, мурашами копошились люди.

«Через пятнадцать-двадцать лет, — думал я, отдыхая на холодных, покрытых лишайниками камнях, — наверное здесь окажется маленький город, и у аэровокзала будут снижаться огромные дирижабли, делающие срочные трансарктические рейсы, тепло одетые люди будут пить кофе на крыше полярной гостиницы и любоваться на отразившийся в зеркальной глади, занавешенный сизой дымкой Рубини. Седову следовало

страшно погибнуть, чтобы на месте зимовки «Фоки» возникли эти желтеющие свежестью нового дерева постройки и слышались бодрые, полные уверенности голоса...»

Посидев на могиле механика Зандера (труп его, положенный в землю, лишенную гнилостных бактерий, наверное остался нетленным), я направился вниз к постройкам. Работа на станции была в полном разгаре. По белевшему струганым деревом крылечку я поднялся внутрь. Пахло сосновыми стружками, глиной, в углу, заваленном кирпичами, работал печник. Привычно перекидывая с руки на руку мокрые кирпичи, он заканчивал печку. В небольшой светлой

комнатке радист возился с установкой новых приборов.

Положив последний кирпич, высморкавшись мокрыми пальцами и вытерев о фартук по локоть запачканные глиною руки, любуясь на свою работу, он сказал с удовольствием:

— Печка — первый сорт будет!

— Ты, Колдун, спец, — весело отозвался молодой плотник, прилаживавший раму.

— Мое такое понятие, — сказал печник, свертывая над коленями цыгарку, — тут ученые будут открытия свои делать, а без хорошей печки им крышка, никаких открытий не сделают. Первая необходимость человеку — печка...

(Продолжение следует)

Зирка

(Из книги „Человек и жена“)

НИК. СМИРНОВ

I

Весенняя поездка на охоту—кочевая тревога и радость сборов, развезенная извозчицья пролетка, проплывающие мимо сады, еще облитые, по низам, стальной и тихой водой, а за садами — широкий красный закат, и на разливе заката мачты, острия и башни вокзала, осыпанные разноцветными флажками облаков. Потом напряженная суeta и толчея, торопливый бег нагруженных тележек, запах пожарских котлет из буфета и наконец напряженная дрожь паровоза, вагонная тряска, печаль отбегающих в темноту московских огней, первые сосны, первые перелески, первая остановка в теплом, талом поле...

Утром был захолустный город, мокрые тополя, низкое солнце — и снова шли, текли, туманились и синели апрельские леса. Над вагонами клонились шатровые, первобытно-мощные ели, под навесами елей, в кружевной тени, еще лежал, истаивая на глазах, сахарный снежок, а среди деревьев сквозили, кружась отбегая вдаль, охотничьи дорожки, на которых почти физически больно было смотреть: так страстно и радостно влекли они в свое отчее лесное лоно. А сошел я вместе с толпой рабочих-торфянников на заброшенном полустанке, на опушке бора, и сразу перенесся как бы в тысячелетия, в древнюю Русь: кругом стояла великая и невозмутимая тишина, не нарушаемая ни быстро глхохнувшим паровозным свистком, ни оживленным человеческим говором.

Эти первые впечатления оказались ошибочными. — они очень скоро смени-

лись иными, противоположными: здесь, как и в городе, все неустанно бурлило и кипело, ломалось и перестраивалось.

Меня встретил старый приятель-охотник, пожилой, заметно постаревший лесник Павлин, по прозвищу «Собачий староста», любопытный и интересный человек. Он, с усмешкой оглядывая меня, — мы не виделись десять лет, — задорно и весело приговаривал:

— Опять, стало быть, как в старину, на мошников¹⁾, на вальдшнепов? — Милое дело, разлюбезное дело...

И, обминая сено, оправляя лошадиную дугу, быстро рассказывал о себе, об охоте, о деревенской жизни.

— Не узнаешь деревню, Николаич: вверх ногами пошла жизнь, по-новому. — Любознательно и занятно. — И ничем ты меня например не удивишь теперь, — все знаю, все понимаю и вижу. Ученый стал, что твой профессор.

Тронув лошадь, он обернулся ко мне:

— В самом деле: машинно-тракторная станция, сплошная коллективизация, совхозы и колхозы — все это хоть и мудреные слова, а ничего особо мудреного в них нет: просто и ясно, как дважды два. Мы ведь и здесь, в лесу, читаем и московские газеты, и безбожный журнал. К свету, как говорится, тянемся, растем. Глаза протираем и мимо не пропускаем. Бо-ольшие ловкачи стали!

Павлин между прочим не был кореным мужиком: он в пору моей юности

¹⁾ Мошник — глухарь.

жил в городе, на окраине, в маленьком домике, заросшем черемухой и сиренью, понемногу портняжил, — сидит, бывало, на столе, по-турецки поджав ноги, тащит какие-нибудь модные узкие брюки, напевая вполголоса: «В островах охотник целый день гуляет...» — но больше всего возился с собаками, с голубями-турманами и часто целыми днями пропадавал на охоте, а иногда, бросив все, надолго исчезал из города, скитался по северу, по югу, по рекам и морям. «Очень беспокойный я, — говорил он о себе. — Чуть солнышко начнет припекать, чуть потянуть птицы, потянет и меня. Вольность люблю я в жизни, простор. А жить—все равно где... я никогда ни о чем не скучаю, мне везде весело...» Незадолго до войны он привез откуда-то с Черного моря жену, полуукраинку или полутатарку, совсем еще молодую, худенькую, черноглазую женщину, которая с восточной щеголеватостью украшала себя огромными аравийскими серьгами, медными кольцами, цветистыми платками, — и зажил с ней на редкость весело и счастливо. После революции он неожиданно сделался проработником: восседал, картинно обчесывая русые охотничьи усы, за столом, заваленным бумагами, но скоро ушел в лес, в караулку, — я в конце 20-го года был у него: он сидел у окна, залиvisto и дико трубил в рог, вслушиваясь в его певучие отголоски, а, отложив рог, улыбался: «Раздолье мне здесь — и лесное хозяйство налаживаю, и косых луплю вволю, и музыкой забавляюсь... слышал, труба на десятки верст разливается. — Артистично, а?»

И вот теперь, сидя в передке телеги, вкусно дымя самосадной махоркой, Павлин говорил:

— Пообжился я в лесу, поодичал, поустарел. Но все же думаю рано или поздно податься в город, а там, по старым следам, махнуть и подалее, поработать в знакомых местах, полюбопытствовать на строительство... вон, пишут, какие гига ны возводят теперь—Днепрострой, Магнитострой... знаю, читал, слышал. — Молодцы, ребята!

Он, завивая вожжи, бодрил и подзадоривал лошадей, которая, оступясь, стояла над крутой, размытой ямой.

— Смелей, смелей, не бойся, — понукал

он ее и вдруг загоготал, засвистал, с силой выкрикнул:

— В кратчайший срок догнать и перегнать капиталистические страны!

Миновав опушку бора, мы выехали в поля, на широкую, почти обсохшую дорогу, и по сторонам потянулись прошлогодние жнивья, свежие, еще робкие и слабые озими, в густой синеве которых было что-то девичье, женственное, а вдали засеребрились болота и озера, и затемнели деревни, их соломенные избы, опять напомнившие старую, теперь уж навсегда отходящую, левитановски-нестеровскую Русь.

Поле тянулось почти бесконечно, ветер и солнце убаюкивали, клонили в сон, издали, из-за, осиновых перелесков, опять надвигался бор, а в стороне за сверкала река, по берегу которой задорно катился, мелькал, развеивая лисий хвост дыма, маленький, как бы игрушечно-заводной поезд.

— Видал? — усмехнулся Павлин. — Железную дорогу провели, торф третий год добывают, электрическую станцию закладывают. Вот тебе и лучинушка. Догорела, родимая. — Да здравствует лампочка Ильича!

Там, в стороне, со всех сторон окружая реку, тянулись на десятки верст знаменитые Новские болота, которые, помню, почти пугали своей первобытной глушью: в их заповедных, недоступных когда-то глубинах во множестве выводились утки, зловеще напоминая о мифическом лешем, гудели выпы, могильно мутнели «чарусы», а зимой, по снегам, бродили кочевые волчьи стаи и сторожка проносились ветвисторogie, хищные и легкие лоси.

— Теперь в Новских болотах весело, — говорил Павлин, — целый день пилят, стучат, хлопчут, а вечером поют, пляшут, — тут целая косматая дивизия, — торфушки, рязанки, девки — лучше не надо — выйдут в кружок, подбоченятся, поведут плечами — и «пропадай моя телега»...

Дорога, скатываясь под изволок, потянулись к лесу, лес, прозрачный, влажный березник, был переполнен дроздами, их немолчным, сухим и раскатистым треском: хорошо было, вслушиваясь в этот звучный, солнечный треск, переезжать через ручьи и потоки, еще буйно

игравшие в лесных долинах, хорошо — смотреть на шоколадный лом прошлогодних листьев, на первые, синие и фиолетовые, цветы, на янтарные вербные сережки, на пушистое и легкое серебро ив. В лесу, во всей его апрельской прелести, была затаенная радость близкого цвета, первых гроз и дождей, была неуловимая охотничья тревога: с болот, с придорожных луж то и дело снимались чирковые утки, а по сторонам, на опушках, свистывались, скликались рябчики. А когда мы вехали в мелоча, в осиновые чащи, у меня, перехватывая дыхание, вдруг крепко застучало сердце: совсем близко от лошади шумно вырвался, ослепив смуглым лунным золотом, огромный, носатый, бархатно-распушенный вальдшнеп.

— Ах ты, нечистая сила, — привскочил Павлин, сбрасывая от волнения шапку и блестя помолодевшими глазами.

В лесу постепенно свежело и звучело: треск дроздов мешался с флейтами и колокольчиками несметных певчих птиц, радостно встречающих красоту вечера, заката, молодого месяца, в болотах, превращая их в какой-то однозвучный оркестрион, начали изнеможенно занывать лягушки, а прямо перед нами, над просекой, низко, холодно и спокойно розовело плененное лошадиной дугой солнце. За просекой, в упор облитая солнцем, стояла, дымилась ветхая избушка.

— Вот и мои хоромы, — сказал Павлин и по-разбойничьи свистнул, зычно запорскал, подражая старинным псарям:

— Ох-ох-ох, собаченьки, Зажига, Шумилушка, вались сюда!

Там, где-то около караулки, разнесся разливный, захлебывающийся лай, далеко, чисто и звонко откликнувшийся в лесу, и прямо на нас понеслась, обрызгиваясь водой и грязью, пара летучих, картинно-одномастных, багряно-вишневых «костромичей»¹⁾.

— Утешительные собачки, смычок что надо, — улыбнулся Павлин, соскакивая к ним, сильно и ласково трепля их добрые, смеющиеся морды.

Из караулки вышла — по-восточному, с поклоном, — жена Павлина, тоже

заметно постаревшая, но попрежнему миловидная и пугливая, попрежнему украшенная тонкими и тяжкими серьгами, медными и тусклыми браслетами.

Она захопотала с самоваром, зазвенела стаканами. Павлин, отпрягая лошадей, громко переговаривался с ней через окно о каких-то хозяйственных мелочах, а я, оглаживая крутившуюся около меня задорную остроушку¹⁾, сидел на лавке, смотрел на вороха беличьих и заячьих шкур, сплошь опущивших стену караулки и, чувствуя сладкую усталость, хмель весны, воздуха, ветра, крепко опалившего мое лицо, думал только об одном — о радостях завтрашнего охотничьего утра...

II

Утром, еще задолго до рассвета, я был в лесу, в его пахучем мраке, шел, часто проваливаясь выше колен, каким-то глухим брусничным болотом, какими-то почти непролазными взгорьями и, не замечая ничего, хищно ждал рождения глухариной песни, с первобытной невозмутимостью звучащей из вековой, изначальной глубины. Лес стал светлеть, мягко и тонко краснеть от зари... я уходил все дальше и дальше — и, наконец поймав, уловив настороженным слухом дальней иступленное пощелкивание, томительное и страстное скрежетание, порывисто и быстро, сообразуясь лишь с зовами песни, бросился вперед... Я подходил мучительно и долго, я, все явственней и ближе различая песенный перелив, уже искал, ничего не соображая и не понимая, древнюю косматую силу, выщелкивающую где-то совсем близко, в вершине таинственной, обвороченной сосны, — и вдруг оглох от гула собственного сердца: высоко над мной, отливая бирюзой и перламутром, темнела, проторно распластавшись по древесному отрогу, огромная, пугающая, бородастая птица.

Птица после выстрела закачалась, хлопала перебитыми крыльями и, помедлив, сорвалась вниз, гулко, всей своей мягкой и теплой тяжестью хлопнулась о галый, обмокший мох! Помню, вижу, как, подняв глухаря, перебирая

¹⁾ Одна из пород гончих.

¹⁾ Собака-лайка.

вздрагивающей рукой обмятый плюш его перьев, я не в силах был сдержать своего восторга и отчаянно-радостно закричал на весь лес, что было конечно довольно глупо, так как глухари поблизости еще пели, и я на это утро испортил дальнейшую охоту. Однако об этом как-то не думалось: я с блаженством ощущал на плечах птичью тяжесть, а над лесом, над вершинами сосен, поднималось, малиново обугливая их, теплое солнце, восхитительно сияло синее небо, и сдержанно бормотали, неторопливо шипели и чужфыкали вокруг косачи.

Потом я шел берегом топкого ручья, вяз в кофейной грязи, а выбравшись на окраину бора, зашагал великолепной, уже почти высохшей тропой, вспугивая, как вчера, с луж и болот чирковых уток, и часто присаживался, отдыхал — как бы дремал, не закрывая глаз, — и все же мог насмотреться, налюбоваться на мокрую белизну березников в синем небе, на какое-нибудь особенно глухое озеро, прозрачно отражающее девичью красоту стыдливо-цветущей ольхи, и красоту стыдливо-цветущей ольхи, и лом, яблочным холодком вод, чайным ароматом земли.

За ночь все заметно изменилось: круто, почти по-летнему, степлело, появились, замелькали жасминовые бабочки, по низам, по лощинам, там, где еще лежал обтекавший снежок, клубился седой пар, а березник слабо затуманился, обмяк, тронулся нежной пуховой желтизной. Я, сорвав березовую ветку, увидел лопнувшую почку, из которой рвалась наружу клейкая, розовая зелень, услышал бивший в древесной глубине приятный и тонкий запах — что-то в роде ванили или виноградного вина. — и сразу, с необычайной остротой почувствовал великую древность утреннего весеннего леса, земной теплоты, вечной молодости жизни...

Из-за леса, серебра небесную синь, наползали роскошно-причудливые облака, одноцветно блестящие сверху и цветисто, как рысий мех, играющие внизу, и в лесу шли, ложились тени, чувствовалась близость короткого и шумного дождя, а кругом все раскатистее, как бы состязаясь в красоте и певучести, заливались птицы.

Тропа вывела меня в низину, на осинные прѣсеки, к караулке, и видеть ее убегающий в небо дымок, чувствовать нетомящую усталость и дикарскую жажду сна было в это утро особенно весело и уютно.

III

Я проснулся далеко за-полдень: меня разбудил тревоживший еще во сне чей-то незнакомый, очень чистый и звонкий, юный девичий голос. Повернувшись на своем «гольце», я глянул вниз и почти растерялся, оторопел: на скамейке, у окна, сидела, смеялась, что-то весело рассказывала комсомолка в юнштурмовке, стянутой по талии широким кожаным ремнем, в выгоревшем красном платочке, с небрежным и ловким изяществом наброшенном на ее короткие, смоляные, чуть синеющие, чуть курчавые волосы.

В ней не было ничего слишком необычного или, как говорят, «потрясающего»: слегка удлинненное, очень смуглое, почти вишневого оттенка лицо, изломанные брови, чуть грубоватые, но тоже очень смуглые, еще почти отроческие, до локтей раскрытые руки, щеголевато-узкие, сношенные сапожки на ногах, — но во всей ее фигуре, в каждом ее движении, было столько женственности, смешанной с какой-то энергической твердостью, столько подтянутой ловкости и легкости, что я долго — она не видела меня — не мог отвести от нее глаз. Смотря то на нее, то на Павлина и его жену, я только теперь вспомнил, что, будучи здесь, в караулке, десять лет назад, я видел семилетнего подростка-девочку, похожую на дикарку, на индианку или египтянку, тогда сплошь курчавую и забавно пугливую, с беличьей изворотливостью убегавшую от чужих на деревья, в лес, в чащи. Называли ее чуть странно и музыкально:

— Зирка.

Это конечно была она, Зирка: те же огромные черно-золотые глаза сияли под длинными ресницами, то же играющее имя произносил внимательно и ласково слушающий ее Павлин.

Павлин, заметив, что я проснулся, гордо показал на девушку:

— Видал, какая у меня смена выросла. — Настоящая молодая гвардия. В сельскохозяйственном техникуме обуча-

лась, а теперь агроном, общественная работница, активистка. — Здорово?

Девушка рассмеялась; поднялась, встряхнула волосами, куда-то вышла. «Лошадь перепрячь», — сказала она, уходя.

Я спустился вниз, умылся холодной, ягоднопахучей водой, посмотрел в раскрытое окно, и опять внутренне ахнул: над лесом, как и утром, круглились облака, уже насквозь прозрачные, почти сливающиеся с небом, лесные долины, обмокшие от недавнего дождя, сохли, жарко дымились, — кругом сплошь клубился душистый пар, — а ближняя береза вся, снизу доверху, закурчалась, вззеленела, заструилась мелкой зернистой листвой.

Под окном бесновалась собака-остроушка: задорно, с визгом, крутилась по земле, осыпая свою золотистую шубку алмазными каплями, играючи носилась, брехала вокруг кормной яблочной лошади, запряженной в раскатанный, погрязший тарантас.

— Совхозная лошадка... дочь, Зирка, в село по делам катала, — делов у нее и не перечесть, как муравьев в куче, — отмахнулся Павлин.

Зирка, оправляя лошадиную дугу, любовно оглаживая влажную, атласную лошадиную шею, что-то тихонько напевала, потом, близко поддув остроушку, неожиданно, с звонким детским криком, схватила, смяла ее и, подняв на руках, вдруг, пригнувшись к земле, далеко отбросила собаку. Собака, сладко визжа, перевернулась, вскочила, махнула на руки девушки, и та, быстро отдернув их, — собака громко шлепнулась в грязь, — раскатисто рассмеялась, опять встряхнув головой, уронив на плечо свой красный платочек.

Войдя в караулку, она швырнула на стол березовую ветку, с безразличным любопытством оглянула меня, поздоровалась, по-комсомольски приветливо пожала руку и опять села, опять стала рассказывать отцу что-то мало понятное для меня, что-то касающееся ее жизни и работы.

— Ты вот, — обратился ко мне лесник, — интересовался всякой колхозной историей, — так она, Зирка, может говорить тебе хоть три короба, только

заведи речь, ее и за уши не оттащишь.

— Что ж, — серьезно сказала Зирка, — приходите к нам, сами все увидите. Только, если придете, мы и вас впряжем в работу. У нас есть, например, стенгазета, — с улыбкой добавила она.

— Я очень занят, — глупо ответил я. Зирка громко, с младенческой веселостью расхохоталась, обкусывая чуть припухлые губы и перестукивая каблучками узких, маленьких сапог.

— Это действительно мило: у человека целый незаполненный день, — ведь охотятся только утром и вечером, — и пожалуйте — он еще занят... эх, вы... литераторы...

Я тоже рассмеялся, любясь ее свежестью, молодой легкостью, а она, повернувшись к отцу, растирая в ладонях березовую ветку, снова продолжала говорить о своем, часто повторяя почти знакомые для меня слова, в роде жнейки, сенокосилки и сепаратора.

Солнце понемногу клонилось, опускалось к лесу, лес, еще больше теплея к вечеру, неслышно зацветал, распускаясь. а все вокруг, и земля и небо, было мгlisto и тихо-тихо, и в этой тишине, никак не нарушая ее, пели и пели, сливая свой голоса, крошечные зорьки.

— Вальдшнепы сегодня завалят, — беспокойно сказал Павлин, рассматривая свое старое, но крепкое ружье. — Я хоть и жалею жечь по ним порох, а, пожалуй, не вытерплю, постояю где-нибудь около сторожки.

Зирка посмотрела на меня.

— А вам я советую стоять на наших сечах.

Заметив мое недоумение, она, улыбаясь, продолжала:

— Я — человек лесной и знаю почти все, что касается охоты и уверяю вас, вальдшнепы на этих сечах тянут очень хорошо: там мелоча, болота, топь. Я даже могу вас захватить туда с собой. Это по дороге.

Жена лесника вскипятила самовар, принесла молока. я, достав из мешка конфеты, разложил их на столе, придвинул к Зирке — она, хрустя конфетами, кивала головой, посмеивалась: «от этого никогда не отказываюсь» — и все чаще смотрел на ее смуглое лицо, на ее маленькие, грубоватые руки, пахнувшие, даже издали, теплом березовой зелени.

После чая Зирка быстро собралась, перевязала платок, подтянула ремень. попробовала свободу рук, с гимнастической плавностью размахнув ими, а потом быстро вскочила на козлы тарантаса и привычно взялась за бахромчатые лиловые вожжи, слегка охлестывая ими застоявшуюся лошадь, которая, переступая на месте, косилась на нее черносливным глазом и, грызя удила, тихо и призывно ржала.

— Поехали? — вопросительно посмотрела она в окно.

Я, на ходу опоясываясь патронташем и неловко волоча сползавшее с плеча ружье, догнал тронувшуюся лошадь и ввалился в тарантас.

Зирка, натянув вожжи, оглянулась, засмеялась.

— Сразу видно, товарищ, что вы плохой физкультурник.

И, прищелкнув языком, гордо сказала:

— А я, когда училась в институте, была первая по бегу. Я даже в футбол с ребятами играю и, кроме того, чемпион по городкам. Чувствуете?

Я чувствовал не только эту ее физкультурную ловкость, но и то, что она, Зирка, с первой встречи вошла в мою жизнь, и, как всегда в таких случаях, стал почти косноязычным, бормоча что-то несуразное.

— Вы какой-то сонный, я совсем не таким представляла вас, я о вас давно слышала от отца, — поморщилась Зирка. — Вот, если придете к нам, мы вас расшевелим. У нас даже спать почти не полагается — некогда.

— Работы много? — спросил я.

Зирка звучно свистнула.

— А вы как думаете: агроработа в поле, по специальности, работа в ячейке, в кружке, — очень много. Кроме того, мы, совхозники, ведем на буксире окрестные колхозы.

Я заговорил о деревне. Она оживилась, обернулась на меня.

— У нас в деревне все как на бегу. Немало конечно трудностей и тяжести, но больше всего новизны, успехов, дела. А какие у нас есть здесь люди, если бы вы видели? Вот например один мой приятель: он, два года дерясь — на словах конечно, — за колхозы, доказал, вместе с несколькими друзьями, нагляд-

ным примером все их преимущества и выгоды. Замечательный парень!

Мы пробирались березовыми просеками, осторожно и тихо ехали зыбким разлужьем, в предвечерней, зеленеющей мгле, среди таких крепких запахов, — оттаявшей земли, талым шоколадом налипающей на колеса тарантаса, и молодых листьев, слабо стегающих нас по лицу, — что от них, от этих преизбыточных запахов, было почти душно.

Вечер опускался туманный, дремотный, — солнце чуть тускнело в облаках, застилающих небо, — и над лесом, далеко на востоке, похаживали сумрачные тучки, опять обещающие короткий жаркий ливень, за которым, утром, будет щедрость и рокошь света, тепла, аромата. Птицы, чувствуя дождь, сладко ленились, пели с какой-то затаенной нежностью, только дрозды, особенно рябинники, ошалело носясь над лесом, по-прежнему переполняли его рассыпчатым, хрустальным треском. Тише, глуше и грустнее было в бору, — лишь дятел-желна, на все стороны раскланиваясь пунцовой головкой, ловко бежал по основному стволу, сочно остукивая его, — но зато какой великий и звучный простор открылся перед нами, когда мы, миновав бор, выехали на широкую, обкатанную дорогу, вокруг которой необозримо бежали, смутно клубились мелоча, сплошь звеневшие ручьями и потоками!

Зирка, остановив лошадь, прислушалась.

— Гуси летят, — негромко сказала она.

Я взглянул на Зирку, — она, запрокинув голову и опустив пушистые ресницы, всматривалась в небо, с улыбкой вдыхала отовсюду наплывавший березовый запах, взглянул на лошадь, которая, настороженно подняв уши, опять позванивала удилами и чуть смеялась, ржала, — и мгновенно сорвался с тарантаса, хватаясь за ружье: огромный косяк гусей низко тянул над березником, с тяжелой медлительностью приближаясь к нам.

Зирка, мгновенно соскользнув с козел, бросилась ко мне и, сияя глазами, возбужденно тронув меня за руку, горячо шепнула:

— Спрячьтесь, присядьте, стреляйте...

Стрелять было еще далеко: обманчи-

во близкие гуси свернули в сторону и, все так же кагакая и мешая свои ряды, забрали выше, прошли над бором, а я, вслушиваясь в уплывавшее кагаканье, не отрывал глаз от Зирки, от ее красного платочка, от ее зеленой курточки, обтянутой ремнем, от ее рук, на которых чуть адел след туго завитых вожжей... Она, возбужденная, горевшая крепким румянцем, опять погнала лошадь, — лошадь подбористо и скоро понеслась по обкатанной дороге, и над нами закачались березы, а где-то невдалеке мирно, округло-окающим говорком, выговаривала, куковала кукушка.

— Кукушка кукует только третий день, — сказала Зирка. — Я слежу, запоминаю и кукушку, и соловья, и коростеля: лесная привычка.

Осадив лошадь, — дорога спустилась в размытые низины, — Зирка, вдоуг стала расспрашивать о Москве, о литературе и, обернувшись ко мне, слушала с любопытством и интересом.

— Вы обязательно приходите к нам. Там поговорим, побеседуем по-настоящему. Ведь вы — человек из другого мира, и все, что вы рассказываете, мы, пожалуй, ни от кого больше не услышим. Я рада, что встретила вас.

Это было сказано просто и прямодушно, но и это меня подкупило: я уже всему, каждому слову Зирки придавал особый смысл, т.-е., точнее говоря, переносил на нее свои переживания, и с чрезмерной горячностью ответил:

— Я бы даже сейчас, после тяги, поехал с вами.

— Ну зачем же сейчас, — удивленно повела она бровями, — ведь вы еще с неделю пробудете здесь?

— Возможно и больше, — с сокрушением (и обиженно) сказал я.

Оглянувшись кругом, посмотрев на часы, — было время солнечного захода, — я попросил остановить лошадь и, выбравшись из тарантаса, стал прощаться с Зиркой. Она, протягивая мне руку, кивнула куда-то вдаль, сказала:

— Идите около ручья, по пригорку, там выберите место, здесь я как-раз слышала много вальдшнепов.

Не выпуская руки, она о чем-то задумалась.

— А знаете что? — Вы не возражаете, если я постою с вами, посмотрю на вашу стрельбу, — лукаво заиграла она глазами. — Я ведь сегодня в полусуточной командировке, устраивала всякие агрономические дела. А до совхоза здесь всего две версты. Идет?

Я, опять удивив ее, мог сказать только одно: — Зирка! — и мы, свернув в сторону, поехали вдоль ручья и скоро остановились. Зирка привязала лошадь, бросила ей сена и, подтянув сапожки, набросив на плечи серебристый дождевик, быстро зашагала по скользкой тропинке, уводившей в густую и плотную, как невод, осиновую заросль. Она ловко перескакивала через пни и горки хвороста, шутила, вскрикивала, подражая кукушке, а я, следя за мелькающим впереди красным платочком, волнуясь и изнемогая от ожидания тяги, опять чувствовал великолепную, почти звериную настороженность и подбористость всех душевных и физических сил...

IV

Мы остановились на поляне, среди редких берез, около просеки, красиво убегавшей куда-то вдаль, в туман, в распускающуюся зелень и, негромко переговариваясь, ждали вальдшнепов: она — с возбужденным любопытством, я — с непередаваемым охотничьим восторгом. Я то оглядывался назад, — Зирка, присев на пенек, шуршала дождевиком, крошила, перекусывала на зубах молодой лист, вопросительно смотрела на меня темными прищуренными глазами, — то переводил взгляд на ближнюю березовую вершину или на привычно лежавшее в моих руках тяжелое, зеркальное, масляное ружье.

Лес, попрежнему преизбыточно душистый и теплый, темнел, отуманенно дремал, небо, как бы опускаясь и оползая, огромждалось тучами, а вдаль, в поле, негромко, чисто и нежно печалились девичьи голоса: весенний вечер был тих и звонок, радостен и грустен.

«Сейчас, скоро» — думал я, крепко обжимая ружье, — и неожиданно вздрогнул: Зирка бросила в меня чем-то слабым, легким, вероятно листьями или веткой, — и я опять оглянулся назад: она, раскачиваясь на пенке, с детской веселостью показывала на тропинку и, креп-

ко закусив губы, беззвучно смеялась, хохотала. Там, куда указывала она, на тропинке, нелепо ковылял, «кортал», шевеля вскинутыми ушами, линяющий, ватно-серый, пестрый и грязный, как бы обмазанный замазкой заяц. Я коротко свистнул, цыкнул: заяц мгновенно приостановился и, оглядываясь вокруг, приподнялся на задних лапках, забавно скрестив передние, забавно распутив огромные вздрагивающие уши. Зирка, сорвавшись с места, захлопала в ладоши, свободно, раскатисто и счастливо рассмеялась: заяц мгновенно метнулся в сторону, упал в лужу, ошалело подскокил, акробатически перевернулся и, обмокший, испуганный, с хрустом пропал в лесу.

— Теперь сидите спокойно, — сказал я ей, — сейчас потянут вальдшнепы, — и она, еще больше раздурманенная, опять присела, затихла и, чуть помахивая цветком медуницы, негромко ответила сквозь сдержанный смех:

— Уж очень он занятный.

Потом она, еще больше сглушая голос, прошептала:

— Легит, держите! — но я, раньше ее уловив в звоне ручьев и птиц дальний, острый и тонкий свист, переливающийся в звучное, как бы влажное хорканье, уже не слышал и не видел ничего, — ни Зирки, ни берез, ни ручьев: я видел и слышал только одно, — быстро «наплывающий» хоркающий звук, и спокойно, прямо и мерно налетающего вальдшнепа. Он, приближаясь, чуть побочил, — мне стало видно его картинный, стрелчатый клюв, каштановую седину подкрыльев, зернисто-крупное брюшко, как бы обсыпанное скорлупой прецких орехов, — и я, теперь охватывая глазом, перемещенным на конец ружейных стволов, только эти подкрылья и брюшко, выстрелил...

— Есть, есть, ранен, сейчас упадет, — закричала Зирка, опять срываясь с места и отбегая вперед. — Держите, не упускайте, улетит, — волновалась она, бешено колотя сжатыми кулачками по приподнятому колену.

Вальдшнеп, оглушенный выстрелом, справился, — я сначала не видел его за дымом, — и, неловко трепля крылом, стал забирать вверх, но тут же, вместе со вторым ударом, перевернулся и, крутясь, наконец упал в кусты.

Зирка, бросившись в кусты, крикнула: «Здесь,шла», — и я, быстро вложив в ружье новые патроны, побежал за ней: она, сидя на мокрой земле, встряхивала открытой, растрепанной головой — платок, оброненный на бегу, краснел под ближней березой. — и счастливо любовалась вальдшнепом, золотым и теплым, поглаживая его крылья и перебирая разноцветный хвост, перехваченный черно-блестящей шелковой каемкой.

Она, взглядывая на меня сияющими глазами, хотела что-то сказать, но я, внезапно оглохнув от близкого переливно-двойного, сердитого свиста, опять забыл и ее, и весь мир: два вальдшнепа, кружась и ныряя, с невообразимой быстротой замелькали на облачном небе... Я торопливо выстрелил, и задняя птица, убитая наповал, наотлет рухнула вниз, совсем недалеко от меня.

— Что, что такое, в чем дело? — заговорила, блуждая глазами, сразу вскочившая с земли Зирка.

Я, подняв вальдшнепа, бросил его Зирке. — она на лету ухватила его. — и, стараясь казаться спокойным, сказал:

— Вот вам и второй вальдшнеп.

Зирка, ахнув, как бы растерялась, потом, неожиданно, наотмашь сбила фуражку с моей головы и, потряхивая птицами, вскинула брови:

— Молодец! Вот это мне нравится!

Вальдшнепы летели со всех сторон: над мелочами непрерывно журчало, крупными стеклянными каплями падало спокойное хорканье, но как ни волновался я, веселя Зирку своей горячностью, как ни перебегал с места на место, стрелять больше не пришлось.

— Значит, кончал базар, — усмехнулась Зирка, волновавшаяся не меньше меня.

В лесу стемнело, вечер стал совсем мутным, грифельным, аспидным, но в глубине этой тишины попрежнему все немолчно гудело и звучало: в болотах, в топях занывали, с дрожью и шорохом орали лягушки, в вышине, в тучах, летели, осторожно курлыкали журавли, а в бору то истерически плакал, то раскатисто хохотал, захлебывался, бессонный филин.

Мы, идя обратно, к лошади, уже не разбирали дороги — вязли в грязи, в

ручьях, слабо вскрикивали от хлёста лезущих в лицо прутьев, наугад сбегали с пригорков, попадая в липкий, раскатывающийся снежок, и, поминутно теряя друг друга, весело переключались, переговаривались.

— А вы не собьетесь в сторону?

— Нет, нет, не бойтесь,— успокаивала Зирка,— я знаю здесь каждую тропинку.

Она, расхлестывая ветви и чмокая водой, опять слабо вскрикнула, оступилась, по-мужицки сказала: «а, пропади ты пропадом»—и невидимо обернулась ко мне:

— А все-таки, замечательно веселый сегодня вечер.

Впереди близко, призывно и глухо заржала лошадь: мне было слышно, как Зирка, добежав до нее, стала охлопывать ее, что-то приговаривая и напевая—задорно и весело.

— Где вы там? Завязали? Погибаете?—прокричала она оттуда.

Я действительно попал в топь, зачерпнув в сапоги воды—вода была впрочем теплая и мягкая, как бы подогретая,—и теперь лез через кусты с треском и шумом, с каким-то крылатым хлопанием.

— Вы тащитесь, как медведь,—расхохоталась Зирка, и, идя навстречу, предупредила:

— Тут ручей, поток, пробирайтесь по камням, давайте руку.

Я схватился за ее руку, чуть выше кисти.—рука ее, горячая внутри, водянисто холодила сверху.—и, перемахнув через ручей, оказался рядом с Зиркой, увидел, совсем близко от своих, ее темные глаза, озаряемые и прикрываемые огоньком моей папиросы...

— Ну, поехали. До поворота, до дороги я вас доведу, а там,—Зирка задорно присвистнула,—поезжайте на своих на двоих. Охотник ведь не может заплутаться. Правильно?

— Приблизительно так,—ответил я, усаживаясь в тарантас, и мы поехали, вернее поплыли, постоянно мотаясь и вздрагивая, со всех сторон окруженные мягкой, гудевшей и звеневшей темной.

На повороте я сошел с тарантаса, протиснулся с Зиркой, долго смотрел ей вслед,—и конечно ничего не видел...

слышал лишь скрип и шум колес и сочное отфыркивание лошади. Потом я зашагал по дороге—увы, в противоположную сторону от Зирки!—и неожиданно остановился, услышал ее голос:

— Держите... вальдшнеп... на вас,—протяжно, с охотничьим азартом кричала она.

Вальдшнеп налетел совсем близко.—его немолчное хорканье и захлебывающийся свист как бы осязательно касались моих ушей.—и, опрокинутый выстрелом, широко и просторно расклубившим на миг темноту своим огненным винтом, шумно шархнул в воду.

— Зирка, готов и этот!—загоготал я.

— Здорово,—слабо донеслось из темноты.—До свидания. Скоро увидимся.

Я зашагал к себе, в караулку,—шел долго, то сбиваясь с дороги, то находя ее, слушал тихий, дремотный лепет леса, завывания филина, дышал смолой, сыростью, а когда вышел к караулке, надо мной, над землей, над лесом заплескал дождь, все вокруг как-то одноцветно смешалось, и я оказался как бы вне всяких времен, в каком-то первозданном царстве шума и запахов, крепчавших с каждой минутой, с каждой крупинкой все растущего дождя.

В сенях ко мне бросилась гончая выжловка, махнула на грудь, стала повизгивать, ластиться, горячо дышать прямо в лицо, а в избе, пропахнувшей звериными шкурами и ржаным хлебом, я сразу же различил все тот же лесной запах: на окне еще валялась, сохла березовая ветка, обкрошенная Зиркой, и я, сидя у окна, долго не вздувая лампочки, с блаженной радостью еще раз переживал весь этот день и вечер. Великолепная охотничья удача,—ведь такая редкость—взять раз за разом трех вальдшнепов!—и тот возврат юности, ребяческих волнений, который я чувствовал, думая о Зирке, до краев наполняли чашу моей жизни в эту глухую, дремучую, дождливую и прекрасную весеннюю ночь...

V

Слова Зирки, непрестанно звучавшие в моем сознании: «До свидания, скоро

увидимся» — долго были для меня надеждой опять встретить ее в караулке, услышать, проснувшись в полдень, ее звонкий голос и молодой смех. Однако прошла почти неделя, лес за окном цвел, пушился, затоплялся дождями и солнцем, печалился кукушками и рассыпался соловьями, но Зирки не было: она не приходила. И однажды, рано вернувшись с утренней охоты, я, чувствуя особенную бодрость и прилив сил, решил идти к ней и, закинув за плечи ружье, зашагал той же самой дорогой, по которой мы, казалось, давно-давно, ехали с Зиркой. Я искал на дороге следов тарантаса и не находил их, — в лесу за эту неделю все изменилось до неузнаваемости: дороги обсохли, обвляли, заглянцебели, ручьи и потоки уже глохли, смолкали, березы с майской густотой красовались в небе, и всюду пошли, закурчавились налитые свежестью травы. Дрозды трещали тише, заботливей, сдержанней, в березовых чащах заворковала-загрустила горлинка, над овражками, в тенистой зелени, стал чуть пробиваться сливочный черемуховый цвет, и, хотя далеко еще было до ландышей, в низах пахло чем-то утонченно-влажным, напоминающим их будущий запах.

В лесу, как и все эти дни, было то сыро, сплошь лилово, то, наоборот, весело, звучно, ослепляюще сухо: над лесом, перемененно, текли облака, теплое солнце, сияла светоносная синь.

Радостно было следить за этой смелой тени и света, и необычайно легко идти, размашисто и бодро шагать по обсохшей дороге, фиолетовой в чащах и золотистой, почти охрянной на опушках, на скалах, в открытых, все еще мокрых низинах.

В низинах, выведивших в поля, паслось стадо: коровы, с грохотом ломясь сквозь сучья, жадно и звучно общипывали молодую траву, а годовалый бычок, забирая в сторону, задорно скакал, бил задними ногами и, пьянея от тепла и раздолья, все ревел и ревел с какой-то зовущей, настойчивой страстностью. Подросток-подпасок, подгоняя его, кричал, смеялся и, забавляясь, раскатисто щёлкал витым, обсмоленным, вместо извивающимся кнутом.

А в поле был простор, мягкий ветер, сиреневые дали, растеплевшие озими,

рваный бархат распаханной земли. Гдето невдалеке прерывисто высвистывал, напоминая о городе, о Москве, паровоз, с звериным пыхтеньем катившийся по узкоколейке, а откуда-то снизу доносились какие-то чрезмерно громкие голоса: там, внизу, в лугах, шумела река Сунжа, здесь широкая и вольная, особенно теперь, когда еще не сошла полая вода. Я, пройдя перелеском, запорошенным подснежниками, нежными, как голубиный пух, вышел к реке и, обвеянный свежестью, надолго залюбовался безмерным разливом, потопленными лугами, быстро уносившимися лодками кружащимися чайками и, особенно, густой и развесистой березовой аллеей, — березы были огромные, старинные, столетние, — которая тянулась по берегу, уводя в усадьбу, в совхоз, в богатое и знатное некогда поместье Задубравье.

Я пошел по аллее, свернул на тропу, в поле, и сразу остановился, вслушиваясь в ровный, всхлипывающий, непривычный гул: впереди катился, полз трактор, тяжело и властно крутящий своими зубчатыми колесами, глубоко и мощно вспахивающий мягкую вешнюю землю, конской гривой бегущую за ним...

Кто-то в ветхой кожаной куртке и лимонных голицах прочно управлял трактором, заставляя его неугомонно кружиться полем, а двое людей, мужчина и женщина, внимательно и деловито следили за его просторными и широкими кругами.

Я, подойдя ближе, узнал Зирку, ее смоляные волосы, раздуваемые ветром... Зирка, увидев меня, оживилась, пошла навстречу, что-то сказав своему спутнику: тот, молодой и бритый, загорелый и сильный, в вышитой полотняной рубахе, коротко взглянул на меня и равнодушно продолжал заниматься своим делом. Зирка, поигрывая глазами, тряхнула мою руку, весело спросила:

— Много дичи настреляли?

И, обращаясь к своему спутнику, подводя меня к нему, пошутила:

— Вот это охотник: бьет почти каждого вальдшнепа... не то, что ты — мазила!

Она хлопнула его по плечу, — он только улыбнулся, подняв на нее василько-

вые глаза, — и, не снимая с его плеча своей руки, обернулась ко мне:

— Это наш участковый агроном, товарищ Красавский, или Красавка, как все мы называем его.

Зирка погладила его по шее, по плюшевому стриженному затылку и, смеясь своим звонким смехом, продолжала шутить:

— А ведь действительно, подходит к нему это имя — Красавка? Он такой мягкий, гладкий, как бурёнушка.

Наконец она занялась мной.

— Пойдемте в совхоз? Вероятно пробудете до вечера или даже до утра? Лучше до утра: вечером я относительно свободна — побеседуем, побродим в саду, — сад у нас большой, хороший. Идемте, я вас провожу до дороги...

Мы пошли тропой, потом аллеей, среди великолепно-огромных, дуплистых берез, напоминавших что-то смутно-далекое, романтическое... березы иных, пушкинских времен.

Это напоминание не было случайным, поэтически-бесформенным: оно опять-таки связывалось с Зиркой или, вернее, проистекало из нее, — на ней вместо юнгштурмовки было розовое платье, похожее на сарафан и маленькие, почти квадратные поршни, — и скромная простота этого наряда будила в сознании смеющийся лик «барышни-крестьянки».

Зирка вообще казалась мне теперь другой, новой: та, которую я встретил в первый раз, беззаботная лесная девушка, осталась в зацветающих березовых чащах, а та, что шла рядом со мной, кому-то или чему-то принадлежала и, внутренне, была отдалена от меня.

Мы молчали, Зирка спешила: «Мне, знаете, некогда» — и на повороте в усадьбу почти побежала обратно, на ходу приглаживая волосы и громко хлопая по дороге сбитыми поршнями. А я прошел на двор, в дом, нашел председателя совхоза и, беседуя с ним, долго ходил, осматривал то сверкающие машины, то хлопотливые птички, то конюшни, где в сыром и пряном полумраке беспокойно и тонко ржали сытые лошади, глубоко погружавшие в хрустящий, бисерный овес свои губы, влажные и мягкие, как очищенная слива.

Совхоз, существовавший около де-

сяти лет, был во многом образцовым: все вокруг было по-хозяйски чисто, радовало глаз своей добротной прочностью, непрестанно веяло бытовой новизной, свежестью. В комнатах, где еще встречались изредка «вольтеровские» кресла, шифоньерки и овальные картины в темных ореховых рамах, чуждо и грустно смотревшие из другого, позабытого мира, по городскому звонил, рассыпался... напоминая треск дроздов, телефон, играло и звучало радио: «Слушайте, слушайте, говорит Москва», и всюду краснели полотнища, обвинявшие портреты Ленина, Сталина, Ворошилова.

Председатель повел меня куда-то на антресоли, в маленькую комнатку для приезжающих, и я, распахнув окно, выходящее в поле, в березовую аллею, стал смотреть — искать Зирку, которую я чувствовал во всем, что окружало меня. В окно вилывал миндальный полевой воздух, холодок дождя, — дождик, сеющий сквозь солнце, золотился, со стуком колотил по дороге, — за окном была весна, зелень, мягкая и теплая краса, а в комнате пахло мятой, кипарисом, ромашкой — запахами старины, забвенья. В комнате, у окна, стояло старомодное дубовое «бюро» с бесчисленными потайными ящичками, с узорами и инструкциями, а голландка была сложена из таких затейливых и изысканных изразцов, что я долго рассматривал их с чисто музейным любопытством. Особенно восхищали меня надписи на этих изразцах, их старинная, церковно-славянская вязь. «Несу бремя пташное» — читал я и видел пастушка, который, с цевницей на плече, спешил к соседнему изразцу, где была изображена девушка, протягивающая руки, что с какой-то простонародной певучестью называлось: «Жду себе друга милого». Другая девушка, на соседнем изразце, сидела, пряталась в кустах, и надпись была здесь задорная, игривая: «Кто мя исхитит». А от нее, от этой второй девушки, куда-то убегал, взбросив золотые рога, пугливый олень, или, как было написано, «елень дикая в поле».

Потом я неожиданно заснул, спал целый час, а когда проснулся, услышал где-то внизу знакомый девичий голос и вышел во двор. Там действительно

была Зирка: стояла, о чем-то болтая, рядом с Красавским и каким-то молодым парнем в старой защитной гимнастерке и сдвинутым на затылке шлеме.

— Вот это один из тех, — показала Зирка на парня, — о которых я рассказывала вам. Можно сказать, ударник колхозного строительства.

Парень обкрутил свои кавалерийские усы, подмигнул Зирке и отмахнулся от разговоров.

— Я, Зинаид Павлиновна, человек скромный

— Будя уж скромность-то наводить, знаем мы тебя, — и Зирка, чуть подтолкнув его плечом, сказала:

— Нет, без шуток, примерный колхозник.

Парень снова ухмыльнулся.

— Примерный, не примерный, а раз вызвался груздем — пожалуйста, гражданин, в кузов. Взялся за гуж — не говори, что не дюж. — Дисциплина и сознательность — мать победы.

Он заговорил серьезнее:

— Что ж, я, как и все сознательные колхозники, работаю не покладая рук: помогаю тащить матушку-деревню на рельсы социализма. Часто не понимает голубушка, иногда упирается, а прет, движется. — Эх, машинушка, ухнем, эх, зеленая, сама пойдет. — И все-таки пошла, — громко выкрикнул парень.

Я заговорил с ним. Он рассказал о себе.

— Дело, значит, такое: я еще два года назад стал подумывать о колхозе: «Куда, думаю, наша не хватала!» — Нашел себе сомысленника, Андрюшку Вислова, парень хоть куда: герой, боец, молодчина. — Поговорил с ним... Есть, говорит, всегда готов! — Ладно. Нашли еще шестерых, потом еще: собралось четырнадцать дворов. Заметано. Перво-наперво порешили снести с лица земли пустыри и кустарники — их было у 14 хозяйств 30 гектаров — и принялись за работу. Старики — смеяться: напрасно, говорят, штаны протрете, ничего не выйдет из этой самой затеи... молодозелено... — Ничего, мол, цыплят по осени считают, думаем себе, авось задние колеса наперед передних покатыся. И покатылись: все снесли, все засеяли, да еще и дохода получили 32 тыс. 40 рублей, как одну копеечку. Теперь, понятно, дело идет, контора пишет, а товарищ трактор деньги выдает.

Парень опять подмигнул Зирке:

— Правильно я толкую?

— С подлинным верно, — в тон ему, с шутовой серьезностью, откликнулась Зирка.

Она скоро ушла, убежала: «Ты от дела, а дело за тобой» — по-бабьи развела она руками, и я побрел в сад, в его старую глушь, в его цветущее, весеннее запустенье.

В саду, как и во всех старых помещичьих садах, было много яблонь, — анис, боровинка, розовый налив, антоновка, — много было тополей и кленов, была целая аллея пихт, черно-голубых, скользких, иглистых и блестящих, а за пихтами — разноцветное, все дробившееся в отраженьях зеркало пруда, и над прудом остатки какой-то беседки...

После дождя посвежело и прояснилось: сад, убегая в лазурь, в блеск, чуть лепетал, сверкал, крепко зеленел березовой листвой, еще обсыпанной дрожащей дождевой ртутью, и весь пропах эфиром, вином, бальзамом. Над садом, над вершинами лип, слабо полыхала, осыпалась радуга, нарядная и легкая, как фазанье перо. В низах, там, куда доходил свет радуги, пощелкивал соловей, и негромко, согласно напевали девки-работницы, сгребавшие прошлогодние листья, собирающие их ровными, сверху приподнятыми кучками, похожими на распушенные палевые зонтики. Девки пели что-то озорное, частушечное. Подойдя ближе, я расслышал, как одна из них звонко начала:

Ах, в саду-то девки дуры,

Вся трава примятая —

и прочие раскатисто, со смехом, подхватили:

То не ветер, то не буря,

То любва проклятая...

Я, пройдя мимо девок, заодно окликавших меня, покружил по аллеям, вышел к реке — она, унося солнце, катилась, неслась, широко, просторно, вольно — и, выбрав уединенную скамью, сел на нее и стал, думать, думать...

VI

Я думал и о прошлом усадьбы, — шум старых лип как бы доносил до меня дыхание когда-то живших здесь людей, — и о том новом, что со всех сторон обступало помещичий дом, и конечно о

Зирке, которая опять была вместе с Красавским в поле, где все кружил, все гудел и ревел трактор.

История Задубравья во многом поучительна: некогда, впрочем не так давно, еще на памяти окрестных стариков, здесь затворнически обитал полусумасшедший князь, непрестанно тепливший лампы через поблекшим лагертотипом, перед образом тонколицей, большеглазой женщины, державшей в усталой руке оранжевую розу, потом, по смерти князя, в усадьбе жили его сыновья: один — больной и несчастный, искалеченный во время крымской кампании, другой — отставной, женственно-дегенеративный и робкий корнет. В усадьбе была тогда вероятно тишина, глушь, разорение, в саду — почти лесная густота, полная горлинок, иволог, сов, а по аллеям сада, в летние дни, неспешно катилась, поскрипывала коляска-качалка, в которой дремал, откинув бескровное лицо, изуродованный севастопольский герой. За коляской, подгалкивая ее, шла, опустив глаза, молодая женщина, по-монашески повязанная агласным платком, а где-то поблизости, в кустах, бродил, страдал, сгорая любовью к ней, к жене больного брата, отставной корнет, все читавший пастушьи пасторали екатерининских времен. Он любил жену брата застенчивой и тайной любовью, лишь изредка, с бальной почтительностью, склоняясь к ее руке, пахнувшей жасмином, а когда она овдовела, уехал совсем, навсегда переселился в соседний уезд. Уехала и она, вышла замуж за какого-то московского кузнеца, и в усадьбе, купленной богатым губернским фабрикантом, скоро появились другие люди: дородные женщины в тюлевых кружевах, старозаветные старички в поддевках и «визитках», бритые мужчины в европейских «рединготах», веселые гимназисты и гимназистки, курсистски и студенты, читавшие модные декадентские журналы. Жизнь пошла на широкую ногу, с пикниками и музыкой, — сад расчистили, подрубили на английский лад, украсили газонами, стеклянными шарами, карнавальными восточными фонариками, гротами и беседками, в которых до рассвета слышались то возбужденные, то заглушенно-интимные молодые голоса. Однако незадолго до революции и эти хозяева исчезли:

фабрикант умер, сын его погиб на войне, в Карпатах, остальная семья уехала куда-то в Крым, в Ялту, на берегу синего, теплого моря. Последний хозяин Задубравья, сельский купец, ростовщик, молодой и красивый человек похожий на убийца, сразу же начал превращать усадьбу в деньги, в капитал, в золото: задумал завести конский завод, а сад, в котором, говорил он, «деревьев много, а пользы ни гроша», — стал сводить, срубать, спиливать. И сад стал заметно редеть: старые липы и сосны, источенные дуплами и опутанные гнездами сов, одна за другой клонились, тяжело стонали, с уханьем, с пушечным ударом валились на землю, а он, новый хозяин, возбужденный, гордый своим могуществом и богатством, все подбадривал рабочих и часто сам брался за пилу, глубоко вкачивая ее смертные зубцы в облитое смолой дерево, сверху донизу пронизанное скрипом, звоном, дрожью.. Однако, сроки этого хозяина оказались очень короткими: пришла революция, Задубравье как-то быстро перешло в руки новых людей, всячески оберегавших его, — и вот этот совхоз, этот неумолкающий трактор, этот веселый паренек, только что беседовавший со мной, эти торфяные разработки, эти паровозные свистки в дремотных от века полях...

Болотные дебри, еще так недавно доступные лишь для гусей, высушивает знойный зев машины, извлекающей из них солнечное тепло, призванное по воле человека озарять города и фабрики, а по полям, окружающим эти болота, со звоном прокидываются рельсы и вместо обозов, вместо чумацких гелег несутся поезда, как кружатся вместо убогой сохи крутые и жадные колеса стального коня. В полях, во всей деревенской жизни еще много старины, — чего стоят одни эти широкие кочевые цыганские дороги, обросшие вербами! — но и эти привычные дороги когда-нибудь (и вероятно довольно скоро) забудутся, станут лишь поэтическим воспоминанием: их завалят камнем, зальют и закуют бетоном, и по ним, по тем самым дорогам, над которыми когда-то звенели колокольчики ямщицких и почтовых троек, бешено, с хрипом и шумом полетят зеркально-черные авто. Бетон и машины

опрокинут — и уже опрокидывают — весь созданный тысячелетиями (и все-таки столь непрочный) быт.

Кожа и граненые очки шофера заменят дубленые полушубки и малиновые кушаки, а «удалое разгулье» и «сердечная тоска» ямщицких песен заглушатся крутящимся шорохом новых, обутых резиной колес. Пропадает, исчезает, изменяется (и уже навсегда!) все, к чему привык глаз с детства, с младенчества: и нищие придорожные голубцы, и дикое веселье звенящего табора, и осенние деревенские праздники с медовой брагой, и купальские девичьи венки, и гротескные святочные маски — все, что так радовало, волновало, а иногда и вдохновляло людей прошлого.

Теперь этих людей — немного, да и те из них, что хотят чувствовать себя подлинно-живыми и живущими людьми, с мучительным, часто нечеловечески-трудным напряжением будут уходить из мира теней и призраков, из его почившего Элизея, завидуя тем, кто, творя высоко-трагический сегодняшний день, с ненавистью дробит остатки былого, или еще больше тем, кто, как например Зирка, совсем не знает и не помнит его...

И я сидел, слушал волчий вой трактора, сливавшийся с затихающим шумом сада, уже предвечернего, крепко голубеющего в чистом небе, а потом пошел на тягу, в ближнюю березовую рощу, над которой низко стояло мутное солнце. Солнечный блеск, рдьяный и мягкий, еще широко лежал на пашнях, и резко дробился по березовой аллее, золота и обрумянивая ее. Вечер опускался просторный, ясный, с звонким холодком, с синими, струистонезными заречными далями, с кроткими песнями жаворонков, которые, не смолкая, трепетали над полем.

В поле я опять встретил Зирку и Красавского: они, громко смеясь и переговариваясь, весело шли в усадьбу, очевидно закончив свой трудовой день. Красавский осмотрел мое ружье, поохотничьи прикинув его в руках, потряс, прицелился и приветливо стал называть лучшие вальдшнепиные места, советовал, пройдя рощу, свернуть куда-то влево, на какие-то званские вырубки. Я, почти не слушая его, взглянул на Зирку: она, рассеянно следя за косо падающими в озимь жаворонками, что-то, каза-

лось мне, обдумывала, колебалась, но, когда Красавский простился, попробовала улыбнуться, кивнула головой, сказала: «Вечером увидимся!» — и ушла с ним.

Я, отойдя, оглянулся: Зирка, опираясь на руку Красавского, уходила все дальше и дальше, скрываясь в березовой аллее...

На горе-то ольха
Под горою — вишня.
Любил барин цыганочку,
Она замуж вышла...

вспомнил я почему-то бесшабашно-нежную григорьевскую песенку — и быстро зашагал к лесу...

И вот опять весенний вечер в березовом лесу, кукушки и зорянки, шафрановый закат, грациозные майские жуки, вальдшнепиное хорканье, гремящее эхо выстрела, пламень щек и сладкий хмель сердцебиения, а потом — обратный, уже радостный путь в спускающейся тьме, в березовой зелени, сквозящей от зари, которая долго-долго будет краснеть на севере.

Я возвращался не торопясь: часто приостанавливался, присаживался, оглядывал лес, смотрел на первую звезду, которая, отражаясь в луже, напоминала плавившуюся голубую дробинку, и слушал все то же, то же — протяжные и гулкие завывания трактора. Трактор, то приближаясь, то отдаляясь, кружил и кружил полем, а здесь, рядом со мной, в молодой, какой-то особенно статной, сплошь раскурчавившейся березе, пел и пел, сладко высвистывал и выщелкивал бездумно-счастливым соловей. Я осторожно подошел ближе: почти незаметная, обидно-бесцветная пуховая пичужка, повернув на зарю взерошенную головку, ничего не слышала и не видела и, переливая всю свою крошечную жизнь в песню, в цокот, в щелканье, не сознавала ни своей певучести, ни того, что дает эта певучесть земле, весне, людям. Соловьиный щелк, как бы кропил мое лицо росой, свежестью, наполнял голову легким, музыкальным звоном, а в поле, за лесом, всхлипывал и всхлипывал трактор, и эти противоположные звуки — соловья и трактора — никак не мешали друг другу...

Июнь 1931 г.

Два стихотворения

(Из цикла „Перечень профессий“)

АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ

I. Авиатор

Ты прошел небеса и не видел ни рая,
ни ада,
Пил погибельный воздух и пустыню по-
стиг,
Поднимался наверх, делал мертвые пет-
ли и падал,
Земноводный по сути, неприкаянный
еретик.
Разговорчивым будь.
Перечисли названия станций,
Реки лунных долин, перевалы, мосты.
Расскажи мне про всё — ты, выдавший
протуберанцы
И глаза плотоядной луны протяжением
в четыре версты.
Я не знаю заоблачной сферы. Я —
просто
Прочитал нерадивые книги и пошел на
вожжах.
Я не знаю, поют или кричат алконосты,
Как трясутся планеты при заоблачных
мятежах?
Что у нас на земле?
Узколюбые избы и шахты.
Но приходит закон притяженья.
И дорога твоя
Обусловлена ныне нижечной повесткой
от жакта,

И письмом с иностранными штемпелями,
И причудами бытия.
Кто страдает от жажды?
Кроты, воробьи и деревья.
Крот прикован к земле,
И деревья ни с места.
Воробышки — малы.
Ты наверное вдрызг рвал над тобою
ощеренный гребнем
Сноп тяжелой воды.
Точно так поступают орлы.
Называйте орлами орлов!
Ветры спят на распутьях.
Над землею огромная туча не дрогнет.
Утомительно ждем.
И тогда налетают орлы.
Разрывают ее на лоскутья.
Туча громом царапает воздух,
Ниспадая на землю дождем.
Впереди всех времен — авиатор.
Слово сделаю ладным.
Пожелаю удачи.
Ничтожную милость яви:
Если год этой службы почитается за
Сколько лет проживешь? два,
Полтора? —
Ну что же —
Живи!

II. Определение профессии

Счастлив поэт. Поймал слова с поличи-
ным,
Поставил в ряд и тем прославил день...
Профессия влияет на обличье,
На вкусы и характеры людей.
По всем углам земли, косым и смежным,
В ряду с другими тоже ей дано
Огромное влияние на одежду, —
Она его упрочила давно.
Имейте зоркий глаз, и станет лучше
Отборных слов широкая река...
Я узнаю тебя, веселый грузчик,
По красному прибою кушака.
Отсюда явственна стиха завязка:
Кушак и грузчик — двойственный союз.

Кушак — испытанная опояска,
Ремень — жесток, когда проносишь груз.
Другие век сидят под тополями
И славословят звезды без конца.
Рукопожатьем я определяю
Тяжелую работу кузнеца.
Слова, как жечь, краснеют от нагрева.
Расплавлю их.
Тогда увижу я
И в темноте, насколько толще левой
Десница опаленная твоя!
...Умей любить, поэт, и ненавидеть,
Умей вести сигнальные огни.
Расспрашивай, когда глаза не видят,
И стань немым, когда кричат они!

Черное золото

Роман

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

(Продолжение¹)

38

Во время отъезда Хаджет Лаше лита работала через пень колоду. Генерала Гиссера (товарища председателя лиги) удручало отсутствие бумажного производства (велись только протоколы заседаний, в эти витиеватые протоколы он вкладывал всю душу), удручало его и то, что члены лиги не могли носить какой-либо присвоенной им формы, хотя бы знаков отличия, — приходилось по памяти разбираться кто кому подчинен, кто кому имеет право подавать руку, в чьем присутствии садиться, курить и прочее. Каждый день в штаб лиги являлись новые члены, навербованные в Германии, Швеции, Финляндии, или добровольцы, прослышавшие стороной о тайной организации, требовали суточных, кормовых, подъемных и квартирных... Генерал (по инструкции Лаше) выдавал каждому по десяти крон и предлагал ожидать — вот-вот должествующих поступить — крупных кредитов от союзников. Вербовочные списки отправлял американскому атташе и графу де-Мерси. Так составлялся «железный» батальон (посланный впоследствии под Петроград).

Основной орган лиги, ее сердце, — разведка — Извольский, Биттенбиндер и Эттингер пьянствовали в Гранд-отеле, составляли дутые сводки подозрительных по большевизму лиц и под эти списки вымогали у генерала Гиссера

мелкие казенные суммы. Лучше других работала парижская группа, — мадам Мари и мадам Лили. Приглашаемая за столики (после исполнения романсов), Мари, ленивая, но любопытная и острая на ухо, улавливала в гуле дымного ресторанный зала обрывочки интересных фраз. Так ей удалось установить, что какие-то люди ожидают приезда в Стокгольм двух большевистских комиссаров, фамилию одного услышала ясно — Красин. По поводу этого сообщения в лиге было экстренное заседание, Мари поручили добыть дальнейшие сведения, Ей опять повезло: проходя мимо столика, занятого тремя неизвестными, она услышала, как один (в голубоватых очках, прищуренный, с бледными, злыми губами) негромко сказал другому, румяному блондину:

— Воровский уезжает совсем...

Она установила также, что семья комиссара Красина (жена и дочери) недавно прибыли в Стокгольм и остановились на частной квартире (адреса узнать не удалось). Сведения о приезде семьи Красина повидимому настолько было значительно, что среди ночи Биттенбиндер отвез мадам Мари к Гиссеру. Выслушав Марию Михайловну, генерал обнял, перекрестил и расцеловал ее:

— Вы неоцененная сотрудница, деточка, продолжайте же свою беззаветную деятельность, Россия не забудет вас.

Ей дано было экстренное задание сблизиться с курьером большевистского посольства, матросом Варфоломеевым.

¹) См. «Новый мир», кн.кн. 1—8 с. г.

Но он почти никогда не появлялся один в ресторане, — повидимому его назначали для охраны к разным проезжим таинственных личностям. Заговорить с ним не удавалось, — на зовущие томно-синие взгляды Мари он — хоть бы хны... Смуглый и мрачный, наголо обритый, с каменной шеей и налитыми мускулами под синей пиджачной парой!.. Мари, несмотря на лень, чувствовала легкую досаду, что такой чудно выраженный зверь не реагирует.

Лили успела сделать еще больше за эти дни. Очень миловидная в простеньком платице учительницы языков, — всегда за перелистываньем журнала (на кожаном диване в вестибюле гостиницы), — Лили подманила наконец двух комми-вояжеров — французов, развязных и легкомысленных до последней человеческой возможности. «Не преподает ли мадемуазель еще что-нибудь, кроме языков?» — спросили они. Лили очаровательно смутилась. Комми-вояжеры в восторге предложили ей себя в полное распоряжение. После французов начало клеветать: в тот же день она получила час английского языка у толстяка немца и час по-французски у застенчивого с виду американского парня (агента мясных консервов), но этот у себя в номере оказался таким грубияном и циником, что Лили расплакалась и отказалась от урока. Затем одурело на ее крючок налетел тот, для кого она и сидела в Гранд-отеле, — Леви Левицкий.

— Я беру вас на всю неделю, по два часа в день, все три языка, делайте из меня европейца, — он расставил ноги в лакированных туфлях, выкатил потные глаза на мадам Лили, — платиновая цепочка поперек жилета, впереди живота — руки, засунутые большими пальцами в жилетные карманы, так, что бриллиантовые перстни видны всему вестибюлю. Наверное в вестибюле не нашлось человека, одетого шикарнее (светлосерый мохнатый костюм) и видом самоувереннее, чем Леви Левицкий.

Когда он позавтракал, Лили поднялась к нему в номер. Александр Борисович вынул из стенного шкафа мешочки со сладостями, бутылку сладкого вина, предложил барышне не стесняться — кушать. Повалялся на диван, полнокровный и возбужденный после еды:

— Я не могу молчать, это характерно для меня. Знаете, что я вам предложу: я буду говорить по-немецки, вы меня поправляйте, потом то же повторим по-английски. Идет? Я буду рассказывать что-нибудь интересное, ну например мою биографию... Кушайте конфеточки... Так вот, с чего начать? Мой папашка — из Умани, бедный уманский портной. Вы знаете, что такое была черта оседлости, или вы не знаете? Русские лучшие люди охали и ахали, кричали — позор, а самого главного о черте не договаривали. Черта — это был сложный и хлопотный способ русского самоубийства... За черту была посажена европейская культура... Вы скоро ко мне привыкните, — я люблю выражаться парадоксами... Россия не захотела итти за европейской культурой, захотела сидеть в свинстве, как при царе Горохе. Еврей-промышленник строил фабрику по новейшему европейскому образцу, выписывал из-за границы новейшие машины, еврей-купец забивал русского, — он торговал дешево, брал шесть процентов на капитал, покуда русский поворачивался, еврей уже шесть раз успевал повернуться с капиталом... Но русское купечество недаром цеплялось за абсолютную монархию, русская буржуазия стала лезть, только когда упрятала евреев за черту. Что было делать русским? Перестраивать промышленность и торговлю по европейским образцам? Вы не знаете русское купечество... Так они решили, что будет дешевле натравить царя на евреев... Зазвонили во все колокола, подняли духовенство с отцом Иоанном Кронштадтским, сказали, что от евреев дурно пахнет, евреи кладут в мацу человеческую кровь, и царь повелел загнать евреев, как баранов, за черту. В России стало чисто, — спи, кушай растегаи, воруй и грабь, ходи крестным ходом. Азия!.. Это было так же умно, как поставить себе под кровать ящик с динамитом!.. Вы бы посмотрели, барышня, какие характеры выковыльвались в черте оседлости! Там было больше духа, чем хлеба... Среди нас были святые люди, они уходили в революцию, в подполье, на виселицы, — мы молились на них... Когда я стал подростать, помню, ох, какой помню в себе задор!.. Мой папашка знал талмуд, как свой наперсток, он брал де-

ревянный аршин и хотел мне вогнать через спину усидчивость, но я сомневался — так ли уже нужен богу мой голодный нос, ползающий по талмуду. Папашка был умный еврей, он понял меня и сказал: «Каждому свое, ты можешь учиться на экстерна, ты можешь пойти в партию эсеров или эсдеков, но я не потерплю, если мне еще когда-нибудь скажут: ваш сын не честный человек». Когда папашка так разглагольствовал, глаза его поверх очков поглядывали на тот же деревянный аршин, и уже я хотел стать честным человеком. Папашка был идеалистом старого поколения.

Леви Левицкий прихлебывал сладкое вино и грыз засахаренные орешки. Он с удовольствием слушал самого себя. Игги на фабрику, жениться на фабричной девушке с такой сутулой спиной, как будто на ней вынесено все еврейское горе, народить полдюжины голодных едоков, — перспектива не для моего темперамента... Броситься в революционную работу? Все равно, — сказал я сам себе, — святым считать тебя не будут, тебе не выдержать моральной высоты... Я выбрал богатство и славу, но не сказал об этом папашке... Я стал учиться, как зверь, науки шли как по маслу. В Умани я уже стал удивлять людей. Сдал на экстерна и год за годом долбился сквозь процентную норму на юридический факультет. Как я жил это время? Я умудрялся зарабатывать в Умани факторством, частными уроками, даже набивкой папирос рублей двадцать пять в месяц... Я посылал мелкие газетные заметки в Одессу, Киев, Харьков... Меня заметили, — это давало еще рублей пятнадцать в месяц. Я верил в победу. Я ждал случая. Война! Через неделю после мобилизации я был уже в Петербурге... Вам не надоело слушать, барышня?

Блестя глазами, он замолчал, казалось, всматривался с восторгом в пройденный путь. В Петербурге он сразу попал, как пуля в цель, в редакцию «Вечерней биржевой». Он не разменивался на вопли о русских победах, на глубокомысленные сравнения антантовского гуманизма и немецкого варварства. Он помещал две-три заметочки петитом в конце четвертой страницы перед колонками биржевых курсов, но заметочки были очень дорогие и появлялись на день

раньше, чем в других газетах... Чтобы доставать их, нужен был неисчерпанный темперамент Леви Левицкого, двадцать семь лет кипевший в уманской глуши. В редакции посмеивались над его местечковым языком, над сверхрасторопностью, скупостью и в особенности неожиданной дружбой с петербургским митрополитом Питиримом. Когда Леви Левицкий появлялся в редакции, — черная визитка, руки в карманах, толстые губы плотно сжаты, — ему кричали (хроникеры адской наглости, журналисты с тройной совестью, — все птенцы короля газетчиков Гаккебуша: «Борис, ну как? завтракал с его преосвященством? Распутин тебе только что звонил, кланялся. Что нового при дворе, Борис?»)

Шум, телефонные звонки, трескотня машинок, табачные завесы, зубоскальство, анекдоты, хохот... Леви Левицкий спокойно подходил к настольному телефону (если кто-нибудь разговаривал, он вырывал у него трубку) и лез с аппаратом под огромный редакционный стол, за корзину с бумагами. Оттуда было слышно: «Барышня, я вам повторяю (номер), алло!.. Это вы, ваше преосвященство?.. Это я, Леви Левицкий. Здравствуйте, как ваше здоровье? Слава богу? Я очень рад... Мое как? Так себе. Есть интересное сообщение... Бой на Гнилой Липе... Да, сведения из первоисточника. Завтра уже будет в газетах, но пока на бирже не знают... Да, весьма...»

В него под стол швыряли книги, иногда вытаскивали за ногу вместе с телефоном, но он успевал сообщить то, что еще не знали ни на бирже, ни в военном министерстве. Понемногу круг сообщений из-под стола расширялся, — он вызывал то банкира Жданова, то самого Митьку Рубинштейна, то — анонимно: «попросите к аппарату графа...» За военные и политические новости ему платили акциями, биржевой разницей. В шестнадцатом году он играл уже самостоятельно. После убийства Распутина сказал в редакции: «Увидите, господа, кровь этого мужика затопит всю Россию...» В марте семнадцатого года он исчез на три месяца, оказалось — поехал в Умань, революция разбудила в нем своеобразные чувства долга и честлюбия. В лучших костюмах он гулял по

Умани, произносил речи на летучих митингах (держась программы поправее меньшевиков), был даже назначен уездным комиссаром по делам печати, но под конец удачно купил несколько деревянных домов и снова появился в Петербурге, утомленный и разочарованный. Здесь он свирепо рванулся в спекуляцию, картежную игру и в похождения с женщинами. Он истерически поглощал жизнь. В это время ему удалось перевести в Стокгольм значительную сумму денег. Когда разразился — неожиданный для интеллигенции, буржуазии и большинства обывателей — Октябрьский переворот, Леви Левицкий сказал в редакции: «Бросьте смеяться, будет гораздо хуже, будет кошмарно плохо. Вы не представляете, что такое русская демобилизация. Дай бог здоровья большевикам, если они хоть что-нибудь спасут в этой каше».

Он пошел в Смольный и предложил свои услуги. Впопыхах ему поверили. Он добросовестно исполнял мелкие и незначительные работы, но умело откручивался от ответственных назначений. Он похудел, помрачнел, носил полувоенный костюм, сутуло переходил на другую сторону улицы, когда встречал старых товарищей по редакции...

— Вы спросите, барышня, что же меня удерживало в Петрограде? Немцы оккупировали Украину, восстали чехословаки, отложились Сибирь, на юге хозяйничали добровольцы, казаки разбойничьи банды. Я отлично видел, что большевиками не выдержать и года... Но кто их заменит? Батько Махно? В душе моей был мрак, я ни во что не верил. Я получил известие, что Умань вырезана петлюровским атаманом и мой папашка погиб. Он плюнул в глаза атаману, и его мучительно зарубили саблями... Так что же, и революция не избавила нас от погрома?

Повидимому весь восемнадцатый год Леви Левицкий пребывал в состоянии величайшей растерянности: он сорвал покрывало со святыни и ужаснулся вида ее... В нем жила нащептанная отцами и дедами в подвалах гето любовь к святому акту революции: от ее трубного звука рухнет стена плача, и перед угнетенными и униженными откроется свобода, изобилие, богатство, пышный расцвет всех возможностей... Но револю-

ция, разрушив стену плача, сурово повелевала итти мимо изобилия (мимо процветания Леви Левицкого), в неведомые туманы новой истории человечества, где золото предназначалось для общественных ватерклозетов. Во что же было верить, когда сама революция обманула? Богатый признавался вне закона. Зачем было жить?

В девятнадцатом году Леви Левицкому удалось побывать за границей, он ездил в Ревель и Ригу и вернулся. Тогда ему дали более ответственное поручение — в Стокгольм. Вместе с казенными пакетами он вывез туда всю свою валюту и драгоценности.

— Вот что странно, барышня, я действительно отряхнул прах с ног... Но здесь меня тянет к советским людям, право... Я не могу сблизиться с эмигрантами. У них погромное отношение к революции, они мечтают вернуть историю на полвека назад, они готовы молиться даже на великого князя Кирилла, дать ему шомпол вместо скипетра и еврейский череп вместо державы... Слушайте, надо же было чему-нибудь научиться... Но, что касается женщин, — дело десятое... С женщинами я немножко сумасшедший... Боже сохрани, не вздрагивайте, золотко мое... Я хотел бы только поговорить о вашей знакомой, такая высокая, элегантная... Помните ужин в Гранд-отеле? Она задела меня, скрывать нечего...

Лили, помня инструкции Хаджет Лаше, сказала:

— Я уверена, княгине было бы очень интересно с вами увидеться — порасспросить о Петрограде... У ней остался там чудный особняк, и вот два года — никаких сведений...

— Слушайте, как бы нам встретиться?

Лили ответила (согласно строгой инструкции):

— Можно здесь, в ресторане. Княгиня как раз собиралась в город...

— А где она живет?

— Мы живем вместе, на даче... Хотите, приезжайте на дачу... Словом, я ее спрошу...

Лили спешила замыть разговор, — было страшно что-нибудь напутать и потом отчитываться перед Лаше... Но Леви Левицкий продолжал возбужденно расспрашивать, и Лили, запинаясь, вра-

ла про Веру Юрьевну и Хаджет Лаше (ее горячего поклонника, друга, богатого человека и писателя); про восхитительную дачу в Баль Станесе, предложенную Хаджет Лаше в полное распоряжение женщинам, утомленным парижским сезоном. Леви Левицкий спохватился ехать завтра же в Баль Станес, Лили,— вспомнив инструкцию:

— Нет, нет, Вера сейчас немножко нездорова, словом, я вас извещу.

Несмотря на путаницу и очевидную чушь (в Лилиных ответах), всегда осторожный и подозрительный Леви Левицкий не почувал опасности, — сам чорт не догадался бы, что эта запинаящаяся, хорошенькая девушка заманивает его в ловушку, на мучительную смерть. Он придвинулся и поглаживал холодноватую руку Лили, называл деточкой, — кровяные жилки наливались в его коровьих глазах:

— Когда женщина ударит по нервам, — да еще такая европейская красавица, как ваша княгиня, — готов отдать все... Ведь я для этого жил, — я хочу взять самое первоклассное... Я ждал этого две тысячи лет... Вы меня понимаете? Через год-два буду в больших миллионах, но уж конечно не стану дрожать над денежками... Нет, деточка, я воспитан войной и революцией... Я хочу накушаться жизнью...

39

На озере тускнел закат, неясными становились зубчатые вершины леса. Вера Юрьевна была на берегу. Чтобы комфортабельнее наслаждаться собачьей тоской, сидела в мягком кресле (из гостиной), подложила ладони под щеку, поджала под себя ноги. Василий Алексеевич где-то в комнатах все еще спал после обеда.

Неожиданно, бесшумно под'ехал к дому автомобиль без фонарей. Это из Ревеля вернулся Хаджет Лаше. (Вера Юрьевна не потрудилась и пошевелиться). Слышались голоса нескольких человек, — с ним были Эттингер, Биттенбиндер, Извольский... Закричали:

— Вера Юрьевна! Княгиня! Ваше сиятельство! (Наглый смех Эттингера)... Куда она к чорту, стерва... (Это — Биттенбиндер)... Эй, Василий Алексеевич,

полковник! (Резкий свист, точно иголка в мозг: «Хулиганы, бандиты, почему ни тиф их, ни пуля не взяли...»)

Автомобиль уехал. Четверо вошли в дом. Свет через раскрытое окно столовой лег на скошенный луг. Пепельная тень от кресла уперлась в воду. Стали видны две летучие мыши, кружившиеся над головой Веры Юрьевны. В столовой звенела посуда. Раздраженный голос Хаджет Лаше:

— Эти девки жрут тут без меня... (Хлопнула откупоренная бутылка)... Господа, господа, не начинайте с коньяка, — у нас целый ряд серьезнейших вопросов...

Тогда Вера Юрьевна поднялась и неслышно подошла к дому. До последнего слова она прослушала совещание в столовой... Лаше говорил:

— Предварительная подготовка закончена... Лига связала себя круговой порукой с Парижем, Лондоном, Вашингтоном, с Колчаком, Деникиным...

Вежливый голос Извольского:

— Простите, через кого установлены связи с Колчаком и Деникиным?

— С Колчаком — через Юденича, с Деникиным — через генерала Янова... Затем мы связались с эмигрантскими центрами и крупнейшей нефтяной группой... Теперь я это могу открыть, господа: нами очень интересуется Детердинг... Лига неуязвима... Мы должны перейти к действиям...

(Резко отодвинутый стул и хриплое «уррра!» Биттенбиндера)

— Вот список, пополненный в мое отсутствие генералом Гиссером. Мы его обсудим и установим очередь... Первый номер: матрос Варфоломеев...

Голос Извольского:

— В расход...

Эттингер — вскользь:

— С ним придется повозиться...

— Вторым номером — жена народного комиссара Красина.

Извольский:

— А что это нам даст?

— Это даст нам самого Красина...

— Ага... Не спорю...

— Третий — полпред Воровский... Он еще в Стокгольме... Но с ним, также и с Красиным я бы несколько подождал, господа, боюсь хлопот. Четвертый — это также по политической линии... Вот

здесь мы можем оказать большую услугу кое-кому... Я говорю о загадочном лице, недавно прибывшем из России, — нашей разведке он известен под кличкой «в голубых очках»... Имени установить не удалось. Граф де-Мерси сказал мне сегодня, что посылал запрос в Париж, и Сюрте ему ответило, что московский агент Сюрте предупреждал о возможности появления в Европе крайне опасной личности в голубых очках...

— Я его знаю, — крикнул Биттенбиндер, — голубые очки — харьковский чекист... Этому молодчику спицы надо под ногти...

— Детали обсудим после... Пятым в списке — Леви Левицкий... (Удовлетворенное рычание собеседников) и Наконец шестой — Ардашев... (Снова одобрения)... Эта тройка — Леви, Ардашев и Варфоломеев — не вызовет никаких политических неприятностей, здесь можно действовать без оглядки, кроме того, господа, вы сами понимаете, это wesentlichно... Поэтому я и предлагаю с них начать. А чистой политикой займемся уже потом, чтобы удовлетворить наших друзей...

Биттенбиндер:

— Bravo!

Эттингер:

— Пожалуй...

Холодный голос Извольского (после некоторого молчания):

— Я не согласен... Господа, прежде всего мы должны оправдать свое лицо... Или мы боремся за поруганную и распятую монархию... Я не настаиваю на доме несчастных Романовых, я лигитимист... Но, надеюсь, все здесь присутствующие сходимся на основном принципе... (Чьи-то пальцы забарабанили семеновский марш). Мы — братья белого ордена — боремся с большевиками, то есть: с агентами сионских мудрецов, с еврейством в целом и с его прихвостнями — российскими либералами и интеллигентами. Наша цель — вернуть России ее исконную святыню и восстановить золотой век, когда государственный строй был подобен небесной иерархии: народ был покорен и чист, высшие силы заботились и пеклись о нем, ибо крепостное право было легчайшим состоянием, крепостное право, проклинаемое всеми чисаками. Крестьянин был сыт,

здоров и весел, в отеческой опеке крепостянин истово трудился, имея видимую и близкую цель: своего барина — своего отца. В свою очередь над баринам стояли высшие силы, и вся незыблемая система осенялась славой горностаевой мантии помазанника, монарха... (голос Извольского задрожал)... Было легко дышать, легко жить... Так вот, господа, я полагаю, что первый наш акт должен быть чисто политический. Это наш первый долг, этим мы поднимаем себя на моральную высоту и смело взглянем в лицо нашим друзьям... Иначе — как вы здесь предлагаете — лига разменяется на мелкие операции...

Грубый хрип:

— Хороши мелкие операции, у Леви Левицкого полмиллиона крон на текущем счету...

— Вы меня не поняли, поручик Биттенбиндер, я говорю — мелкие в моральном смысле...

— А! Ну, это уже тонкости...

Лаше — мягко Извольскому:

— Не забудьте, лейтенант, что организация казни крупного политического лица требует огромных предварительных затрат. Ассигнованные нам суммы — капля в море, да и капля-то еще в море, а не у нас... Прежде всего мы должны пополнить нашу кассу... Итак, вопрос о Леви, Ардашеве и Варфоломееве считаю решенным... Мой план захвата этих лиц таков...

...
Когда подехал автомобиль, Налымов проснулся, зажег электрическую лампочку у дивана, закурил и стал поджидать Веру Юрьевну.

Внизу в столовой бубнили голоса. Слов не разобрать. Но деревянные сухие стены резонировали тревожно, будто волны беспокойных мыслей бежали по сосновым балкам до чердака, уносились в ночь, рассыпавшую августовские звезды над домом.

Налымов догадывался: «совещаются»... Но где Вера Юрьевна? Ему до того внезапно стало жалко ее, что сморщился и потер грудь там, где застонало пропитое сердце. «Да, братец ты мой (не то подумал, не то вслух пробормотал), да, братец мой... Пора, пора... Довольно, будет... Пора, братец мой...»

Он мысленно увидел неубранную по-

стель (в его комнате), под постелью — чемодан и в скомканном белье, в коробке от мыла, среди бритвенных принадлежностей, грязных воротничков и прочей ерунды — маленький браунинг в носовом платке... Эта его смерть была далеко запрятана, как у кощея бессмертного.

Повторив: «пора, пора», он даже и не пошевелился. Значит — еще не пора. А не пора потому, что, кроме него, еще — Вера... «Да, накачал бабу на шею... А, собственно говоря, если бы не накачивал? Неизбежно, братец мой, неизбежно... Не ее, так другую, именно такую искал бы повсюду... Да, братец, угораздило тебя родиться во-время... А и живуч все-таки человек...»

Осторожно скрипнула дверь, вошла Вера Юрьевна:

— Приехали...

Села у него в ногах на диван. Лицо ее было жалкое, бессильное. Зрачки — во весь глаз, — должно быть, ничего не видела.

— Дождались...

Василий Алексеевич — как можно спокойнее:

— Что именно случилось?

— С завтрашнего дня начинают... Как мясники... Ну, ты понимаешь, — как мясники... Что же это такое... (Тихо заломила руки).

— Хочешь, дадим знать полиции?

— Ах, у них все — шито-крыто... У них поддержка повсюду — все иностранные миссии... Контрразведка... Все предусмотрено гениально... Они спокойны! Пойми, какие-то фантастические злодеи из уголовного романа...

У Василия Алексеевича тоже задрожало где-то в кишках. Осторожно спустил ноги с дивана. Заходил. У Веры Юрьевны зрачки уменьшились, следила за ним, не отрываясь, как от последнего спасения. Да, надо было решать... Дряблая воля, давно отвыкшая велеть, мелко тряслась где-то в кишках... Но понимал: «Прижали, братец, вилами, — выкручивайся...»

— Вера (покашлял)... Если ты в состоянии, — бежим...

Она — быстро:

— Куда?

— Не знаю пока еще... Там увидим... Во всяком случае, у нас будет какое-то

одно очко... здесь — никакой надежды... (Зрачки ее заматались). Я уверен, так и будет: они используют тебя и уберут, как ненадежного свидетеля... И тебя, и Лильку, и Машу...

— Я это знаю...

— Вот, вот...

Вера Юрьевна, вытянувшись, — к нему:

— Я всего этого ждала... Но как-то так, не на самом деле... А ведь это же — мясная лавка! (Метнулась в угол дивана)... Нужно бежать сейчас же, — они, кажется, там уже напились... У тебя есть деньги? В Ревель... Ох, нет, там найдут... В Финляндию, и — через границу, в Петербург... В Петроград! Нас схватят, и мы раскажем все... Я скажу... (Вскочила, зрачки, как точки)... Господин комиссар!.. Мы бежали к вам, чтобы предупредить о кошмарном преступлении... Мы — из шайки убийц. Допрашивайте нас!.. Найдете нужным — расстреливайте нас... Ведь все равно же, Вася, правда?

— Конечно, конечно... (Он топал каблуками, забыв о голосах внизу)... Я бы даже так сказал: очень приятно быть зрителем, но наступает час, когда нельзя быть зрителем... Опасно... (Она резко сморщилась)... Нет... Ты права... Не в опасности конечно... но, грязно... (Она коротко, согласно кивнула)... Грязно самому себе: стоять в сторонке, наблюдать... Нужно выбирать, — сюда или сюда...

— Да, да, да... (Закивала головой, глазами, всей своей истерзанностью)...

— И, может быть, даже я вслед за тобой, Вера, найду силы, наскребу кое-что... Дохну грозового воздуха, тоже кое на что пригожусь... (У нее иступленно потемнели глаза)... Теперь — практически: бежать конечно сегодня, сейчас... Взять только денег и драповое пальто... Когда доберемся, — там уже будут дожди, холод, а в Питере тепло-го не достанем... Да! надень высокие башмаки... Ради бога ничего не разбрасывай в комнате, чтобы они не сразу обнаружили бегство... Я пойду в столовую и подпою их хорошенько...

— Сам не пеййся, Вася...

— Брось... И жди меня на шоссе... Мы еще захватим последний поезд в Стокгольм...

Вера Юрьевна молча, сильно обхвати-

ла его, прижалась лбом, носом, губами к его жилетке. Он отогнул ее голову, растрепал волосы, погрозил пальцем ее взволнованному лицу:

— Не сплеховать!

— Нет... Иду...

Дверь в это время толкнули. В комнату вскочил Хаджет Лаше, вошли Биттенбиндер и Извольский. Изрытое, воспаленное лицо Хаджет Лаше кривлялось и прыгало, будто силясь сорвать маску. Бешенство застряло у него в горле, — он шипел, заикался и брызгался. Вера Юрьевна попятилась в ужасе.

Биттенбиндер, бледный, с кривым ртом, подошел к Нальмову и ударил его рукояткой револьвера в переносье. Василий Алексеевич схватился за голову, повернулся к дивану, нагнулся, — кровь выступила между пальцами. Вера Юрьевна негромко закричала. Извольский проговорил подчеркнуто отдельным голосом:

— Господа, мы слышали все. Прошу вас не покидать этой комнаты... Мы сделаем короткое совещание и вынесем приговор...

40

Заметка в одной из стокгольмских газет (в начале сентября), в отделе происшествий:

«Таинственное исчезновение курьера русского посольства»... (Примечание: «Идет речь о посольстве Советов, захватившем помещение царского посольства, ютящегося ныне на окраине города в одной комнатке»).

В заметке говорилось:

«При загадочных обстоятельствах исчез из своей квартиры некто Кальве. Настоящая его фамилия Варфоломеев»... (Примечание: «Это один из матросов ушедшего в Румынию царского броненосца «Потемкин»; бунтовщики, как известно, несмотря на домогательства царского правительства, находились под охраной международного права и свободно проживали в Европе под своими именами. Поэтому перемена Варфоломеевым своей фамилии наводит на мысль, — не скрывалось ли под этим желание укрыться от уголовной полиции?»)...

«... До сих пор стокгольмской полиции не удалось выяснить причину исчезновения Кальве-Варфоломеева, также и

то, — было ли тут наличие преступления, или Кальве-Варфоломеев исчез, выполняя какие-то таинственные задачи...»

Заметка повлекла за собой статейку на тему о том, что хотя Швеция как нейтральная страна широко раскрывает двери гостеприимства для представителей всех правительств, не спрашивая ни у кого их политических убеждений, но не мешало бы поставить вопрос о правильности применения международной охраны для лиц, стоящих на грани морали...

Откликаясь на статейку, ревельская (русская) газета опубликовала статью неизвестного русского писателя Н. Н., с огромным темпераментом взыскующего к народам Антанты:

«...Вы, гордые своей цивилизацией, мощью и богатством, вы, удовлетворенные плодами победы и мира, вы, благодушно проводящие часы отдыха, часы достойной праздности в благоустроенных и неприкосновенных жилищах, вы, беззаботно посылающие своих слуг в ближайший магазин за хлебом, мясом, сахаром и папиросами, вы, безопасно разгуливающие в прочной обуви и дорогих одеждах по улицам блестящих городов, вы, по ночам не просыпающиеся в ужасе от стука автомобиля... (Все это перечислялось автором повидимому под скрежет зубов, — в особенности сахар, папиросы и прочные башмаки)... Вы с высоты благополучия спокойно взираете на окровавленную Россию, где ваши братья — пусть младшие, пусть пожинаящие плоды ошибок — лишены всего, понимаете ли вы, лишены элементарных прав человека и гражданина... Антихристовой формулой мы лишены хлеба! А вы слышите наши предсмертные вопли и не спешите на помощь... Мало того... Вы даете убежище большевикам и их приспешникам вместо того, чтобы сажать их, как диких зверей, в железные клетки. Да знаете ли вы, что большевики готовят вам, вашей цивилизации, вашему спокойствию? О, мы, русские, могли бы порассказать об ужасах, перед которыми побледнеет самая болезненная фантазия!»

Следовало на трех столбцах перечисление большевистских ужасов. Далее автор переходил к биографии Кальве-

Варфоломеева — «этого гориллообразного зверя-большевика». Автор не сомневался, что гориллоподобный курьер, наведя полицию на ложный след, на самом деле отправился в Венгрию раздуть пламя преступной революции либо готовить в Париже взрыв версальской конференции...

Выдержки из статьи перепечатала одна из стокольмских газет, после чего небольшая толпа разношерстных людей собралась перед советским посольством, пыталась было ворваться в парадный подъезд, но, потерпев неудачу, выкинула андреевский флаг и камнями выхлестала в первом этаже окошки.

В уборной для артистов (в Гранд-отеле) мадам Мари пудрила плечи. У соседнего зеркала голая, лимонно-матовая, совсем молоденькая мулатка (будущая мировая знаменитость) тихо оттаптывала джигу, плотно упершись в бедра худыми руками, полузакрыв густые ресницы. Шесть герлс переодевались в спортивные юбочки среди хаоса сброшенного белья, картонок и искусственных цветов.

От резкого света стосвечовых ламп сбоку зеркал лица женщин казались кукольными, глаза — стеклянно-прозрачными до дна. Говорили немного, негромко, профессионально озабоченно. Дули на пуховки. Деловито испытывали движения, гримасы лица, повороты тела, — те самые с трудом найденные и точно рассчитанные движения, гримасы и повороты, которые из вечера в вечер превращались на эстраде в сногшибательную, возбуждающую женственность. Там с помоста женщины улавливали нормальное (для успеха номера) количество обращенных к ним мужских лиц, нормальное вождение, поднимающееся сквозь хмель и обильную ночную еду. Выше этой нормы возбуждения ужинающих самцов женщины не шли, — каждое лишнее движение в сторону красной физиономии, багровеющей сильнее и давящийся бифштексом, было бы утомительно, не профессионально и грязно. Путем дилетантского экспромта и нагнетания полового раздражения шел другой профессионализм, ничего не имеющий общего с эстрадой.

Мадам Мари (по эстраде — «Машья»,

русская дизёз) с первых же дней поняла эту разницу. В уборной Машью встретили настороженно. Ей предоставлялось выбирать, — товарищескую скромную, деловую среду или ресторанный зал, столики, кабинеты, шальные деньги... (В контракт ее входило обязательное посещение столиков и кабинетов, но оттенок был — в инициативе, в поведении). Перед плясуньями, певичками, герлс, акробатками, фокусницами мадам Мари почувствовала такую внезапно забытую потребность в уважении, товарищеской ласке, дружбе, что, не колеблясь, выбрала профессионализм эстрады, хотя с этим к чорту летели фантастические планы бегства куда-то в южную Америку с обольщенным миллиардером...

После трех-четырех ее выступлений артисты спокойно приняли Машью в свой круг. И эта тесная уборная стала для нее островком, куда каждый вчер ее, загаженную, по уши в грязи и крови, выбрасывало глотнуть целительного воздуха простой дружбы, товарищеского внимания.

Напудрившись, мадам Мари через голову набросила платье в блестках. Оно застегивалось на спине. Мари подошла к тоненькой, как мальчишка, мулатке, тихо отплясывающей джигу. Застегивая ей платье, мулатка сказала на ухо:

— Вам нужно похудеть, Машья. (Прищепила жирок на боку). Здесь это сойдет, но в Париж вы не подпишите с такими боками. Перестаньте есть мучное и сладкое, утром — тертая морковь, в обед — мясо и салат, после семи ни крошки. На ночь — клизму.

— Меня губят ужины, — сказала Мари. — Я обязана заказывать.

Застегнув платье, девушка ладонью прищепнула Мари, как бы посылая на эстраду. Мари поцеловала узкое, с большим ртом, чуть плосконосое личико мулатки, ласково улыбнувшейся от поцелуя. Вернулась к зеркалу — «да, жирна...»

— Мари, можно?

В полуоткрытую дверь просунулась бледная (без грима) Лилька, — глаза птичьи-круглые, вся насыщена дрянью по ту сторону порога. Мари поспешно вышла к ней за дверь:

— Зачем явилась? Знаешь — я не люблю.

— Мари... (Дрожащим шопотом)... Мне — опять поручение...

— Я тут при чем?

— Ты всегда не при чем, — одна я отдувайся... Слушай, этот Кальве, оказывается, исчез, которого я привезла на дачу-то... В газете напечатано — разыскивается полицией...

— Гише ты!.. (Мари потащила Лильку в пыльный закоулок к декорации)... Ты что узнала?

— Ничего не узнала, только подозреваю. Понимаешь, когда я его отвезла в Баль Станес, мне велели вернуться и ждть тебя в Гранд-отеле до утра... И в это именно время, — я уверена, — что они его... (Всклинула)... Боюсь, Маша... Теперь велели привести Леви Левицкого.

— С Верой говорила?

— Что ты... К ней подойти-то страшно...

Помолчали. За бархатным занавесом кулис на эстраде настраивался оркестр. Прошли четверо в клетчатых широких пальто с поднятыми воротниками, в мохнатых кепках, в руках одинаковые чемоданчики — братья Хипс Хопс, воздушные эксцентрики. Задний ласково кивнул Мари. Тогда Марья Михайловна задрожала от отвращения и — тихо Лильке:

— Ну, вас всех к чорту... Убирайся отсюда к чорту...

Лилька подняла плечи и — руки в карманах — пошла, не оборачиваясь. Будто на неживой ее голове нелепо торчала лиловая шапочка цилиндром. Ушла, — преступная головушка... Все-таки жалко, жалко несчастную девочку...

Лили села в вестибюле на обычное место, у камина. Не переставая, махали стеклянные половинки парадных дверей. Входили и выходили люди, уверенные в своем праве нести себя через жизнь. Вплывали и уплывали на спинах служителей огромные кофрфоры, груды элегантного багажа появлялись и исчезали. Как сказочные гномы выскакивали из мягко упавших лифтов ливрейные мальчики в круглых кирпичных картузиках. В коробки лифтов входили Уверенные и женщины Уверенных, — для них,

только для этих земных божеств тутовые гусеницы ткали шелк, громадные кошелоты копили амбру в мочевых пузырьках, под землю уголь спекался в алмаз, седел соболь под северным сиянием, и восемьдесят процентов человечества (неисповедимый промысел предоставил им другую участь) добывало все эти прекрасные вещи, получая взамен скромное счастье созерцать красивую жизнь земных божеств, так умело и так цивилизованно пользующихся дарами природы и рук человеческих.

Среди уверенных и добропорядочных одна Лилька, хипсница, сидела чужая, с невидящими глазами, как у перепуганной птицы. На прошлой неделе она выполнила задание Хаджет Лаше, — привезла Варфоломеева в Баль Станес. Предварительная слежка установила, что Варфоломеев посещал антикварную лавку и приценивался к восточным коврам. Лили должна была подойти в вестибюле к Варфоломееву (он опять ежедневно стал посещать ресторан) и просить как соотечественника, помочь в ее горе: старушка мать лежит-де при смерти, все продано и заложено, платы за уроки нехватает на лекарства, но у них-де осталась одна вещь — старый персидский ковер, дорогой по воспоминаниям, и она хотела бы за него ну хоть пятьдесят крон... Если Варфоломеев спросит, откуда ковер, — объяснить, что покойный напочка — швед по происхождению — работал в России мастером на металлическом заводе, но из-за плохого здоровья оставил службу и еще до войны перебрался вместе с семьей в Стокгольм. А ковер-де — подарок бывшего хозяина, Путилова.

Когда Лили подошла в вестибюле к Варфоломееву и заговорила, — Хаджет Лаше и Биттенбиндер стояли в двух шагах. Лили была как под гипнозом. Варфоломеев сначала слушал подозрительно. Но у Лили от волнения выступили слезы, бормотала она так бессвязно и жалобно, что его широкое крепкое лицо вдруг смягчилось, виски у глаз собрались морщинками, но неожиданно все едва не сорвалось: он просто предложил ей эти пятьдесят крон взаймы. Лили растерялась. В нее воткнулись черные глаза Хаджет Лаше. Лили замотала головой. Варфоломеев настаивал

и уже вынул деньги. Тогда Хаджет Лаше решительно вмешался:

— Простите, сударыня, — сказал он Лили, — я нечаянно подслушал ваше предложение господину... (Высокомерно поклонился насупившемуся Варфоломееву)... За персидский ковер я мог бы дать более высокую цену...

Лили (как условлено) ответила, что уже сговорилась с господином... Лаше, ворча, отошел... Варфоломеев пожелал сейчас же взглянуть на ковер. Лили попросила подождать до вечера. В сумерки они встретились у выхода из гостиницы и сели в поджидавшее такси. За шофера сидел сын генерала Гиссера, Жоржик, контуженный на войне, с разстроенными умственными способностями, но ловкий и отчаянный автомобилист. Выбравшись из людной части города, он на ураганной скорости погнал машину в Баль Станес.

Все дело прошло как по маслу. У Варфоломеева не закралось подозрения, даже когда Лили ввела его в темную дачу, попросила подняться наверх, в гостиную и, не зажигая света, оставила одного.

Лили тотчас же увезли обратно в Стокгольм. Когда на утро она и Мари вернулись, на даче никого уже не было, одна Вера Юрьевна заперлась на ключ и не откликнулась. Неожиданно Лили обнаружил разгром у себя в комнате (наверху, рядом с гостиной), — одеяло с постели сорвано, простыни исчезли. Лили и Мари обошли оба этажа: все — на местах, как и стояло, только в гостиной паркетный пол как будто недавно вымыт. Сунулись опять к Вере Юрьевне, — к себе не пустила, не то плакала, не то шипела, как змея, за дверью... Хотя такое ее настроение отчасти понятно после внезапного отъезда Василия Алексеевича Налымова в Париж вместе с Александром Левантом.

От всех этих непонятных вещей Лили отмахнулась было, — не стала углублять явлений: миновало что-то такое и — ладно. Во вчерашней газете прочла, что полиция «идет по следу таинственного преступления...». Явления сами влезали в ее жизнь. От страха у нее расстроился кишечник. Всю ночь прислушивалась к шорохам, но полиция не являлась в Баль Станес. Началось томительное ожидание

катастрофы. Все тело точно измолотили невидимыми дубинками. Сейчас Лили сидела в вестибюле и воспаленными кончиками нервов ждала громового голоса: «Сударыня, вы задержаны, следуйте за мной»... Что там будет после — не так уже страшно, как эта первая минута, — серебряные пуговицы и — тяжелая рука ложится на плечо. Лили поджимала на ногах, как обезьянка, ледяные пальцы. Надо всем тяготела воля Хаджет Лаше, приказавшего завтра привести на дачу Леви Левицкого.

Он был предварительно проработан. Третьего дня ему опять показали Веру Юрьевну. (Накануне за уроком Лили сообщила, что княгиня будет в Стокгольме у ювелира). Леви Левицкий оделся в коверкотовый костюм, — жемчужно-серая шляпа, лакированные туфли, дорогая тросточка. Вера Юрьевна подошла в машине (шофер — Жоржик), вышла и остановилась у витрины, где на черном бархате колючими лучами переливались камни. Вера Юрьевна была в седых соболях, бледна, потрясающе шикарная. Перед витриной, в блестящей суете улицы эта неподвижная, высокая и недоступная женщина (она и глазом не повела на него) отшибла у Леви Левицкого остатки благоразумия. Он намеревался заговорить и заробел, — должно быть, просто был смешон в эту минуту: несколько прохожих отпустили ему шуточки.

Вера Юрьевна, как королева, вернулась в автомобиль и исчезла среди несущихся вниз по крутой улице машин, автобусов, трамваев...

На диван рядом с Лили кто-то тяжело плюхнулся. Она обмерла. Горячая рука легла на ее колено. Это был Леви Левицкий в коверкотовом костюме:

— Когда же, когда, Елизавета Николаевна? Завтра, наверное?

— Да... (Чуть слышно)... Завтра... Вечером... (Отвернулась).

— Вы чем-то расстроены, золоткое? Ну, ну, ну... (Потрепал по колену). Только шепните про меня хорошенько княгине — ничего для вас не пожалею... Я, кажется, не на шутку влюблен. Ах, какая женщина!.. Слушайте, в чем дело: с кем она живет?

— Ни с кем...

— А что за человек этот Хаджет Ла-

ше? Он, кажется, не плохой парень... Но как — она с ним?

Лили поглотала слюну, — средство не помогло, как из лейки вдруг брызнули слезы. Уткнулась в платок, он сразу вымок. Леви Левицкий с горячей отзывчивостью сжал ее руки, нагнулся к лицу:

— Детка моя, кто же вас так расстроил? Можно же помочь, как-нибудь. Ай, ай, ай... Денег что ли нет? Э, бросьте, а Леви Левицкий-то на что? Эка мелочь — деньги... Пойдемте-ка, золотко, ко мне в номер да выложите мне все, как родному брату, по душам...

Лили ладонями зажала трясущийся рот, чтобы не заорать на весь вестибюль. Кое-кто из Уверенных стал уже оборачиваться с негодованием на скандал. Нахмурился портье за медью окованной конторкой. Тогда Лили стащила

с себя шапочку и закрыла ею лицо. Еще секунда, и она уткнулась бы в грудь этого доброго и совсем неплохого Леви Левицкого и вырыдала бы всю свою отчаянную растерзанность. Но во-время от безумного шага удержал ее пристальный взгляд Биттенбиндера, — поручик был в смокинге, в шелковом цилиндре, с черным плащом на руке, — закуривая папиросу, нагнул голову и исподлобья взглянул на Лили.

— Нет, я оттого, что моя мамочка при смерти, — пробормотала она раз навсегда вбитую в ее глупую голову формулу — на случай, если смутится или расстроится и ее спросят... Леви Левицкому вспомнился зарубленный петлюровцами папашка. Искренно и пылко жалея Лили, он настоял, чтобы она пошла с ним ужинать. Биттенбиндер сделал знак, и Лили согласилась.

(Продолжение следует)

Записки спутника

Воспоминания

ЛЕВ НИКУЛИН

(Продолжение ¹)

4. Афганистан

Бывший бурильщик на нефтяных промыслах Уайли Пост и бывший штурман Гарольд Гэти, американские летчики, сделали кругосветный перелет в 8 дней 15 часов и 51 минуту. Таким образом новый Жюль Верн должен внести еще одну поправку в знаменитый роман для юношества «Вокруг света в восемьдесят дней».

Стенли пересек Африку с востока на запад в восемнадцать месяцев. Сейчас железнодорожная магистраль доведена до реки Конго, и путь Стенли можно совершить в шесть-восемь дней. В июне 1931 года автомобилем типа «Сахара» с гусеничной передачей пересекли Афганистан от персидской границы до Балха. Не знаю, во сколько именно дней сделано это путешествие, но я знаю, что наши самолеты гражданской авиации давно летают из Термеза в Кабул и в несколько часов делают путь, который отнимал у наших дипломатических курьеров две-три недели. Летом 1921 года советская дипломатическая миссия тридцать пять дней путешествовала от крепости Кушка до столицы Афганистана Кабул по Хезарийской дороге. Поэтому, когда я пробую описать наши странствия по Афганистану и афганское бытие в 1921 году, читатель 1931 года может читать их с усмешкой, почти так, как он читает путешествие из Пешавера в Кабул истан и Бухару «лейтенанта Ост-Индийской Компанейской службы» Але-

ксандра Бэрнс, убитого в Кабуле в 1841 году.

После такого вступления я могу рассказать, что происходило в пограничной крепости Кушка 3 июня 1921 года. На запасном пути стоял эшелон особого назначения. У эшелона, прямо на путях, ржали, лягались, кусались сто вьючных и верховых афганских коней, и конюхи-каракеши проклинали лошадей на фарси, индустани и тюркском языке. Вокруг стояло изумленное население Кушки, а над нами всеми поднимались бурые и желтые горы и крепостные форты.

Крепость Кушка была не слишком избалована историческими событиями. Историки дважды интересовались самым южным пунктом бывшей Российской империи. Однажды, когда колонизаторы Туркестана дотянулись до этих желто-бурых гор, и во второй раз, когда лихие туркестанские полковники при Александре III миротворце устроили у Таш-Кепри маленькую войну афганцам.

Когда игра была выиграна Лондоном, лихие полковники генерального штаба Туркестанского военного округа утешали себя дружой, более невинной военной игрой. Они наносили на карту-трехверстку кратчайший путь в Индию через Герат — Кандагар, путь, намеченный еще Наполеоном. По их приказанию в крепости Кушка держали наготове шпалы, рельсы, стрелки и подвижной состав воображаемой железнодорожной линии Кушка—Герат. Ее можно было уложить и пустить по ней воинские эшелоны через неделю после пере-

¹) См. «Новый мир», кн.кн. 7—8 с. г.

хода границы. Но обер-офицеры кушкского гарнизона не обольщали себя мыслями о будущем завоевании Индии. Они пили мертвую и выдумали от скуки знаменитую игру в «кукушку», которая заключалась в том, что в темной комнате один офицер куковал кукушкой, а другой стрелял в него из револьвера на голос. От тех времен остались смутные легенды, полуразрушенный монумент на горе и собор, превращенный в клуб, и конечно осталась скука, с которой мужественно боролся гарнизонный культпросвет посредством кино и театральных кружков. В 1921 году сюда дважды в неделю заходил поезд «водянка», поезд, развозивший воду по станциям и полустанкам от Мерва до Кушки. Один раз в месяц приезжали дипкурьеры из Ташкента в Герат и Кабул, и раз в два месяца приезжал афганский дипкурьер из Кабула в Ташкент, стройный и легкий, в сиреновом френче и хрустящих лимонно-желтых сапогах и ремнях. Но однажды в июне, когда даже «водянка» не могла выманить из тени дежурного по станции, появился поезд особого назначения — два мягких вагона, шесть теплушек, сто лошадей, тридцать каракешей и почетный афганский конвой — сто кавалеристов при карнейле (полковике) и рисальдаре (ротмистре). Это было третье в истории Кушки событие, приезд на афганскую границу советской дипломатической миссии, полномочного представителя РСФСР в Афганистане и тридцати двух сотрудников представительства.

Мы долго странствовали от Москвы до афганской границы. Поезд особого назначения сначала побывал в пробке, которая образовалась в Самаре, потом долго шел в хвосте эшелонов с продовольственными грузами, потом неделю простоял у станции Джусалы, где горная речонка размыла путь и железнодорожный мост держался на честном слове над бурным и мутным потоком. Солнце Ташкента и Мерва растопило и выжгло лак и краску отремонтированных, свежее выкрашенных вагонов. Людям мочили волжские ливни, слепили казакстанские ветры и степные пески, доводило до полного изнеможения и отчаянья солнце Мерва. Они до-

вольно туманно представляли себе ту страну, куда их нес ветер событий. Из географии они знали, что «Афганистан — гористая страна, населенная воинственными племенами» и что «на западе Афганистан граничит с Персией, на севере — с Среднеазиатскими владениями, на юге — с Британской Индией, на востоке...» На востоке начинался повидимому край света, и география «в курсе среднеучебных заведений» невразумительно называла Памир, Читрал и Гиндукуш. На карте эти места обозначались множеством тусениц — горных хребтов. Но еще год назад, в 1919 и 1920 годах станция Круты, или Гуляй-Поле, представляли непроходимые джунгли, джунгли, по которым на тачанках носилось воинственное племя махновцев, а на возах странствовали добрые хуторяне с обрезками под охалкой сена. Ровно два месяца назад мои сверстники спускались на кронштадский лед, и впервые в военной истории морская крепость была взята штурмом силами пехоты и кавалерии. «Гористая страна, населенная разбойничьими племенами», не пугала моего сверстника, но все же был какой-то предел его воображению. Он добросовестно читал описания поездки из Индии в Афганистан лейтенанта Бэрнс в 1831 году и путешествие Гамильтона, и записки Яворского, состоявшего в миссии генерала Столетова. Из истории он узнал, что англичане вели бесславные войны с афганцами и, проигрывая сражения, неизменно выигрывали при заключении мира. Эмиры Абдурахман и Хабибула признали контроль Англии над внешней политикой Афганистана, и до 1919 года Афганистан был запретной страной для европейцев. Эмир Аманулла не был прямым наследником престола, его отец и брат умерли насильственной смертью при невыясненных обстоятельствах. Это не первый случай в истории мусульманских государств, и появление на престоле Амануллы-хана не вызвало удивления. Но многие удивились тому, что молодой эмир проявил странную самостоятельность и начал непродолжительную войну с Англией. Британия только что вышла из мировой войны, у нее было достаточно хлопот с переустройством европейских государств и

выпрямлением европейских границ, чтобы обременять себя осложнениями на северо-западной границе Индии. На севере Афганистана утвердилась страна Советов, и потому Англия признала афганскую независимость. 28 февраля 1921 года в Москве был подписан советско-афганский договор. Чрезвычайный полномочный представитель РСФСР Я. З. Суриц прожил в Кабуле около двух лет и подготовил договор— дружественное соглашение Советской республики и Афганистана. То, что не удалось и не могло не удасться «белым генералам» и титулованным дипломатам школы канцлера князя Горчакова, было осуществлено под руководством Ленина, людьми, которые в ссылке, эмиграции и подполье не обучались тонкостям и уверткам старой империалистической дипломатии. Таким образом гений революции мимоходом, запросто решил еще одну неразрешимую для старой России, царской России задачу.

Ф. Ф. Раскольников должен был сменить чрезвычайного полпреда РСФСР.

Здесь я временно обрываю фактическую часть записок, чтобы возвратиться к ней, когда в этом будет необходимость. Существует специальная литература об Афганистане, из года в год она пополняется ценными научными трудами. У моих записок совсем другая задача. Я хотел бы, не впадая в сомнительную экзотику, рассказать о том, как жила в Афганистане группа советских граждан десять лет назад.

18 марта 1921 года было эпилогом гражданской войны. Кронштадт пал. Красной армии предстояло прикончить кулацкие банды. Это была сравнительно нетрудная задача, потому что замена разверстки продовольственным налогом и новая экономическая политика оставили банды в одиночестве и лишили их союзников среди «мелких производителей». Страна Советов переходила к мирному строительству. На этом историческом перевале тридцать два человека оставляли единственный в мире передовой государственный строй — республику Советов и отправлялись в средние века — в мусульманскую средневековую страну. Мы оставляли республику, где на Украине

в 1919 году народным комиссаром пропаганды была женщина, и отправлялись в Афганистан, где за четырнадцать месяцев ни один из нас ни разу не видел афганской женщины без чадры и не сказал с ней ни слова. Мы отправлялись в страну, где не было ни одной шоссеиной дороги, и только горные тропы соединяли главные города провинции со столицей. Наконец мы отправлялись в страну родовых и племенных войн, дворцовых переворотов, тайных убийств: там два года назад еще торговали рабами, там сумасшедшие фанатики еще бросались с пожами на европейцев, там великобританский посол майор Кавеняри испытал судьбу императорского посланника Грибоедова. Товарищи провожали нас так, как провожают вызвавшихся итти в рискованную разведку. Владимир Владимирович Маяковский лаконически спросил: «Там на кол сажают, или как?»— и простился с благожелательным любопытством.

Две недели мы жили в Ташкенте, пока правительство Высокого и Независимого Афганистана готовило достойную с его точки зрения встречу советской дипломатической миссии. После Ташкента была Бухара, встречи и речи, и ответные банкеты народным назирам Бухарской республики. Затем Чарджуй, где мы прощались с Балтийским флотом—с Чарджуйской военной флотилией. Командовал флотилией Миша Калинин, военные моряки флотилии были балтийцы, направленные в Чарджуй из Петроморбазы, скучающие от жары и странностей Аму-Дарьи, от риса, баранины и урюка и от отсутствия капусты. С точки зрения балтийца Аму-Дарья была странная река. Она разливалась поздним летом, когда таяли горные снега, она вдруг меняла фарватер, появлялась и внезапно пряталась в песках, как внезапно нападали и прятались басмаческие банды. Я посмотрел на Мишу Калинина и угадал безошибочно, что это не последняя наша встреча и что он не сможет отделить свою судьбу от судьбы тридцати двух странников. И действительно однажды поздним вечером он появился под чирной во дворе полномочного представительства РСФСР в Кабуле. Но еще

раньше прискакал из Термеза на диком и могучем сером жеребце брат Михаила Калинина Борис и привел в изумление афганцев неутомимостью, свойственной одним прирожденным кочевникам. Разведчики и осведомители одной граничащей с Афганистаном державы были, я думаю, озадачены и удивлены путешествием военных моряков в страну, не имеющую выхода к морю. Но люди, сблизившиеся на фронте, предпочитали не расставаться в тылу, на мирной работе, хотя бы эта работа и не имела ничего общего с фронтовой, военной работой. Поэтому среди тридцати двух сотрудников дипломатической миссии две трети были военными моряками, бывшими штабными и политическими работниками флота. И они сели на коней в Кушке и отправились в дальние странствия с таким видом, как будто они были прирожденные наездники и прирожденные работники по ведомству иностранных дел. В этом было много смешного, иногда и печального, но сейчас, на расстоянии десяти истекших лет, первые шаги советской дипломатии в Средней Азии принимаешь как начало эры, как новую эпоху полного отрешения от методов империалистической политики на Востоке. А курьезы принимаешь как исторические курьезы и только.

Несчастья начались от Кушки,
 Когда на бешеных коней
 Без одеял и без подушек
 Уселось множество людей...

Так начиналась шуточная поэма Ларисы Рейснер. «Несчастья начались от Кушки» и продолжались, пока всадники привыкали к афганским коням, а кони к всадникам. Разумеется, не все сотрудники нашей миссии были прирожденными кавалеристами, однако все более или менее привыкли к европейским выездным лошадям, повинующимся поводу и приученным к рыси. Мы никак не могли сразу понять характер и привычки афганского иноходца, норотившего укусить всадника за ногу и лягнуть первого встречного, а афганский иноходец не понимал привычек всадника-европейца. Мог ли товарищ Ц., заведующий нашей финансовой частью, бывший кандидат

прав, предполагать, что ему придется сделать тысячу километров по горным тропам и преодолевать перевалы в двенадцать тысяч футов над уровнем моря. А товарищ Р., переводчица, сотрудница бюро печати, приучена ли была к путешествию на носилках, укрепленных на спинах двух запряженных гуськом лошадей? Это сооружение называлось «тахтараван», оно было покрыто малиновым или яркожелтым чехлом и выглядело декоративно и очень к месту, скажем, на сцене в балете «Шехерезада». Но передвигаться в нем по карнизу в полметра ширины над пропастью или трястись, когда афганские лошади внезапно переходили в галоп, было невыносимо для самого неприхотливого путешественника.

Наконец запела труба, и сто всадников и сорок вьючных коней растянулись по улицам Кушки и покинули крепостной городок, провожаемые всем населением крепости. Дальняя родина — Украина — вдруг простилась со мной поселком Полтавским, украинским селом, оказавшимся в одном километре от крепости Кушка. Некогда по приказу туркестанских генералов привезли сюда и поселили чоловиков и жинок, дивчат и парубков из Полтавщины. И матросы-украинцы из конвоя полномочного представительства долго оглядывались на вишневые сады и крытые соломой хаты, плетни и перелазы, и криницу, до того было удивительно им увидеть украинское село на афганской границе.

Мне попалась тощая старая лошадь. Она совершала свой последний рейс, переставляя ноги, как подагрик костыли, и на последнем перегоне я увидел старого ветерана мертвым, ободраным и брошенным на дороге, а его шкуру за седлом афганского конюха. В первый же вечер мой бедный, старый конь отстал от каравана и, чтобы сократить путь, афганские конвоиры свернули в сторону от караванной дороги. Мы шли по пересохшему руслу горной речки, и нам даже не пришло в голову, что копыта коней ступают по самой границе. Желто-бурые горы, знакомый пейзаж Туркмении, нисколько не менялись перед глазами, между тем афганский солдат блеснул глазами и, очертив

взмахом руки полукруг, сказал гортанным голосом: «Афганистан». Полчаса назад мы незаметно для себя перешли границу. Мы даже не успели проститься с нашими пограничниками, — они все собрались на советском посту, — и мы не увидели церемонии первой встречи представителя РСФСР с афганскими пограничными войсками и властями. И мы последними приехали на пост Чильдухтеран, когда чужие звезды, звезды Афганистана, уже мигали над раскинутыми на афганской земле палатками.

Пусть мне простят короткое лирическое отступление.

Муза дальних странствий, неутомная, неутомимая муза! В ранней юности трехмачтовый парусный корабль, учебное судно школы мореплавания, было пределом наших мечтаний. Так смотрели абхазские комсомольцы на трехмачтовый парусник «Товарищ» в Батумском порту. Так девушка в голубой майке провожает взглядом серебряную птицу юнкерса, удаляющуюся на юг. В юности мы мечтали о парусных кораблях капитана Фракаса и Фомы Ягненка. В зрелые годы я увидел Сен-Мало орлиное гнездо Фомы. Под стенами и старинными бастионами гуляли джентльмены в разноцветных купальных халатах и прятались от солнца золотозубые англичанки. Я видел на Гвадалквивире каравеллу Колумба и увидел «Бремен», быстрейший в мире трансатлантический пароход, и понял, что время каравелл и бригов безвозвратно прошло. И понял, что хорошо жить в век «Бремена» и самолета Дорнье, поднимающего в воздух 162 человека. Все же «медленный шаг каравана» в горах Афганистана имел для нас неизъяснимую прелесть, может быть, потому, что это был самый древний способ передвижения человечества. Романтические чувства молодости вернулись и не оставляли нас в этом тридцатидневном путешествии. Медленный шаг каравана позволял нам видеть и запоминать все вокруг. Мы пили кумыс и овечье молоко под черными шатрами «хана и сиа» у кочевников. Мы заглядывали в ущелья, где в идиллической тишине меланхолически журчали изумрудные горные ручьи. Мы подкрадывались к грифам с го-

лой, точно ободранной шеей и ошейником из торчащих перьев. Мы давили сонных змей и пугали скорпионов и фаланг в размытых дождями, разрушенных дозорных башнях эпохи Великого Могола. Азия повернула к нам свой древний и неподвижный лик. Мы спускались в долины. Соединенные цепями, вьючные лошади, упираясь копытами в землю, съезжали по крутой горной тропе. Вьюки сползали им на шею. От исступленного крика розовая пена выступала на губах каракешей. Спешенные всадники шли, держась за конские хвосты, стараясь не глядеть в пропасть. Это был единственный горный перевал на пути в Герат. Кажется, афганцы оставили его в таком девственно-диком виде со специальной, устрашающей целью. Десять лет назад Афганистан показывал себя без прикрас, вплотную, лицом к лицу. Иногда это лицо благодушно улыбалось. Средневековая Азия встречала странника традиционным гостеприимством, радовала его тенью палаток на привале, треском горящего саксаула, дразнящим запахом плова, синим дымком чилима, заменяющего здесь кальян. До Ардеванского перевала — прохладных ущелий, горных изумрудных потоков — было тридцать пять километров безводной равнины, изредка перерезанной оросительными каналами, сожженной безжалостным солнцем. Это был утомительный и долгий переход. Синий горный хребет Паратамиз, тройная линия горных гребней лежала перед нами на горизонте. Четыре, пять и шесть часов мы шли против солнца к проклятому горному хребту, но он был недосыгаем, он как бы уходил от нас, меняя цвета и оттенки. На закате солнца он стал иссиня-черным и наконец пропал в темноте.

Желанный привал под зубчатой, высокой стеной афганской деревни. На стене стояли седобородые старики в чалмах, они опирались на посохи, как библейские старцы, и строго смотрели вниз, на дымящие костры, палатки, вьюки и невиданных гостей-чужестранцев. А гости сидели за шаткими походными столами. Свечи под стеклянными колпачками освещали три разнообразных плова, баранину в расточлен-

ном жире, чечевичную кашу — чудеса афганской походной кухни. Зеленый утоляющий жажду чай «чай-и-зард» в кузнецовских трактирных чайниках с розанами и кузнецовских чашках, окончательно победивших в Афганистане английские спиртовки и термосы. Гости пили чай из кузнецовских чашек, ели белый хлеб, похожий на кавказский лаваш, и еще не знали, что староста афганской деревни, тоже библейский старец, получил пятьдесят плетей за то, что его хлеб оказался черствым прислуживающему высоким гостям мехмандару. А если бы гости и знали об этом, то вряд ли они могли втолковать мелкому чиновнику, старшему слуге наместника Гератской провинции, начальные основы гуманности. Он был и смешон и страшен, — толстый, приторно-ласковый человек с эспаньолкой, с бирюзовыми кольцами на коротеньких пальцах-обрубках, в сером в клетку галифе и гремящих оранжевых крагах. В тот вечер с ним случился трагикомический эпизод, анекдот из эпохи первых шагов нашей дипломатической деятельности. Переводчиком при миссии был Джелали, добродушный и невозмутимый малый, узбек из Ташкента. У него был только один существенный для его должности недостаток, — он одинаково плохо знал русский и персидский язык, на котором говорили афганцы. В тот вечер бирюзовый мехмандар сделал все для того, чтобы угодить высоким гостям, и Ф. Ф. Раскольников сказал Джелали: «Переведите ему, что я от моего лица и лица моих спутников благодарю наместника...» и далее все, что полагается говорить в таких случаях. Наш переводчик произнес только одну непонятную для нас персидскую фразу, но эта одна фраза имела потрясающее действие. Сладчайшая улыбка слияла с лица мехмандара, и слуги, закрыв лицо руками, бросились прочь от стола. И когда в Герате настоящий переводчик расспросил афганцев об этом эпизоде, то оказалось, что слова «от моего лица и лица моих спутников» Джелали перевел буквально так: «Удадитесь от моего лица и лица моих спутников». Мы загладили этот эпизод мимикой и благожелательными жестами.

Черная южная ночь и большие южные звезды. Дует прохладный ветер, ласковый, услужливый, отгоняющий москитов ветерок. Но за горным перевалом легкие зефиры обращаются в яростный вихрь, в горячий ветер, возникающий с точностью хронометра на закате солнца. Четыре часа дует этот бешеный ветер и спадает так же внезапно, как возникает из пустыни. Он дует изо дня в день сто двадцать дней в году. В Бухаре его называют «афганцем».

Лагерь спит. Афганский часовой ходит у выюков. Из нашей палатки уже в полусне мы следим за полуоборотами, сложной шагистикой и старинными ружейными артикулами афганского солдата и затем засыпаем сразу под плач, визг и стенания шакалов.

На четвертый день путешествия мы спустились в долину Герируда и увидели восемь высоких, прямых и слегка наклонных колонн, похожих на фабричные трубы. Это были минареты «железного храма» Тамерлана, Тимура. Они поднимались над тропической зеленью садов Герата. Это было на четвертые сутки; курьерский поезд успел бы пройти расстояние от Москвы до Тифлиса, мы же сделали всего сто двадцать пять километров. Вот темпы тысячелетней Азии.

Нас задержали еще на один час на спуске к Герату. Мелочи имеют свой смысл и значение на Востоке, и эта мелочь тоже имела свой смысл и историю, связанную, как ни странно, с Тимуром и его минаретами. В день приезда в Герат нашей миссии, за час до торжественной встречи, рухнул один из минаретов Тимура. Как могли понять и истолковать эту случайность люди средних веков? Дурное предзнаменование? Война, тяжелое испытание для всей страны и города Герата? И в ту же минуту чиновники и офицеры понеслись на резвых конях к наместнику провинции девяностолетнему старцу, деду эмира, «который мудр и знает все лучше любого ученого муллы». Старец подумал и спросил: «Как упал минарет? Поперек или вдоль дороги, по которой едет высокий гость?» На наше счастье минарет упал вдоль дороги, верхушкой к кабульским воро-

там, как бы указывая путь в Кабул. И потому пушечный салют приветствовал «азрет али сафир саиба», посла дружественной страны. Караван тронулся к Герату. Четыре кареты выехали навстречу гостям, и почетный эскорт афганских кавалеристов, склонив пики, ринулся в гору, как бы атакуя наш караван. Мы спустились к могиле Маулеви Джами, поэта Джами, еще не зная, какие события предшествовали пушечному салюту в честь полпреда РСФСР.

Могилы поэта, столетний кедр, мраморное резное надгробие,—сколько раз они были целью наших прогулок в Герате. Чернобородые, молчаливые, задумчивые афганцы, их жены—бесформенные коконы, закутанные в чадры,—сидели в тени старых кедров. Они даже не поворачивались в сторону безбожников-чужестранцев. Мы бродили вокруг бассейна, птицы пели над могилой поэта, и пейзаж, который мог бы растрогать любого ориентального романиста, долина, синие и лиловые горы, голубая эмаль минаретов, башни и стены Герата были просто невыносимы. Это происходило: потому, что шесть человек прожили почти год на положении Робинзонов среди ориентальной меланхолии и экзотического великолепия гератского пейзажа. Как это случилось, я расскажу впоследствии.

Мы въехали в Герат, не выходя из состояния глубокого изумления. Представьте себе группу политических и военных работников, приученных к суровому быту эпохи военного коммунизма, к товарищеской простоте и известной грубости в речах и поступках. Представьте себе северян, привыкших к скупым белесым тонам и полутонам Севера, к великорусскому пейзажу, березкам, «безгласности, безбрежности, манящим высям, уходящим далям» и к серенькой ряби Маркизовой Лужки. И вдруг эти люди брошены в субтропики, в благодатную долину, обведенную тройной каймой горных хребтов, в темнозеленую листву чинара, в нежную зелень абрикосовых садов и в топкие болота рисовых полей. Ночь мы провели на верблюжьей кошме и видели на твердой, обожженной, как глиняный горшок, земле клешни и рачью шейку скорпиона и пружинное тело фалан-

ги. Шакалы оплакивали нас пронзительными голосами плачущих младенцев. Змеи поднимали из камней трехгранные головки. А утром нас ослепила зелень и солнце, нас оглушил салют из заряжающихся с дула пушек и иступленный рев тромбонов и барабанная дробь афганских оркестров. Мои товарищи, скромные люди, видевшие тиф и непогоду, и смерть, и суровые, трудовые будни, сделались участниками пышного и парадного спектакля, напоминающего шествие султанши в сказках Шехерезады или парад Черномора в «Руслане». Город Герат, зубчатые стены, башни и крепостные ворота были дальним планом неправдоподобно прекрасной докораации. И мы, невольные актеры пышного спектакля, были так же интересны для его зрителей, как зрители были интересны для нас. Тысячи и тысячи людей стояли по сторонам дороги, на холмах, на плоских крышах домов, на глинобитных оградах садов. Дети, взрослые и старики (ни одной женщины) — все были одеты в однообразные цвета, в белое — «патлун кандагари» (необъятные шальвары, ниспадающие до туфель с закрученными носами) и коричневое — род жилета из мохнатой домотканной материи. Сорок «газ» белоснежной маты идет на чалму афганца, ровно столько тонкого полотна, сколько нужно, чтобы обернуть и закутать тело правовежного в его смертный час. На скромном бело-коричневом фоне, у горных склонов цвета обожженной глины, неистовствовала зелень садов, голубизна минаретов, свирепствовал пожар медных труб, золотой и огненно-алый фейерверк мундиров, эполет, плюмажей и аксельбантов афганского генералитета. Рядом с беснованием золота и алого сукна мы вдруг увидели старомодные черные стуртуки афганских купцов, европейские, семидесятих годов стуртуки при белоснежных шальварах, туфлях «пешаури» и неизменных чалмах, завязанных с недостижимым искусством. Генералитет и нотабли города Герата стояли на фоне белоснежной, раскинутой полукругом палатки, задыхаясь от жары и размокая от пота в своих алых мундирах и черных стуртуках. Наш караван приближался в облаках белой пыли, дорога

дымилась за нами почти на полкилометра. Он начинался авангардом афганских кавлеристов и старинными каретами, которые ожидали нас у могилы Джамии. За каретами, качаясь, плыли малиновые и оранжевые чехлы тахтараванов, затем ехали восемь матросов—конвой полпреда,—ехали с независимым и небрежным видом, как ездят верхом только матросы. Их бескозырки, ленточки и синие воротники были в странном несоответствии с азиатскими седлами и сбруей. За ними ехали сотрудники полпредства в штатском и в полувоенной форме, дальше все тонulo в белом облаке пыли, поднятой выючными конями. Кареты остановились у белой палатки. Человек в красных кавалерийских штанах, штатском пиджаке и красноармейском шлеме первым пошел навстречу и быстро сказал по-русски: «Здравствуйте, товарищи, я генконсул С.». В глазах у него было нетерпение, тоска от жары и вместе с тем покорность долгу: «Комедия, жара, вообще скука, но что поделаешь. Полагается—терплю». Мы идем к огненно-золотому полукругу мундиров и черной кайме сюртуков. Высокий, с матово-желтым лицом старик в мундире городничего из «Ревизора», не поднимая глаз, тихим, несколько монотонным голосом начинает приветственную речь. Он говорит десять-пятнадцать минут на мелодичном и звучном языке Саади. Возможно, эта речь полна метафор в восточном вкусе, витиеватых сравнений, глубокомысленных исторических сопоставлений,—мы слышали знакомые имена султана Бабера и Сулеймана Великолепного и Александра Македонского—Искандера—и имя Михаила Ивановича Калинина. Наконец он кончил речь. Наш Джелали переводит ее одним духом, лаконической фразой: «Он сказал, слава богу хорошо доехали. Можно ехать дальше».

Кареты трогаются, и между двух минаретов мы медленно двигаемся к прямоугольнику стен и башен Герата. Вблизи Герат перестает быть декорацией. Стены и башни, оказывается, имеют объем и все три измерения. Нищие в неопикуемых лохмотьях, изъеденные пендинской язвой и волчанкой бегут за каретой.

Мы приехали в Герат.

Во дворе загорбного дома «Баг-и Шахи» (можно перевести «царский сад») в тени галлерей стоял бритый наголо человек в визитке. Он курил сигарету, вокруг стояли матросы и смотрели, как афганский слуга отгонял мух от его голого черепа. Это был врач генерального консульства Гуго Дэрвиз, австриец из бывших военнопленных, бывший венский студент, славный малый, хороший товарищу, но по внешности типичный немецкий бурш. Он уже однажды был в Кабуле и в Персии и потому считался у нас признанным ориенталистом.

Он любил поговорить, говорил много и довольно бессвязно, с некоторым трудом справляясь с русским языком, прищелкивая языком и пальцами, когда не сразу находил нужные слова. Изумляясь и недоумевая, издали смотрел на него секретарь консульства и в десятый раз задавал себе вопрос, имеет ли право советский служащий вынуждать афганского слугу отгонять от себя мух и нет ли в этом унижения человеческого достоинства. Но так как было известно, что данный слуга есть переодетый полицейский, то можно ли говорить о человеческом достоинстве полицейского? «Престиж,—между тем философствовал доктор Дэрвиз,—я имею в виду, то-есть я хотел бы сказать, дело в следующем...» И он щелкал языком и пальцами. «Восток, как таковой, есть восток. Я имею в виду престиж. То-есть дело в том, что...» Дальше следовали подкрепленные историческими фактами и ссылкой на авторитет Керзона и знаменитого ориенталиста Бартольда разъяснение разницы между пушечным салютом в двадцать один и сто один выстрел и разъяснение, кого именно следует титуловать «дже-наби», а кого «азрет али» и далее еще о том, что ни в коем случае нельзя справляться у афганца о здоровье его супруги, потому что это абсолютно неприлично с точки зрения мусульманина. Матросы и сотрудники полпредства слушали лекцию о престиже европейца в суверенных государствах Средней Азии, а афганский хан, уездный хаким, величественный и равнодушный, сидел на ковре у дверей комнаты доктора. Хан был болен венерической болезнью

и сделал в этот день пятьдесят километров, чтобы посоветоваться с «дже-наби доктор саиб».

Узкая каменная лестница, завиваясь винтом внутри башни, вела в крытую галерею, огибающую дом со всех четырех сторон. Галерея напоминала далубу речного парохода, и сам дом был похож по форме на двухэтажный речной пароход с флагштоком на плоской крыше. От главного фасада дома к городским воротам вела широкая дорога. Перед домом, на рисовых полях, работали тихие и покорные крестьяне. Когда всадник проезжал по дороге, они поднимали руку козырьком к глазам, совершенно как жнецы на наших полях. Рассмотрев герб Афганистана на шапке, низко кланялись, приложив руку ко лбу. Мы называли эту гладкую, как стол, и пустынную дорогу Елисейские поля. Однажды в день здесь проезжал крестьянин верхом на ослике. Осел, не торопясь, переставлял стройные ножки, а хозяин пронзительно, на одной ноте, пел песню и покалывал ослика шилом в зад—нормальный способ понуждания. На сухой и злой горной лошади проезжал афганец и женщина, закутанная от головы до ног в сиреневое покрывало. Лошадь шла чуть чуть боком, мелкой иноходью, афганец сидел в седле, как в кресле, и слегка дремал, и конец его чалмы развевался в воздухе. Женщина сидела у него за спиной легко и непринужденно, с привычной, врожденной грацией. И все. Часы и дни, и недели, и месяцы—широкая пустынная дорога, башни, рисовые поля, бурые горные склоны. Афганские часовые—конвой консульства,—стацив с себя штаны и башмаки, в форменных куртках и белых шальварах дремали на пороге караульной будки. Рисальдар Худабаш-хан, комендант консульства, иногда выходил к воротам и нюхал смятую розу или играл четками. В глазах у него была меланхолия и равнодушие к окружающему.

Не думай о награде, которую ты ожидал
и она обманула тебя.

Ничего не жди, ни о чем не жалеи, и ты
будешь счастлив.

Все, что случится с тобой, давно написано
в книге.

И эту книгу наугад перелистывает ветер
вечности.

Но пока караван был в Герате, сто лошадей бряцали сбруей, кусались и ржали вокруг дома, орали каракешы, жарился плов и стоял такой гам и рев, что матросы называли это место «сорочинский ярмарок».

«Баг-и-Шахи» принадлежал богатому хану, феодалу, которого казнил эмир Абдурахман. Нижний этаж был построен еще при персах, а персы в последний раз были в Герате в XVIII в. при Надир-шахе. В нижнем этаже, в полуподземном зале, жил «дженаби доктор саиб», доктор Дэрвиз. Здесь было всегда прохладно, потому что не было окон, и каменный пол обильно поливался водой. И потому комната доктора была в роде клуба. Пахло аптекой,—европейской аптеки в Герате не было,—доктор составлял сам лекарства при помощи нескольких мензурок, пробирок и аптечных весов. В весах кой-чего нехватало и успешно заменялось камешками и афганскими монетками. Лекарства не помогали и не вредили. Больные афганцы не уважали европейских лекарств, потому что «тот, который мудр и знает все лучше любого муллы»,—девяностолетний наместник,—утверждал, что афганцы вообще болеют от европейских лекарств. В подземный зал афганцы входили с опаской. Так в средние века входили в лабораторию алхимика. Мы же нагло сидели на столах, на кровати, на туземных сундуках-ахтанах и просто на каменном полу. Мы слушали гитару и песни матроса Никифорова и венские, довоенные «вицы» доктора Дэрвиза, которые никак не ценила Лариса Михайловна. Утром Дэрвиз, рыжий и голый, делал гимнастические упражнения по системе Мюллера, и афганский слуга Али считал приседания, выбрасывания рук и ног особым ритуалом утренней молитвы и отворачивался в почтительном ужасе. Вечером зажигали лампу-молнию, и как только начинал бушевать дикий ветер «афганец», сюда сходилась все население гератского консульства. Начинаясь вечер самодеятельного искусства, затем, когда стихал ветер, все переходили в сад. Сад был дико великолепен в своей азиатской запущенности. Половину его занимали виноградники. Виноград нико-

гда не вызревал, потому что мы им не занимались и сѣдали его незрелым. Перед домом был четырехугольный бассейн и скамьи, но мы уходили в глубину сада. Там были четыре каменных четырехугольных возвышения для намаза. Справа и слева росли абрикосы, персики и сливы чудовищной величины. В саду под открытым небом зимой и летом жили наши лошади «Ширин», «Мальчик» и «Серый» и стоял экипаж. Там же спал конюх Юсуф — териакеш — курильщик опиума (териака). Териакешом его называли не в обиду, а просто для отличия от другого Юсуфа, помощника повара. Юсуфу-конюху купили ливрею на гератском базаре. Собственно это не была ливрея, а парадный мундир бывшего коменданта Кушки, генерал-лейтенанта царской армии. Мы задумались над тем, оставить ли Юсуфу генерал-лейтенантские эполеты, — они ему нравились, — но, поразмыслив, решили их снять. Кроме лошадей, фауну сада составляли дикая и злая горная птица гриф, которую называли «курочкой», и ручной горный джейран, который ловко бил рожками грифа. Затем жили змеи, которых мы не трогали, и вечером забегали шакалы. Они прибегали с гор, пролезали сквозь ограду сада. Вечером, когда на галлее в верхнем зале не было людей, шакалы бегали мимо чайных столов. Ограда нашего сада упиралась в горный хребет, за хребтом был север, Кушка, Советская страна. Большая северная звезда мигала над хребтом. Мы обращали к ней взгляд, пока месяц за месяцем протекало наше гератское заточение. Оно раз'едало нас, как ржавая вода арыков раз'едает металл. Меланхолия, фатализм, вековая неподвижность афганского быта в конце концов действовали на нас. Человек жил год и два года в средних веках, затем выходил из себя и посылал трагические радиogramмы через Кушку в Кабул, Ташкент и Москву, требовал отозвания и в конце концов уезжал почти самовольно. Я напоминаю читателю, что действие происходило больше десяти лет назад в одной из самых отсталых афганских провинций, сюда черепашьим ходом шли и пока не дошли кабульские реформы. И потому, когда уже невоз-

можно было смотреть на стены Герата, долину и горы, мы смотрели на северную звезду. Мы обращали к ней взгляд и в тяжкие, бессонные ночи, когда почти потеряли надежду увидеть свою страну. Но в первые дни на территории «Высокого и Независимого Афганистана» никто не думал о грядущих опасностях и невыносимом однообразии и монотонности гератской жизни. Дикий юг, передвижение во времени на пять веков назад — все было внове, и все было интересно путешественникам. Афганские солдаты и шпионы с изумлением смотрели на этих одержимых чужеземцев, весельчаков, распевających до полуночи песни, на жену «сафир саиба» посла, одобряющую пляски простых «сипаи», то-есть матросов охраны представительства.

Был конец уразы — шестинедельного поста у мусульман, — и мы должны были присутствовать на торжественном дурбаре — собрании — по случаю его окончания. Но прежде чем отдаваться во власть ужасающему великолепию дурбара, я расскажу одну короткую и правдивую историю.

Нельзя сказать, чтобы «дженаби доктор саиб», доктор Дэрвиз, хорошо выглядел на коне или лихо сидел в седле. Во время мировой войны он был зауряд-врачом в галицийском пехотном полку, но Восток, Персия и Афганистан, приучили его к прогулкам верхом. Его нелепая теория престижа европейца в суверенном азиатском государстве запрещала ему передвигаться пешком даже по гератскому базару. Поэтому однажды утром доктор Дэрвиз приказал позвать к себе халифу Акбера, лучшего гератского сапожника. Он нарисовал ему карандашом, какие сапоги он мыслил себе для верховой езды, желтые, вернее оранжевые, мягкой кожи, с ремешком, подтягивающим голенище к колену. Халифа Акбер снял мерку, взял с собой рисунок и обещал сделать сапоги ровно через два дня, «инш-аллах» в среду — если богу угодно, в среду. Он попросил за сапоги сорок рупий, доктор сухо сказал «балле», что значит «да».

Потом, как бывший франкмасон и настоящий атеист, он сурово заметил, что сапоги должны быть готовы имен-

но в среду, независимо от того, будет ли это угодно богу. Причина нетерпения доктора Гуго Дэрвиза была такая: впервые за два года существования консульства в Герате здесь находилось пять молодых женщин. Доктор Дэрвиз предполагал сопровождать их к могиле поэта Джами и показывать гератские достопримечательности. И он в мыслях рисовал себя в седле в новых желтых сапогах рядом с каретой, в которой будет сидеть Лариса Михайловна Рейснер, переводчица бюро печати Мария Николаевна и переводчица Елизавета Григорьевна.

Халифа Акбер, лучший сапожник Герата, покинул комнату доктора и посмотрел на солнце. Был час дня. Солнце жгло и разило в голову. Халифа никогда не проявлял ненужной суеты, наоборот, он был величав и задумчив. Он решил переждать жару в саду под тенью дерева. Он ушел в глубину сада, выбрал дикую яблоню и лег под ней, сняв с ног шитые золотом «пешаури». Может, ничего бы и не случилось с Акбером, если бы он, на подобие Евы и Адама, не соблазнился горьким яблочком и не подвинул его к себе боковой ногой. В эту минуту маленькая, тридцать сантиметров в длину, змейка ужалила его в ногу. Халифа Акбер прижал змейку концом палки, вытащил фуляровый платок и, прищемив змейку у самой головки двумя пальцами, покрыл ее платком и завязал платок в узелок. Однако она успела его ужалить еще раз в ладонь, но после первого укуса это уже не имело большого значения. Мы бы ничего не узнали о том, что делал дальше халифа Акбер, если бы его не увидела во дворе Лариса Михайловна и не заинтересовалась узелком, в котором двигалось что-то живое. Спрятав узелок за спину, халифа сказал «маар», что значит «змея» и показал два укуса. И тогда Лариса Михайловна позвала доктора Дэрвиза, а доктор Дэрвиз повел халифу Акбера в свою подземную комнату. Он хотел прижечь укусы спиртом, но правоверный сунит с негодованием убрал руку и ногу. Мусульманин-сунит не должен употреблять адское зелье—алкоголь—ни внутрь, ни наружу. Тогда доктор Дэрвиз предложил выжечь укус по-

рохом, но халифа поклонился, взял узелок со змеей за кончик и пошел к дверям. Доктор предложил отдать ему змею. Он собирал в спирту разных гадов, скорпионов и фаланг, он хотел умерить в спирту змею и сохранить ее в назидание преемнику. Но халифа Акбер сказал: «Если вас укусит змея, меня повесть Мухамед-Савар-хан», то-есть наместник эмира. И он ушел и, уходя, сказал, что сапоги «дженаби доктор саиба» инш-аллах—если будет богу угодно—сделает в среду. Два дня прошли без всяких событий, но Лариса Михайловна Рейснер не забыла о халифе Акбере, укушенном змеей и отказавшемся от европейского способа лечения. Рисальдар Худабаш-хан рассказал ей через переводчика, что халифа, лучший сапожник Герата, угодивший самому рисальдару, принес змею ученому мулле. Мулла развернул узелок, со всеми предосторожностями прижал змею голову раздвоенной щепкой, осмотрел змею и сказал, что это серая гадюка. Затем змее разможили голову и бросили в мусор. Инш-аллах в среду—«если богу угодно», именно в среду пришел мальчик-подмастерье и принес доктору Дэрвиз новые сапоги, желтые сапоги, превосходно сидевшие на ноге, с ремешком, оттягивающим голенища к колену. Он получил сорок рупий и один кран для себя. Он уже уходил, когда доктор заинтересовался, почему не пришел сам Халифа Акбер. И мальчик сказал, что халифа, то-есть хозяин, «инш-аллах», умер в воскресенье вечером и похоронен до заката солнца. За три часа до смерти он сделал заготовки, то-есть скроил сапоги для доктора, затем начал пухнуть и умер, потому что его укусила серая гадюка, потому что ранку от укуса во-время не прижгли и потому что второй укус был близко к голове. Впрочем это уже заключение ученого муллы. Доктор Дэрвиз надел желтые сапоги и поехал верхом в горы показывать Ларисе Михайловне могилу Джами. Он был мрачен и рассказал нам эту историю, и мы не винили его ни в чем, потому что понимали, в какой стране мы находимся и в какое время мы живем. А жили мы в четырнадцатом веке, двадцатый век мы оставили за северным горным хребтом.

Вот и вся история халифы Акбера, серой гадюки и «дженаби доктор саиба».

Наступил рамазан.

Завтра месяц благословит молчаливый
и спящий город...

День, когда умер сапожник Акбер, был последним днем уразы-рамазана, шестинедельного поста мусульман. Сорок тысяч жителей Герата спали в старинных городских стенах, как в продолговатой коробочке. Офицеры, чиновники, купцы и муллы спали в прохладных темных нишах. Они легли на рассвете. Шесть недель они превращали ночь в день, судили, торговали, брали взятки, пили и ели ночью. С первыми лучами солнца они засыпали в своих домах, потому что по закону пророка в дни уразы запрещено принимать пищу и утолять жажду. Надо спать и возможно меньше двигаться, чтобы легко переносить пост. Но эти предосторожности, разумеется, не касались простого народа. Простолудин может работать и ходить куда вздумается днем, но есть и пить он может только после заката солнца. Так шесть недель в году город живет ночью. В обыкновенные дни пушечный выстрел на закате солнца означает конец дня и земных работ. Южный день потухает внезапно, почти без сумерек спускается темная южная ночь. Стража запирает городские ворота, мрак и безмолвие над спящим городом и редкие светляки фонарей, и печальная переключка ночных сторожей. Так было при Тимуре и персах и так было при Мухамед-Савархане в 1921 году, и потому для нас был привлекателен ночной праздник ураза — азиатский карнавал, ярмарка при фонарях, торжище, клуб в любой чай-хане, бюро путешественников в караван-сараях, бюро новостей и банкирская контора в лавке любого купца. Базар — постоянная «тамаша» — нехитрое и доступное развлечение для наивного, любопытствующего народа. Толпа зевак окружала чужестранца тесным кольцом и сопровождала его в качестве почетной и неотвязной свиты. Трудно наблюдать чужой быт и чужую жизнь, когда ты сам предмет зоркого наблюдения, назойливой слезки. Нищие дергали нас за полы, мальчуганы пролезали у нас под

локтями и заглядывали в лицо агатовыми, лукавыми глазками. Но вот знакомый купец берет нас под свое покровительство, он легко хлопает туфлей по лбу мальчугана, он швыряет сухой чурек в лицо нищему, он вдвигает нас в нишу глубиной в один метр, закрывает нас от толпы своей широкой спиной, и мы в универсальном магазине. У ваших ног растет гора самых разнообразных вещей, колониальные товары, которыми щедро одарила Персию и Афганистан Британия, незажигающиеся зажигалки, недействующие электрические фонарики, непишущие вечные ручки, стаканы и термосы, гимнастические приборы, трубки и трубчатый табак. Днем солнечный луч прорвется в щель навеса и выхватит из полутьмы дешевую индийскую кисею и в один миг превратит ее в драгоценную ткань. Пройдет верблюд, его тюк величиной с самого верблюда погасит солнечный луч, и опять перед вами просто пыльное тряпье. Но сейчас — вечер, ночь, все ткани серы в тусклом свете фонариков и плошек. Купец соблазняет вас золотой монетой. Она лежит у вас на ладони, золотая монетка с профилем Александра Македонянина — Искандера Зюлькарней — и греческой надписью «Базилеус» — царь. Но вы отодвигаете этот робкий труд гератского ювелира, подделку от нечего делать, для которой нужна только жаровня и кусочек низкопробного золота. Столько разнообразных предметов собрано на просторстве четырех квадратных метров, что и сам купец не знает, откуда например к нему попал микроскоп и для чего он собственно нужен иностранцам. В конце концов он продает нашему переводчику коробку английских сигарет и добавляет в придачу свежую новость «... в Мешед приехал новый сафир англичеи, старый сафир индус-мусульманин уехал в Мекку через Белуджистан... Возьмите обе коробки, саиб, по две рупии коробка». Между тем мимо ниши несется цветной разноголосый поток, люди, верблюды и кони, звучащий и цветной, бесконечный фильм, от которого слепнешь и глоснешь, и не можешь отвести глаз. Под куполом базара, в месте, называемом Чаар-Су, — золотошвейный ряд, тысяча развешанных на стене золотых тюбе-

теек отражают огни фонарей и плошек. И вопли, и клятвы продавцов, и рев ослов и брань погонщиков вдруг покрывает раздирающий уши оклик «хаббардар!» — это афганский офицер или хан скачет галопом по базару и давит народ, как приличествует его высокому чину и происхождению. Воет ошпаренный бродячий пес, поют бродячие певцы, звенит струна гары в руках музыканта-преса, и кружит голову острый запах пряностей жареного мяса и острых приправ и зелений, табака, гниющей воды, роз и падали. И на три метра от земли в куполе Чаар-Су висит чернородый гигант с матово-синим лицом. Сегодня среда — день суда. Сегодня среда, и на стене Чаар-Су мелом грубо нарисовали с растопыренными пальцами руку. Рисунок говорит о том, что закон соблюден, что крестьянин-хезариец, убивший сборщика податей, повешен сегодня, в среду, в день суда и торжища, как положено в шариате. Он будет висеть три дня и три ночи в наказание жителям провинции, а внизу будут жарить на углях баранину и торговать хлебом и золотыми тубетейками, табаком и сладостями, обвешивать и обмеривать, клясться и проклинать. И только наш соотечественник, матрос-балтиец, поднимет глаза и, увидев повешенного, раскроет от изумления рот и возьмет слегка вправо, потому что тюки верблюдов и шапки рослых всадников иногда касаются босых ног висельника.

Конец уразы мы увидели в Герате, а начало застали в Бухаре. Резные столбы на площади Регистана, старый дворец эмира и бассейн Лаби-хауз, узорная тень ветвей на камнях — это была Бухара-и-Шериф, святая Бухара, цель долгих и опасных странствий паломников, место гибели отважных путешественников-европейцев. Только год прошел с тех пор, как бежал в Мазар-и-Шериф последний эмир Бухары, увозя восемнадцать груженных золотом и драгоценностями арб. Мы почувствовали легкое содроганье от душного запаха столетий и обильно пролитой крови, от непревзойденной материальной красоты висящих в воздухе куполов и минаретов — каменных драгоценностей. Время стояло неподвижно, будто бы наше

поколение жило уже семь веков и ничего не случилось, ничего не произошло в этом мире. Еще вчера Тимур приискал в Самарканд из Дэли, еще вчера брызнула на старые плиты кровь европейца Артура Коноли, кощунственно проникшего в святую Бухару. Мы не говорили об этом вслух, но, честное слово, эти несвоевременные мысли смущали нас. Что же случилось, что произошло в эти пять-шесть столетий? На базаре кожевник разбивает деревянным молотком невыделанную кожу, проходимцы курят анашу в подземельях караван-сарая, азиатский рынок кипит и плещет вокруг Лаби-хауз, попрежнему в чадре, в трех покрывалах и кисее проходят бесформенные коконы — жены бухарских купцов, — он неподвижен и вечен, этот проклятый Восток! Динамит, мелеит, газы, — чем можно сокрушить этот застывший каменный быт, эту негнущую и мертвящую, усыпляющую красоту? «Даже тюрьма, обыкновенная тюрьма, здесь не казарма с решетками, а очарованный замок, монументальная громада декораций» — вдруг сказала Лариса Михайловна, и мы увидели против тюремных ворот бассейны; зеленющие ветви как занавес свисали над желтой водой, и весенний цвет плавал в воде бассейна. Мы углубились в улицы и долго шли между глухих глиняных стен и вдруг увидели дом, самый обыкновенный городской дом с дверями и окнами. Четырехугольники окон светились издали, мы подошли и увидели в окно на стенах перекрещенные полосы кумача, белые меловые буквы и слышали восклицанья и шум спора и звонкий голос: «... товарищ Вахаб не может быть членом партии, мы знаем товарища Вахаба Мамединова, его отец был назир у эмира, и он сам ходит в мечеть и совершает намаз...» И этот голос вдруг погас во взрыве восклицаний, и другой голос покрыл все: «Товарищ! слово товарищу Вахабу!»

Мы посмотрели друг на друга, и нам стало весело, мы повернули назад и прошли мимо Тай-Минор, «минарета смерти», иронически подмигивая старым камешкам: вы — музей, только музей и ничего больше. Существойте, чтобы люди знали, как и кто вас поставил, но рядом с вами будут новые дома,

большие дома с квадратными окнами. Есть люди, которым надоели пыльные ковры, глиняные норки и волосяные маски на лицах их сестер, матерей и жен. Рядом со старыми камешками будет новый, легкий, живой быт, быт двадцатого века. Это — век новой культуры, век победы революции.

Теперь мы были в Герате. Между старым Гератом и Бухарой лежал, по выражению Ларисы Рейснер, горный хребет Парапамиз и кривая мусульманская шашка. На севере лежали Узбекистан, Таджикистан и Туркмения — советские страны, на запад от Герата, в трех переходах, была граница Персии, и в шести переходах город Мешед. Пять, шесть дней отделяют дремучее азиатское средневековье от двадцатого века современной Персии. В Мешед — молодая, уже попробовавшая европейской цивилизации буржуазия, намечающаяся борьба классов, стихийные восстания и кровавые схватки с правительством Ахмет-шаха и национальное освободительное движение против британских колонизаторов. Придет время, и я расскажу читателю историю полковника Магомета Таги и «сафира англи» — английского консула в Мешед и бужнурского хана, который, может быть, до сих пор живет вблизи Кафаргалы. Я расскажу об одной маленькой революции, восстании Магомета-Таги и его товарищей, но оно происходило зимой 1921 года, мы же живем еще в июне, и предстоит дурбар, торжественный прием у деда и наместника эмира в Герирудской провинции Мухамед-Сарвар-хана.

Пять карет, похожих на те кареты, которые подавали шаферам на купеческих свадьбах, отвезли нас в Чаар-Баг, дворец наместника городской цитадели. Места в каретах и места за столом были распределены афганским церемониймейстером согласно табели о рангах, и, так как он не слишком тонко разбирался в том, кому следует отдавать больше почестей, — второму секретарю полпредства или коменданту, или заведующему финансовой частью, — то я, заведующий бюро печати, почему-то получил довольно удобное для наблюдений и по-видимому почетное место. Потом это объяснилось: заведующий бюро печати

в переводе с русского на персидский язык превратился в хранителя печати, а хранитель большой государственной печати в понимании восточных правителей — высокая персона. Таким образом я стал хранителем печати и чувствовал себя в этом звании лучше, чем в прежнем, абсолютно непонятном афганским чиновникам.

«Чаар-Су» значит четыре воды, четыре ручья, Чаар-Баг значит четыре сада. Ни там, ни здесь я не видел ни ручьев, ни садов. Желто-серые кубы домов лепились по холму цитадели, дикий виноград и плющ, переползая с крыши на крышу, добирается до самой высокой точки квадратной террасы, где проводил свои досуги доктор Дэрвиз в дни, когда он был одним из первых европейцев в Герате. Тогда он предпочитал эту глиняную коробочку и террасу, потому что отсюда в полевой бинокль он видел потаенную жизнь дворца. Красивый юноша лежал на ковре на крыше, он играл на таре, дородный старик смотрел на него с обожанием и курил чилим. Однажды любопытный доктор увидел молодых женщин, — они обливали друг друга водой из ковшей и смеялись, и играли, разбрызгивая воду. Разумеется, они были без всякой кисеи, покрывал и волосяных сеток. И когда мы проходили по большому квадратному двору мимо солдат и народа, прижатого в конец двора, доктор с некоторым сожалением поглядывал вверх на кубы плоских крыш и милую знакомую террасу. Мы же не были связаны никакими воспоминаниями и чистосердечно предавались самому нескромному любопытству. Мы разглядывали двухэтажные варварски выкрашенные здания. Здесь был дворец наместника, канцелярии всех гератских ведомств и зал для дурбаров — сводчатый, длинный зал, напоминающий театральное фойе. За тремя длинными столами в торжественной тишине сидели офицеры, чиновники и именитые гератские купцы. В приличном отдалении стояли столы наместника и генералитета. Мы сидели лицом к генералитету. В конце концов нам надоело рассматривать усы, бороды, аксельбанты генералов, распаренных, полузадушенных в своих тугих до удушения воротниках. Трубы заревели

все вдруг. Страшным голосом рывкнул «салам» офицер у входа, грянули о камень приклады ружей, белый с золотом старичок в каске с петушиными перышками, семена ножками, вбежал в зал. Зажужжали трубы, и старичок протянул руку в замшевой белой перчатке Раскольникову и каждому из нас. У него маленькая яйцеобразная головка и борода седым валиком вокруг подбородка и пребойкие зеленые глазки. Он уселся на тропоподобное кресло, адъютант подsunул ему табакерку и золотую плевательницу. В зале появились слуги с оловянными блюдами и белоснежными пирамидами плова. Затем в течение двух часов тишина прерывалась только жеваньем, чавканьем и причмокиванием пятисот ртов, ревом труб, громом барабанов во дворе и старческим лепетом jovиального старичка в каске. От стола к столу ходил «дивана», блаженный при дворе наместника, худой, как скелет, человек в иногда недвусмысленно поплевывал в нашу сторону, но ни мы, ни господа генералы этого не замечали. Наместник жизнерадостно лепетал, хихикал, икал, много ел, в рущности только он один держал себя непринужденно в этом торжественном собрании. Он вдруг вспомнил о феномене-баране, родившемся в Ферахе, и немедленно прямо в зал привели феноменального барана, у которого вместо рогов была два черных косячих шара. Старичок сказал, что это чудо он отправляет вместе с нами в Кабул в подарок эмиру, и действительно баран впоследствии путешествовал вместе с нами в особых вьючных носилках, и особые люди составляли штат при путешествующем феномене.

Мы никак не могли верить, что в руках этого кукольного старичка — жизнь и имущество полумиллиона жителей провинции. Между тем именно он собирал подати, судил, казнил и миловал, держал в своих старческих руках всю Герирудскую провинцию и превратил эту провинцию в какой-то удивительный средневековый заповедник. Так он прожил девяносто лет в своем заповеднике, на севере и западе происходили войны и революции, Среднеазиатская железная дорога протянула рельсы до самой афганской гра-

ницы, телеграфные провода и шоссе соединили Хоросан с Тегераном, но старик не чувствовал движения времени. Здесь ничего не менялось со дня его совершеннолетия и до 8 июня 1921 года.

Музыканты маршировали во дворе, неумоимо били в барабаны и дули в трубы один и тот же марш. Мы призывали к афганской музыке и поняли, что здесь важна не мелодия, а ритм. Музыканты играли с нарастающей экспрессией, маршируя и вдохновляясь, доходили до настоящего экстаза. Об этой музыке писал поэт одиннадцатого века:

Когда рассуждают о наслаждениях для избранных, — я говорю:

Гром барабанов приятен только на расстоянии.

Еще восемь или девять разнообразных пловов, и старичок встал, и генералитет, икая, отвалился от стола, но это был не конец, — нам предстояло единственное в жизни зрелище, от которого через десять лет осталось впечатление дурного сна и бреда.

Наместник, свита и мы поднялись в верхний этаж дворца, в павильон с цветными стеклышками. Отсюда был виден весь двор, цепь солдат и толпа в несколько тысяч человек позади. Старик махнул перчаткой, — толпа мгновенно прорвала цепь и очутилась у нас, под нами. Чалмы кипели, как поле пышных белых цветов под ветром. Старичку подали серебряное блюдо и на блюде гору мелких серебряных монет, и он горсть за горстью, как сеятель бросает семена, бросал моменты в толпу, и тысяча рук, переплетаясь в воздухе, ловила серебряный дождь, тысяча глаз, обращенных к старику, горели звериным огнем, и вопль тысячи глоток совершенно оглушил нас на нашей вышке. Люди дрались, давили, калечили друг друга, внизу все сбилось в чудовищный клубок тел, а старичок с лицом идола, поджав под себя ноги, швырял серебряные монеты в толпу. Он разбросал два блюда мелочи, ему подали воды в серебряном тазике, он поплескался в воде, встал, благодушно улыбаясь, и ушел, даже не оглянувшись на ревущую толпу. Так кончился дурбар, описанный на следующий день высоким

слогом в крошечной газете «Единение ислама»:

«Его высокопревосходительство, да увеличится почет его, высокий сердар Мухамед-Сарвар-хан из своих рук раздавал милостыню бедным Герата в присутствии его высокопревосходительства, да продлятся дни его, полномочного посла и свиты».

«Двое моих сограждан получили увечие в толпе и еще трое умерли, ибо дурбар был действительно великолепен, и зрелище стоило того, чтобы любоваться и удивляться».

Собрат по перу не мог скрыть того обстоятельства, что он сам, редактор газеты «Единение ислама», был приглашен принять участие в трапезе, и таким образом шестая держава получила признание своих заслуг в Герате. Газета печаталась на коричневой оберточной бумаге, и просвещенный редактор-мулла собственноручно сочинял, прямо на литографском камне, светскую хронике Герата и последнее сенсационное сообщение о том, что в городе Сабзеваре родился двухголовый жеребенок, а в Джелалабаде его величество эмир собственноручно застрелил дикого гуся и две цапли. В иностранном отделе вы могли прочитать о том, что в Нью-Йорке дома в сорок этажей.

Мы возвратились с дурбара утомленные ворохом впечатлений, и тут я впервые услышал от Ларисы Михайловны хулу на природу, сотворившую ее женщиной, — женщинам не полагается присутствовать на дурбарах. Женщина, отвоевавшая себе место в литературе, первая в разведке, в бою и в политических бурях, не увидела этого безобразного до великолепия зрелища. Она предчувствовала, что архаический быт доживает свой последний год, и музейные экспонаты мусульманского средневековья уходят из поля ее зрения. Ровно через год я снова был в Герате и видел дурбар по случаю конца уразы. Жизнерадостный старичок был в отставке и опале, в троноподобном кресле сидел новый наместник Герата, бывший министр полиции Шаоджау-Доуле, Меньшиков при афганском Петре первом — эмире Аманулле-хане. Он буквально стриг бороды афганским боярам, он заставил их надеть европейское

платье (правда сшитое из афганского, а не европейского сукна). Он упразднил экзотические мундиры и переодели офицеров в хаки, в скромную, напоминающую турецкую военную форму, он приказал поставить европейские кресла в покои наместника. Там, где раньше сидели на корточках «джарнейли» — господа генералы, — он поставил рояль, на котором правда никто не умел и не смел играть. Но хуже всех пришлось чиновникам, когда в канцеляриях явились столы и стулья, и афганские подьячие и приказные, из поколения в поколение сидевшие, поджав ноги, на кошке и писавшие на коленях, принуждены были сесть на стулья и писать на столах. Жестокие новшества, — девяностолетний Мухамед-Сарвар-хан не увидел этого потрясения основ, его почти насильно выпроводили в Кабул, и если он не умер от огорчения, то живет и молодожаво выглядит, как можно молодожаво выглядеть в сто один год. «Он был дедушкой, когда родился мой отец» — загадочно сказал о его возрасте рисальдар Худабаш-хан.

Лариса Рейснер впрочем увидела феноменального старичка, когда он со своей свитой, скороходами и пажами появился на Елисейских полях у ворот нашего консульства. Четыре конюха вели его серебряно-белого арабского коня с пышной гривой и хвостом, как у Пегаса, коня в золотой сбруе с бирюзой. Сам же Мухамед-Сарвар-хан ехал в карете, скороходы рысью бежали впереди, сзади блестели мундиры, и шествие замыкал ослик, и на нем, почесываясь, сидел «дивана», блаженный, святой при наместнике.

По обязанности я вел дневник путешествия нашей миссии. 10 июня я записал:

«Сначала беседа носит обычный, бесодержательный характер, потом говорит т. Раскольников о дружбе двух государств, возникшей в тяжелый для Афганистана момент, в год войны с Англией, и он выражает желание теснее связать эти две страны. Отвечает мулла Ахмет-хан, секретарь афганского посольства в Персии. Речь состоит из текстов корана и славословия его величеству эмиру. Но Мухамед-Сарвар-хан неожиданно произносит несколько

резких слов о коварстве англичан. Свита молчит, ест плов и икает».

Здесь изложено коротко то, чему мы были свидетелями. Самое важное в этих строках — внезапное превращение древнего старца в мужчину и воина. Кремень внезапно дал искру, зеленоватые, заплывшие жиром глазки оживились и вспыхнули, и вдруг старик заговорил о своей молодости и битве при Мейванде, где афганские пастухи голыми руками шли на картечь шотландских батальонов.

Сначала шли юноши, почти подростки, еще не видевшие жизни и легко расстающиеся с ней. Полуголые, вооруженные одними камнями, ломающимися голосами они проклинали «кафиров», оскорбляли их предков, кривлялись и делали бесстыдные жесты. Их скосили за двести шагов, как бы нехотя, нестройными залпами, целясь в ноги, чтобы легко ранить и потом добивать одного за другим, состязаясь в меткости. Потом шли высохшие старики, которым давно пора было умереть, но они хотели умереть в бою, чтобы заслужить рай. Надрывая голоса, они читали нараспев тридцать шестую сурру корана Ясин, ее называют сердцем корана и читают у ложа умирающего: «Клянусь мудрым кораном, что ты один из посланников...» — и многие из них увидели рай, не успев закончить первой строфы: «...на прямом пути. Это откровение милое и милосердное...».

Последними вступили в бой самые сильные бойцы, они устремлялись как пушенный сильной рукой метательный снаряд. Офицер отдавал саблею команду «картечь», потому что человеческого голоса не было слышно в раздражающих уши воплях, и атакующие падали, пронзенные роем пуль, восклицая обращенные к англичанам пророческие строки:

«Дождутся только однократного клика, который захватит их в то время, как они будут спорить между собой, не успеют сделать завещания и не воротятся к своим семействам».

Когда девяностолетнего старика Мухамед-Сарвар-хана отправляли в Кабул, в опалу, он сделал весь путь от Герата до Кабула через пустыни, перевалы и горные хребты не в носилках, не в тахтараване, а верхом на коне, как старый,

но еще крепкий воин. Он ехал долго, почти три месяца, но не потому, что берег свои силы, а потому что до последней минуты ждал, что народ Герируда прогонит узурпатора и позовет старого наместника. Но его песнь, песнь его эпохи была спета.

Серия банкетов и взаимных визитов кончилась. Караван готовился к путешествию в Кабул, нам переменяли слабых лошадей, и новый командир конвой, карнейль — полковник, — с усами, как у гетманов Украины, представился Раскольникову.

Перед отъездом в поисках достопримечательностей мы еще раз захотели осмотреть базар. Тут была тайная мысль увидеть наконец вблизи, плотную народ, который до сих пор видели только позади плотной цепи солдат. Затем ни Лариса Михайловна, ни сотрудницы полпредства из уважения к «престижу» до сих пор не были в стенах города. Но базар был хорошо подготовлен к высокому посещению. В галереях под навесами, где обычно толкуются тысячи людей, всадники, верблюды, была абсолютная пустота. Купцы чинно сидели в нишах своих лавок, через каждые десять шагов стоял солдат. Базар подмели и вычистили, и мы шли по обильно политой водой дорожке. Купцы смотрели в землю, не поднимая на нас глаз, ни одного покупателя не было в лабиринте галерей, и базар, занимавший почти четверть города, как бы вымер. Так мы знакомимся с народом Герата. Трудно сказать, скольких зуботычин и плетей стоила эта чистота, тишина и порядок. Надо только добавить, что один купец в Кабуле не совсем точно выполнивший инструкции, был поставлен на цыпочки и прибит за ухо к дверям своей лавки и простоял в такой позе два часа.

Семнадцатого июня мы отправились в дальнее странствие — в Кабул по Хезарийской дороге, и прибыли в Кабул 16 июля, то есть через тридцать один день. Но прежде чем рассказать об этом замечательном путешествии, я вернусь к обещанной читателю правдивой истории полковника Магомета Таги, начальника хоросанской жандармерии. Слово «жандармерия» звучит не слиш-

ком приятно для нашего читателя и требует некоторого пояснения.

В то время, когда Персия была разделена на две зоны влияния (северную Персию оккупировала царская Россия, а южную — Великобритания), персидскую жандармерию организовали нейтральные шведские военные инструктора. Этот род оружия был в некотором отношении либеральной силой в политической борьбе персидских буржуазных революционеров с реакцией. Наоборот, персидские казаки, организованные русскими инструкторами и знаменитым полковником Ляховым, боролись на стороне реакции. Таким образом полковник Магомет Таги был либералом и даже радикалом, сохраняя за собой неприятный для нашего уха чин начальника хоросанской жандармерии. Я видел фотографию Магомета Таги. Свойственные старой расе печаль и скептицизм сохранились даже в этом далеком от оригинала портрете. Люди, знавшие Магомета Таги, утверждают, что это был образованный человек в ориентальном и европейском смысле этого слова. Как многие образованные персы, он цитировал наизусть Омер-Хайама и Хафиза и указывал сходство между стихом Омер-Хайама: «Открой себя, мой брат, всем запахам, всем краскам и, всем звукам...» и известным стихотворением Бодлера. Он боролся с собой, преодолевая гипнотическую власть, опасное очарование астронома из Мерва, туркмена, поэта, жившего в одиннадцатом веке и в возрасте семидесяти лет оставившего миру сто философских лирических четверостиший. Вместе с Омер-Хайамом он смотрел в равнодушные небеса и повторял:

Добро и зло спорят о первенстве на земле.
Небо не отвечает за счастье и несчастье
людей, —

Не благодари и не обличай его
Оно равнодушно к твоей радости и печали.

Магомет Таги, смелый и мужественный человек, знал, что «в монастырях, в синагогах, в мечетях прячутся слабые, которых пугает ад». Но дальше его любимый поэт должен был разоружить просвещенного воина. Наука? Что говорил о ней ученый астроном и геометр:

Колесо вертится, не заботясь о вычислениях
ученых.

Зачем утруждать себя, зачем считать звезды,
Думай о том, что ты умрешь,
И твой прах будет добычей червей и шакалов.

Богатство и власть?

О, пьющий из большого кубка! Я не знаю,
кто сотворил тебя,
Я знаю, что ты можешь вместить три меры
вина,
И смерть сломит тебя однажды. И тогда
я спрошу себя:
Зачем ты рожден, зачем ты был счастлив
и почему теперь ты тлен.

Слава? Любовь? Каждый воин мечтает о славе и каждый пастух поет о любви.

Белый и вороной конь, конь дня и ночи,
мчится сквозь старый мир.
Мир — печальный дворец, где сто «джемшиди» мечтали о славе,
Где сто «бахрам» мечтали о любви
И проснулись в слезах.

Из всей книги «Рубайат» Магомет Таги поверил и принял одно четверостишие:

Мое сердце сказало мне: я хочу знать,
я хочу все понять,
Научи меня, мудрый Хайам. Я произнес
первую букву алфавита,
И сердце мне сказало: теперь я знаю. Ты
сказал «один».
Единица — первая цифра числа, которое не
не имеет конца.

Магомет Таги углубился в науку, в «число, которое не имеет конца». Но он не считал звезд, как великий астроном из Мерва, он обратился к земле и посмотрел на север и увидел там, где сторожил его родину императорский орел, свет пятиконечной звезды. На драгоценных бирюзовых дверях и на минаретах мешедской мечети Имам-Риза он видел следы пуль, — это были следы пулеметного огня русских казаков, но, как и поэт одиннадцатого века, он искал только прохладу и тень в мечетях и не таил обиды. Он научился различать страну Советов и царскую Россию. Его сограждане — азербайджанские турки, кавказцы — рассказывали ему о том, что произошло на севере. Они рассказали Магомету Таги и о военных судах под красным флагом, прогнавших англичан из Энзели. Круглолицый толстый юноша, Ахмет-шах на почтовых марках, Ахмет-шах на персидских туманах возбуждал гнев и презрение в сердце Магомета Таги. Персидский Ризаго был

одинаково равнодушен и к династии Каджоров и к династии Пехлеви, золотой шахский трон и сияние шахских бриллиантов, и слава Надир-шаха не ослепляли его, он понял, кто управлял кукольным театром персидской истории и чья рука дергает за нитки марионеток — султанов и шахов. Он читал газеты и брошюры на тюркском языке, приходившие из-за северного рубежа, на французском языке он читал классические труды экономистов и манифест, который начинается словами: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма...». Однажды ночью товарищи Магомета Таги и его солдаты разоружили персидских казаков и прогнали из Мешеды назначенного шахским правительством губернатора. Хоросан — синоним богатства и плодородия — отделился от шахской империи. Новый правитель Хоросанской провинции Магомет Таги позвал к себе старшину мешедских купцов и сказал:

— Вы самый богатый купец в Мешеды и вы старшина купцов. Мне нужны деньги. Я хочу, чтобы бедные жили нисколько не хуже богатых.

— Аллах велик, — сказал старшина, — каждому нужны деньги, Ахмет-шаху, прежнему губернатору, и тебе. Но денег нет. Засуха, неурожай. Нет рынка — Россия не покупает...

— Молчи! — воскликнул Магомет Таги, — я посажу вас в тюрьму и отниму все, что есть у вас...

— Аллах велик, — сказал старшина купцов. — Магомет-шах, Ахмет-шах и три губернатора грозили мне тюрьмой. Каждому нужны деньги, а денег нет. Неурожай. Засуха. Магомет-шах повесил моего отца, Мирза-шах ослепил деда, а денег нет и нет. Каждому нужны деньги. Прежнему губернатору и тебе. Но лишняя тысяча туманов, для тебя...

— Ты меня не понял, — мрачно сказал Магомет Таги, — пошел вон, старый дурак, — и читал до глубокой ночи газеты и книги и утром позвал главного муллу.

— Мулла Гусейн-Гуль, — сказал Магомет Таги, — неправильно учат в ваших школах и медресе. Муллы учат детей глупостям, детей надо учить математике, географии и политической

экономии. Я хочу запретить вам обучать детей.

Мулла Гусейн-Гуль молчал.

— Потом я хочу, — продолжал Магомет Таги, — запретить вам лечить народ и еще я хочу... Что ты хотел сказать?

— Я молчу, — сказал мулла Гусейн-Гуль, — близится праздник шахсей-вахсей, правоверные возьмут в руки ножи и сабли, они будут плакать и в горести восклицать «Али» и резать себя ножами, и кровь, и слезы будут течь по лицу и носу их.

— Еще что ты хотел сказать?

— Из окна твоего дома виден базар — Арк. Железная цепь висит в базаре — Арк. Один неверный вчера прошел по святой земле, и от него не осталось и клочка. Три тысячи человек терзали его труп и не оставили ни клочка. Что ты хотел сказать?

Магомет Таги молчал, и мулла Гусейн-Гуль приложил руку ко лбу и вышел. Он пошел прямо в «сафират англези», генеральное консульство Великобритании, и когда он вошел к сафиру англези, генеральному консулу, то застал там старшину мешедских купцов, и оба сказали друг другу в один голос: «табиат-шма-хубнаст», то-есть: «в добром ли вы здорье?»

Сафир англези сорок лет сидел на своем месте, он знал сврой округ и людей и сочел британское коварство с азиатским и жестокое коварство британца с азиатской жестокостью. Когда полковник Магомет Таги переехал в губернаторский дом, «сафир англези» назначил Магомету Таги время для свидания, но не получил ответа. Он даже сам был готов поехать к Магомету Таги с почетным эскортом кавалеристов, в сопровождении консульского конвоя из сипаев. Так некогда ездил по городу Мешеду его превосходительство императорский российский генеральный консул, с казачьей полусотней впереди, и казачий подхорунжий бил нагайкой персидских крестьян, не вовремя оказавшихся на дороге. «Сафир англези» посмотрел на старшину купцов и главного муллу, он знал каждого из них по два-три десятка лет, он знал каждого в округе Хоросан.

— Известно ли вам, — сказал сафир англези, — о чем он вчера говорил своим кавказцам. Он хочет закрыть базары. Он хочет закрыть лавки и сделать одну большую лавку, где будут раздавать даром товары бездельникам и нищам Мишеда.

— Закрыть базары, — подумал вслух старшина, — закрыть лавки, караван-сарай и чай-хане. Базар существует две тысячи лет. Невозможно.

— Но он сказал, надо закрыть базар и...

И сафир замолчал, потому что вошел секретарь и два молодых человека в косматых высоких шапках. Это были дети бужнурского хана. Они возвращались к отцу из Тегерана.

— Азрет-Али сафир саиб, — начал старший, — сегодня Магомет Таги позвал нас к себе. Скажи бужнурскому хану, скажи всем курдским ханам, говорит он, что отныне я запрещаю брать подати с крестьян, что я запрещаю им судить крестьян и что земля ханов больше не ханская земля. Что вы скажете, Азрет-Али? Он посылает с нами двух своих людей с письмом к народу и ханам. Что вы скажете?

— Надо ехать, — сказал старый сафир англези и встал.

Уже около месяца Магомет Таги владел Хоросанской провинцией. Народ слушал речи мятежников, народ читал листки против богачей и духовенства и колонизаторов-англичан. Уже в караван-сараях смеялись над сафир саибом и говорили о том, что хорошо бы посчитать серебряные туманы в сундуках мешедских богачей и посидеть в тени узорных палаток в их загородных садах. Однажды ночью Магомета Таги разбудил восемнадцатилетний Атаев, тюрк из Энзели. Он сказал:

— Бужнурский хан прислал тебе в подарок хуржум. В нем две головы. Это головы тех, кого ты послал к нему вместе с его сыновьями. Я был прав, молодых ханов надо было оставить заложниками.

— Не понимаю, — с печалью сказал Магомет Таги, — что я должен делать, я делал. Я читал книги: по книгам я должен был занять вокзал и телефонную станцию. Но в Хоросане нет железных дорог и нет телефонной

станции. Теперь я знаю, что делать и знаю, откуда смелость бужнурского хана.

И утром он совершил поступок, который привел в трепет и изумление его врагов и обрадовал его товарищей и народ Мешед. Он арестовал сафира англези в генеральном консульстве Великобритании. И в тот день, когда «сафир англези» увидел в ограде консульства солдат Магомета Таги, он впервые за сорок лет вышел из себя. Бужнурский хан получил все, что просил, — оружие и деньги. Ему пообещали звезду и титул. Он собрал феодальных князьков и сказал, что Магомет Таги покончит с их привилегиями и неограниченной властью и что нельзя надеяться на шахские войска. Магомет Таги был смел, он, в общем, не обольщал себя надеждами и умел смотреть в глаза правде. Он знал, что регулярные войска ненадежны, что духовенство, купцы и чиновники Мешед его явные враги. Он видел, что простой народ все еще в плену у духовенства и что на его стороне только несколько тысяч кавказцев, азербайджанских тюрков, переселившихся сюда при царе и думающих о возвращении в страну Советов. И когда курды бужнурского хана появились вблизи Мешед, Магомет Таги с несколькими десятками кавказцев оставил город и пошел навстречу бужнурскому хану. Они попали в засаду и были окружены курдами. Часть сторонников Магомета Таги убежала, другие погибли. Он сам был смертельно ранен, поцеловал убитого рядом с ним Атаева и умер у пулемета. Бужнурский хан отрубил ему голову и отправил ее в Тегеран. «Сафир англези» отправил туда же подробное секретное донесение. Дальше начинается творимая легенда, вернее история, которая творится, как легенда. Магомет Таги пал в честном бою и потому его обезглавленный труп выдали родственникам для погребения. Тело Магомета Таги встретили тысячи. Розы садов Мешед лежали под колесами арбы, на которой везли тело. Тюркские женщины плакали, раздирали себе лицо ногтями и разрывали на себе одежду. А купцы Мешед, жизни которых и богатству уже не угрожал Магомет Таги, в радости и веселии раздавали пищу

дервишам. Затем в Мешед пришли шахские войска, был розыск, пытки и казни — все, что бывает после неудачного восстания. Но единственный фотограф открыто размножал фотографию Магомета Таги. И мне привезли один портрет из Мешеда.

Историки, изучающие социальные движения у народов Востока, отметили у себя в трудах мятеж Магомета Таги и его товарищей. Бродячие певцы поют обиженным и голодным, вполголоса, о жизни и смерти Магомета Таги. И так как они знают наизусть «рубайи» Омер-Хайама, как знал их персидский Риэго, офицер и бунтовщик, они кончают эту песню четверостишием:

Когда ты падаешь ниц под бременем скорби,
Думай о зелени, оживающей после дождя,
Когда жаркий день ослепил тебя и ты готов
принять вечную ночь,
Подумай о пробудившемся младенце.

Восстание Магомета Таги произошло в конце 1921 года в шести днях пути от Герата. В то время в городе Герате девяностолетний старик Мухамед-Сарвар-хан в длинной афганской рубаше «пейран», без шальвар сидел на террасе дворца и, прихлебывая чай, судил народ, а гератские палачи вешали на Чаар-Су убийцу, рубили правую руку вору, укравшему курицу и вырезали язык курильщику анаши, хулившему имя пророка.

17 июля 1921 года караван нашей миссии обогнул восточную башню Герата.

Хезареджат, страна хезарийцев, лежал перед нами — долины, плоскогорья, горные цепи и вьючная тропа, не без лести называемая географией Хезарийской дорогой. От Герата до Талкири—18 километров—с нами шли экипажи. Колесная дорога кончилась у ворот рабата. Чтобы не возвращаться к описанию этого своеобразного, игравшего роль в наших странствиях места, я попробую описать рабат сразу и коротко. Рабат — станция, вместе с тем укрепление, форт, маленькая крепость. Представим, что дети-колоссы, дети-великаны грубо вылепили из глины игрушечную крепость, прямоугольник с четырьмя башнями по углам. Внутри дво-

ра—походная мечеть, по стенам полутемные землянки-ниши с дырой в потолке для выхода дыма. Ворота выходят на восток, стены и башни приспособлены для обороны, но оседи от времени, весенние дожди размыли бойницы, и все сооружение рассыплется от выстрелов трехдюймовой пушки. В бурные средние века на опасных караванных путях рабаты были тихой пристанью и защитой путнику. Я мог бы рассказать о разнице в устройстве рабатов Гератской провинции и Кабулистана, о скорпионах и фалангах, верблюжьих клопах, об алчных гудандарах—смотрителях рабата, но это — детали, имеющие значение для иностранцев, для афганцев же—это прочный и устоявшийся быт. Экипажи вернулись в Герат, мы с некоторой грустью простились с громоздкими, старыми каретами. Европа распрощалась с нами в половине девятнадцатого века.

Товарищ С., генеральный консул в Герате, угрюмо пожелал нам счастливого пути. Он вернулся в Герат, в «Баг-и-Шахи», снял пиджак и алые бриджи, надел бухарский халат и взял в руки гитару. Он поставил ногу на низкий подоконник и, меланхолически держа струны, с настоящим отчаяньем смотрел на рисовые поля, стены и башни, минареты и прочее. Фурункулы и карбункулы, испарина, душные бессонные ночи, малярия—год гератской жизни—замучили мужественного дипломата. Он отложил гитару, пошел в канцелярию и сочинил депешу в три адреса и в девятый раз категорически потребовал отозвания. Комендант и начальник афганского конвоя Худабаш-хан попробовал ему подсунуть фантастический счет за фураж, который сверх нормы давали лошадям миссии, но генеральный консул сверкнул на него глазами, и рисальдар, как оперный чортик, провалился в люк винтовой лестницы. Товарищ С. прошел в свою раскаленную солнцем, похожую на тюремную камеру комнату, сдернул с кровати вишнево-алые бриджи—воспоминание о милом военном прошлом—и повалился на кровать в изнеможении и жестокой ностальгии. Вишнево-алые бриджи лежали на полу и вводили мысли генерального консула далеко от Герата, в милый Ташкент, к

друзьям и боевым товарищам. Не знаю, откуда попало в армию это алое сукно, говорят, его взяли в несметном количестве в складах бывшего эмира Бухары. Я видел его на штабных работниках Туркфронта, на красноармейцах и политработниках, — все равно кавалеристах или пехотинцах. Я видел его на моем славном друге краснознаменце, начальнике гарнизона Ташкента, Льве Михайловиче, заслуженном боевом красном командире, с редкими странностями и чудачествами. В ташкентском общежитии запросто ходил по коридору, грохоча копытами, его боевой конь. Командир везжал на коне в свою комнату, и бывало так, что хозяин спал прямо на полу в полуденный жар, когда жизнь замирает в Ташкенте, а конь стоял над хозяином, обмахиваясь хвостом от мух. Обыкновенные люди никак не могли примириться с командиром и конем, гуляющим по коридору, они причинили немало беспокойства его хозяину. Но в Москве они все же перетянули струны, и когда Льва Михайловича строго спросили: «Совсем спятил в Ташкенте? Говорят, на пятый этаж верхом везжал?» — командир ответил кратко и по-военному: «Брешут. В Ташкенте выше двух этажей дома нет». Ему простили и на этот раз, потому что это был редкий в бою и в товариществе парень, герой и лихой наездник. Раз я вспомнил давние встречи, надо сказать и о моих спутниках-товарищах по Балтике и Кабулу. Семен Михайлович Лепетенко был главнокомом и диктатором каравана в нашем путешествии. Он не признавал жары и тропического солнца, он не закрывался от солнца ни пробковым шлемом, ни вуалью, ни очками-консервами. Он ездил вдоль каравана взад и вперед с самодельным русско-персидским словарем в руках, распекал и подтягивал, и наводил порядок в переселении нарцдов и вавилонском столпотворении. Он не вникал в отношения всадника и лошади, для него не существовало плохих наездников, и он недоумевал, почему бухгалтер Ц. не едет в указанном ему месте, рядом с денежным ящиком, а носится в стороне от каравана. Между тем у бухгалтера Ц. был резвый и неутомимый конек, не приученный к медленному шагу вьючных коней. Он

не ставил в грош своего всадника и носил его по ущельям, обрывах и кручам, и выходило так, что бухгалтер Ц., тихий и флегматичный человек, увеличивал вдвое обыкновенный денной перегон. К вечеру, выбившись из сил, на взмыленном, но все еще бойком коньке он подезжал к Семену Михайловичу и беспомощно восклицал: «Ну, вот... А еще говорят, лошадь — умное животное». Но самыми замечательными спутниками были матросы из конвоя миссии — восемь военных моряков бывшего походного штаба комфлота. Восемь молодых, атлетически сложенных парней, раздобревших на афганском пайке, на рисе, баранине и жирном супе «шурба». В конце концов они заскучали по щам и оладьям, но в первые дни путешествия афганцы собирались вокруг них и смотрели с немым восторгом, как матросы управлялись с барашками и белоснежной горой ханского риса. Потом они накинулись на дыни, абрикосы и виноград, запивая их известковой мутной водой из арыка. Доктор Дэрвиз поднимал глаза к небу и восклицал в неподдельном ужасе: «Товарищи! Но холера, но подумайте — азиатская холера...». Матросы посмеивались, сверкали зубами, похохатывали до тех пор, пока однажды в Кабуле желтая гостья не остановилась у изголовья пулеметчика Зентика и не оставила его навеки в сухой и твердой афганской земле. Зентик умер в Кабуле и похоронен на горе за оградой мусульманского кладбища, над мечетью султана Бабера, завоевателя Индии и Средней Азии. Серп и молот и короткая эпитафия на камне, — одинокая плита в горах была единственной советской могилой в чужой стране за тысячу километров от советской границы. Мы все вместе составили эпитафию над могилой революционного матроса, Лариса Михайловна прочла ее вслух и голос ее дрогнул. Пулеметчик Зентик был первый в бою, на коне и в русской пляске в «Баг-и-Шахи», в Герате, за два месяца до конца своей короткой, смелой и честной жизни. Мы пришли к нему проститься в его последнюю кабульскую ночь. На кошке лежал обтянутый тонкой пленкой кожи скелет, — все, что осталось от русского веселого гиганта, двадцатипятилетнего красиво-

го, как Зигфрид, парня. Он агонизировал, — сжимались и разжимались пальцы руки, и ногти царапали деревянную стену, тридцать два слоновой кости зуба обнажились и сверкали нестерпимым блеском. Два его лучших товарища — Харитонов и Астафьев — непоколебимо играли в шашки. Третий его закадычный друг стоял над Зентиком и прикидывал глазами мерку для гроба, гроб сколачивали тут же в полпредстве, афганцы не сумели сделать стандартного европейского гроба. Доктор Дэрвиз делал вид, что следит за партией в шашки. Он курил и злился. В сущности ему тут уже нечего делать. «Отгулял» — сказал Астафьев и взглянул на умирающего. Лариса Михайловна наклонилась над Зентиком и положила ему руку на лоб, и доктор Дэрвиз поморщился. «Я хотел сказать... Я хотел сказать — не рекомендуется. Азиатская холера хотя конечно...» — Он провожал нас, шел позади и невнятно бормотал: «Железное тело, каменный организм. Вынес первый приступ и пошел смотреть, как мы играем в футбол. Потом, если хотите знать, он съел арбуз и выпил бутылку самодельного квасу и — конец. Сумасшедшие люди. Я их спрашиваю: зачем вы ему позволили? А они говорят: мы думали, он уже здоровый». Утром мы провожали обитый кумачом гроб. Толпа афганцев стояла на горе и смотрела, как хоронят «кафира» — неверного. Семь ружей дали траурный залп над могилой. Четыре дня назад он был самым сильным из восьми молодых атлетов. Они возились на траве, бегали в запуски. Ермош-хан, бывший боцман Ермошечко, с некоторой завистью смотрел на них. Он был комендантом, ему полагалось по чину не баловаться и подавать пример младшим. Он внушал к себе уважение, афганцы почитали его, как одного из первых наездников в Афганистане — стране природных наездников. Когда в этом была необходимость, он в шесть дней, загнав в пути трех лошадей, доехал до Герата, а в семь дней — до Кушки. Вечером в освещенных электричеством аллеях Чамана Ермош-хан иногда появлялся на коне, вызывая почтительную зависть афганских кавалеристов. Из средней лошади он умел выжать каче-

ства и резвость, показать лошадь так, что она соперничала с тысячными арабами, текинцами и карабаирами. Олимпийские игры во дворе полпредств продолжались до тех пор, пока не вывихнули руку самому молодому из охраны, и врачи полпредства на две недели получили нового пациента. Тогда развлечением для матросов стал военный моряк Ваня Жданов, широкоплечий, коренастый человек с лицом Кузьмы Пруткова, украинец с нежным и ветреным сердцем. Матросы говорили, что он женится в каждом городе, чуть не на каждой станции, где застревал эшелон, когда шел из Москвы в Кушку. Мы были свидетелями его разговора с начальником эшелона, — он просил справку и удостоверение в том, что «военный моряк Ваня Жданов в законном браке не состоит». До сих пор добрый товарищ ни разу не отказывал ему в такой справке, пока об этом не проведал Семен Лепетенко. В последний раз Ваня Жданов женился в Кушке. Он караулил грузы полпредства и не мог устоять перед дивчиной из Михайловского хутора. Он застал меня уже в Герате, где люди за два года ни разу не видели женщины без чадры. Вечером, когда спал невыспянный зной, он начистил до зеркального блеска башмаки, надел чистую форменку, распустил клеш и попросился в обнесенный двадцатиметровой стеной старый Герат: «Может, встречу якуюсь-небуду». Через два дня он принял обстановку, загрустил и попросился обратно. На груди и на боку у него были глубокие шрамы. Только железный организм матроса мог зарубцевать такие раны. Ваня Жданов нежно, но очень странно заботился о своем здоровье. В лекарства и врачей он не верил и на дорогу в Кабул попросил себе от всех дорожных бедствий одну головку чеснока. Здоровые и веселые люди томились в вынужденном безделье и рвались на родину. Они легко меняли сытую жизнь на голод двадцать первого года. Они просились домой и в тот день, когда радио приняло первую трагическую радиогромму о засухе и небывалом бедствии — голоде в Поволжье.

В тот единственный вечер не было ни песен, ни веселой возни, ни шуток под

столетней чинарой во дворе советского полпредства.

Мы постепенно втягивались в путешествие. Первые шесть дней в долине Герируда, в облаках меловой пыли и невыносимом зное — самая скучная и утомительная часть пути. Караван двигался, соблюдая порядок, исполняя сочиненные Семеном Михайловичем инструкции, радуя сердца красных командиров, начинающих дипломатов. В голове ехал на серебристо-пегой лошади афганский полковник, командир афганского конвоя. Его большой иноходец шел, приплясывая легким, танцующим шагом, всадник ехал, сложив руки на животе, как бы в дремоте, и длинные черные усы запорожца спускались ему на грудь. За ним ехали афганские кавалеристы, потом Ф. Ф. Раскольников и наиболее представительные и лихие из наших всадников, дальше тахтараваны и наши зауряд-кавалеристы, еще дальше, гремя кладью и бряцая цепями, множество вьючных лошадей, и в хвосте баран-феномен с костяными шарами вместо рогов, подарок наместника эмиру, и при баране, в придачу, два коня невиданной красоты и злости. Когда мы приезжали на рабат, час времени уходил на то, чтобы разместить табор, напоить и накормить сто человек и полтора ста лошадей. Теперь мне ясно, что мы были чуть не стихийным бедствием для провинции, по которой ехали. Это происходило главным образом потому, что мехмандар и величественный полковник основательно поправляли свои дела за счет окрестного населения. Ночью мы поднимались на башню, и спящий лагерь лежал внизу, как половецкий стан или ханская ставка: костры, кони афганских солдат, значки на пиках, оружие, горы клади, часовые и над всем этим серп наволунья — эмблема ислама — тонкий серп полумесяца. Уже не один хребет Парапамиз и не одна кривая афганская сабля легли между нами и советской границей. С каждым днем мы углублялись в горы и в чужую страну. Труба будила нас на рассвете, табор поднимался с гамом, суевой и разноязычными воплями, которые могут издавать только южане. Походные кухни срывались с места первыми. Мы, не спеша, пили зеленый чай

на разостланной среди двора кошме и последними выезжали из ворот рабата. Гудандар, приложив руку ко лбу, произносил: «бааманэ худа», что значит: «поручаю вас богу». С таким высоким поручительством, в надежде на заботу высших сил мы шумно покидали рабат и растягивались на полкилометра по пыльному следу коней и верблюдов, выбитому в сухом и твердом грунте. В один из дней мы пренебрегли тщательно разработанной инструкцией движения, нам надоел медленный шаг каравана, и мы стали опережать авангард и приезжать на рабат на два часа раньше нашего табора. Так, оторвавшись от каравана, мы пятеро ехали над рекой Герируд по карнизу, шириной в метр. Герируд струил под нами голубые, синие и зеленые воды, образуя круглые, пенные водовороты; напоминающие цветом павлинье перо. Сильное, стремительное течение заставляло нас торопиться и подгонять коней, хотя жаль было покидать эти места и расставаться со скалами — хаосом геометрических фигур, нагроможденных над горной тропой. Еле заметная тропа поднималась в гору и круто, под углом в тридцать градусов спускалась вниз, и — ужасное сооружение — тахтараван сползал вниз по тропинке шириной в шаг. Передняя лошадь осторожно искала место, куда опустить копыта, задняя не видела ничего, кроме чехла тахтаравана, седок срезжал вниз и с вытаращенными глазами слушал, как скрежещут подковы, как иступленно орут погонщики и катятся в пропасть камешки. В цирке такой номер сопровождался бы барабанной дробью и особым анонсом публике. После шумных споров с нашим главкомом пять-шесть всадников во главе с Ларисой Михайловной завоевали себе право опережать караван, и мы без стеснения оставляли позади танцующую лошадь и полковника, и конвой и ехали на два-три километра впереди, меняя аллюры, распевая песни, пренебрегая дорожными страхами и афганскими разбойниками, упоминаемыми путешественниками по Центральной Азии. Мы пересекали абрикосовые рощи. Абрикосы росли, как у нас растет дикий орешник. Они лежали золотым ковром прямо под деревьями. Сначала их ели,

потом собирали в шлемы, потом набивали седельные сумки и наконец, пресыщенные излишеством, мы равнодушно смотрели, как копыта коней безжалостно топтали золотые плоды.

Мы оставили последние селения в долине Герируда. Под нами, внизу, в долинах, как черные разостланные платки, лежали шатры кочевников. Кладбища и одинокие могилы предупреждали о близости людей, но люди жили где-то в стороне. Из ущелий появлялись обугленные солнцем, необыкновенно тощие старцы, появлялись и исчезали, побрызгав водой перед копытами наших коней. Это означало, что страннику оказан почет, — вода самое дорогое в пустыне. Герируд то появлялся, то прятался в горах, Афганистан отгородился с севера и с запада нетвердой линией горных цепей. В последний раз мы увидели Герируд и перешли его вброд, любуясь изумрудным течением, радуясь освежающим брызгам. Мы сделали привал у могилы неизвестного святого. Конский хвост понуро висел на месте, черепа буйволов и их рога наводили уныние, это было неподходящее место для привала. Кто он был и что делал в прошлом неведомый святой, на это нам не мог ответить даже всезнающий ориенталист доктор Дэвиз. Но он обрадовался случаю и прочитал нам невразумительную лекцию о султани Махмуде, — великолепный мавзолей мы оставили вправо и долго оглядывались на купол, похожий на индийскую пагоду. Три человека, трое смертных, некогда владели Индией, Персией и Туркестаном, — три гробницы лежали на нашем пути: гробница Тимура в Самарканде, гробница султана Махмуда на перегоне Ходжа—Чишт—Хорзар и гробница султана Бабера в Кабуле. Если бы не солнце и не дорожная усталость, можно было бы приблизиться к гробу султана Махмуда и наспех пофилософствовать о тщете земной славы и попробовать подняться поближе к неприступным скалам, где в пещерных городах горцы отбивались от завоевателей севера и юга.

Жизнь течет. Что стало с Багдадом и Балхом?

в горести спрашивает Омер-Хайям. Багдад — конечный пункт автомобиль-

ного сообщения Тегеран—Багдад, резиденция британских колониальных чиновников и авиационная база. Балх лежит в развалинах, как Александрия Маргианская — Мерв, как десять государств и десять великих городов, стертых с лица земли Чингис-ханом. Города процветали, зодчие строили дворцы, библиотеки, мечети и мавзолеи, ученые открывали закон земного притяжения раньше Исаака Ньютона, поэты состязались в изяществе стиля, султаны странствовали инкогнито под видом дервишей. Из Кордовы, Феца и Триполи, из Стамбула шли караваны, но «дуновение ветра опасно распутившейся розе». Библиотеки и дворцы, и мавзолеи обращены в развалины, оросительные каналы, ирригационная система, до сих пор приводящая в изумление специалистов, стерта с лица земли, и отважные археологи по остаткам стен и башен, и летописям современников пробуют восстановить в нашем представлении эпоху расцвета государств Средней Азии и катастрофу, которая прекратила их существование. Эта катастрофа загнала просвещенных правителей-меценатов в недоступные ущелья, пещерные города, она обратила зодчих, врачей и астрономов, и поэтов в диких зверей, укрывающихся в пещерах от орд Чингис-хана.

«Тот, кто узнает об этом их безрассудстве (безрассудстве разрушителей), будет грызть палец изумления зубом удивления» — пишет Рашид-ад-Дин, историк Чингис-хана. И он проникает в психологию великих разрушителей и приводит замечательный разговор между Бурджи-Нойоном, главой беков, и Чингис-ханом.

«В чем состоит наслаждение и ликование человека?»

«Наслаждение и ликование человека состоит в том, чтобы взять на руку сокола синеветного, которого кормили керкесом и который зимой переменил перья, и правильные перья, и сев на хорошего мерина, охотиться ранней весной и одеваться в красивые платья и одежды». — Так говорит Бурджи-Нойон — глава беков.

«Наслаждение и блаженство человека состоит в том, — говорит Чингис-хан, — в том, чтобы подавить возмущенногося

и победить врага, и вырвать его из корня, взять все, что он имеет, заставить вопить слугителей его, заставить течь слезу по лицу и носу их, сидеть на приятно идущих жирных меринах их, сделать живот и пуп их жен постелью и любоваться румяными щеками их и алые губы целовать...»

В библиотеке или за рабочим столом можно объективно и хладнокровно толковать с собеседником о гибели древнего Мерва, о Чингис-хане, но под луной Афганистана, когда афганская луна светит в темные зевы пещер над головой у путника и вокруг — ханская ставка эпохи Чингис-хана, мы говорили об этом прошлом, точно оно — вчерашний день. «Напомните мне, — сказал засыпавший доктор Дэвиз, — напомните мне, и я расскажу вам о моей поездке из Герата в Мешед через Кафаргалу и о мертвом городе восемь фарсах в окружности, городе большом, как Вена. Там жил миллион людей, пока их не вырезал Чингис-хан, напомните, и я вам расскажу...» Последние слова он произнес невнятно, потому что сорок километров, семь часов в седле сделали свое дело, и мы, приехав на рабат Хорзар, повалились на кошму и очень скоро заснули так, как спят только в молодости и в походе. Мы спали, как мертвые, и никто не думал о том, что до советской границы пятьсот километров и что мы в сущности — почетные пленники. Мы плохо разбирались в подводных течениях и омутках непрекращающейся политической борьбы за влияние и власть в Афганистане. Ласковый и кроткий назир наместника конечно ненавидел нас тайной и жгучей ненавистью. Он грустил о тихих, идиллических временах эмира Хабибулы, когда Афганистан был запретной страной для неверных, он любил английское золото и патриархальный быт старого Афганистана. Он целовал стремя молодому эмиру Аманулле-хану, а через девять лет поцеловал стремя у «сына водоноса» Баца Сакао, потому что это был конец реформам и автомобилям, и электричеству, и дружбе с «неверными» — большевиками. И если бы в эту лирическую лунную ночь прискакал всадник, гонец из Кабула, и, задыхаясь, рассказал бы назире о том, что во дворце Дель-Куша сидит новый

эмир и вернулось доброе старое время, возможно, ни один из нас не увидел бы крепостных ворот Кушки и алого знамени с буквами РСФСР.

Хорзар—Танге-Азао, самый трудный, утомительный переход Хезарийской дороги. Восемь перевалов, восемь подъемов и спусков, сорок пять километров по безводным долинам, по спиральным узким тропинкам — и наконец награда путнику, ущелье на середине пути, одно из чудес, которые изобретает природа на зло и в зависть гениальным фантастам-художникам. Две стены в тысячу метров высоты, багряно-красные, обгаренные закатом, образовали фантастическое ущелье. Мы ехали по ущелью около получаса, изумляясь и не скрывая некоторого страха перед чудовищной, стихийной силой земли. По всем правилам арабской мифологии, по законам волшебных сказок в конце ущелья должен был спать восьмиголовый дракон. Какие вулканические сдвиги наворотили здесь две стены — два отвесных утеса — и разбросали в горле ущелья обломки скал, величиной с двухэтажный дом. Тропинка узенькой ленточкой огибала эти обломки и в ущелье была особенная тишина, стук копыт и голоса звучали, как в погребе. Иногда от вершины утеса отрывался камень, падал с грохотом и разбивался в пыль, не причиняя вреда всадникам, потому что утес нависал над самой дорогой. Современник не слишком почитителен к стихийной силе природы, и через полчаса мы уже говорили о том, что бы произошло с красным ущельем, если бы афганцы устроили ему рекламу во всех европейских отелях и бюро путешествий, а экспресс Пешавер—Кабул—Герат (воображаемый экспресс) привозил бы сюда туристов—поджарых немцев-альпинистов и барышень с кодаками — и на тысячеметровом утесе вспыхивали бы электрические буквы: «Ориент-отель. — Тысяча комнат. Комфорт. Все виды спорта». Или — «Компания трансатлантических рейдов. Париж—Дэли—Пешавер—Танге-Азао». На этом кончились шутки, потому что мы сделали сорок пять километров и не встретили ни одного горного ручья, люди и лошади страдали от жажды и восемь перевалов и девять часов в седле утомонят

любого остряка. Мы приехали на рабат почти ночью, утром нас подняла труба, и мы увидели над игрушечной крепостью рабата ослепительно белую гору, — это были не вечные снега, а высочайший меловой утес. Мы поднялись на утес и внизу, под нами, увидели растянувшийся тремя зигзагами на целый километр наш караван; лошади в хвосте каравана показались не больше жуков. В сущности мы двигались, как древние греки, как македонская фаланга Александра по путям, не отмеченным на карте. Разница была только в том, что греки верили в античную географию и предполагали увидеть за любым перевалом бездну, обрыв в бесконечность, конец мира. «Тебя спрашивают о Зюлькарнейне... — говорит коран, — скажи, я прочитаю вам повесть о нем». И коран говорит, что Александру дано было идти до того места, где заходит солнце и наконец после долгих и славных походов воздвигнуть стену из меди и железа для защиты мира от «едва понимающих какую-либо речь народов гога и магога». И стена эта будет стоять до страшного суда. Об Александре в тот день много говорила Лариса Михайловна, и очень скоро мы углубились в вольное толкование корана, и стена из меди и железа толковалась как блокада, а народы гога и магога... Ну, словом, ни один ученый мулла не одобрил бы таких комментариев.

Кстати о мулле. Помянув Искандера Зюлькарнейна, мы неожиданно перешли к песням. Матрос Харитонов вынул из дорожного мешка гармонь, и мы с уханьем и свистом, и песнями ехали рысью по благополучному месту дороги, и тут, среди гор и ущелий, в полутысяче километров от Индии, появился мулла. Он ехал на жирном и сытом жеребце, сытый и дородный, величественно сидел на подушке и, не торопясь, перебирал четки. За ним ехал на ослепший слуга и клевал носом в ослиные уши, они торчали, как концы пышно завязанного банта. Дальше шла запасная лошадь с палаткой и утварью, — мулла возвращался из дальних странствий, может быть, из самой Мекки. И вдруг всадник и его конь окаменели, а слуга едва не упал под ноги ослу. Прямо на них ехало существо,

женщина в сапогах и мужских шароварах и шлеме со звездой и пела непонятные песни, и рядом гарцовали, ухали и свистали, и орали песни невиданные люди. Джигитовал Зентик, приплясывал в седле рыжий доктор, и гармошка выходила из себя. И это было в сердце Афганистана, в пятистах километрах от Кабула, ста километрах от человеческого селения. Лариса Михайловна увидела сумасшедшие глаза муллы и зияющий, как пропасть, рот и оценила комизм положения. Мы проехали мимо муллы и его слуги и, когда оглянулись, то увидели их в том же положении, — окаменевших от изумления на дороге. Они даже не повернулись и не посмотрели нам вслед. Для них не было сомнений — они видели шайтана и демонов. Через час они повстречались с караваном и, может быть, что-нибудь и поняли, увидев подобных нам людей, но вернее всего мулла на всю жизнь поверил, что видел самого дьявола со свитой демонов.

Смешное и печальное, веселое и страшное не уходило из поля зрения Ларисы Рейснер. Острый взгляд литератора позади экзотического парада и пышной восточной буффонады открывал темный, косный и страшный в своей неподвижности, звериный быт. Позади сладкоречивых и вкрадчиво-ласковых людей в сиреневых френчах и оранжевых ремнях и крагах она видела хромого водоноса, поливающего цветочный ковер в саду наместника. Она замечала афганского солдата, валяющегося в бреду, без чувств прямо на дороге, солдата в жесточайшем припадке тропической малярии. Она видела узкогрудого, чахоточного каракеша с розовой пеной на губах, полуслепшего от пыли и солнечного сияния. Пять вьючных лошадей, соединенные одной цепью, несут на себе желтые, окованные железом сундуки, и он срывает бессильную ярость на лошадях, он бьет по глазам заднюю лошадь и бросает острые камни в переднего коня. Грубая, горная сандалия натерла до крови ногу погонщику. Он снимает сандалию и бежит босыми ногами по раскаленному песку, но земля жжет, как раскаленный металл, и он снова надевает тяжелую обувь и бежит, подгоняя коней, и когда уже не хватает человеческих сил переносить боль и

усталость, он лезет на коня и сидит, скрестив ноги, поверх сундуков. Короткий отдых до первого подъема или спуска. Вот—афганский унтер, старик, седобородый ветеран, похожий на николаевского солдата. Он едет на тощей горной лошадке и поет хриплым, высоким голосом тоскливую песню, не песню, а долгий вопль, стенание на одной высокой ноте. Под его выгоревшей, цвета хаки курткой — раны и рубцы от плетей, и рубцы плетей страшнее заживших ран.

Хезарийцы... Вассальное, презираемое, обираемое афганцами племя... Тупая покорность и безнадежность и загнанная вглубь тлеющая ненависть в каждом земном поклоне хану и начальнику. Однажды за стеной рабата солдаты били плетями провинившегося слугу. Я никогда не видел Ларису Рейснер в таком гневе и отчаянии от сознания нашего бессилия. Она обрушила гнев на своих спутников, — кто-то сказал, что нельзя «вмешиваться во внутренние дела». «Вранье! Чепуха! Они издеваются над нами! Стервецы-сатрапы! Они знают, что мы — большевики, они знают, что мы не должны с этим мириться, они испытывают нас! Скажите им, что мы привыкли жить по другим законам, что мы не можем этого позволить. Скажите им, — они поймут! Еще лезут с поклонами — гадины!»

Мы пересекали плоскогорье, двенадцать тысяч футов над уровнем моря.

Тысячелетняя тишина, нестерпимое для глаза сияние вечных снегов. Они залегали серебряными змеями в расщелинах, или вдруг открывались на недосягаемой высоте белыми сахарными шапками. Человеческие голоса звучали, как через вату, глухо, слабо и неуверительно. Холодное дыхание снегов спорило с полуденным зноем, и в коньконцов на закате солнца мы надевали афганские телогрейки на бараньем меху. В тот день навстречу каравану шел голый, горбоносый старик с седой бородой библейского пророка. Голый, с одной повязкой на бедрах, он шел на высоте двенадцати тысяч футов в отрогах Гималаев, не чувствуя полярного дыхания вечных снегов.

Он шел в Мекку.

Мы путешествовали без приключений

и однажды с высокой кручи увидели внизу, в безводной долине, четыре квадрата с башнями по углам, четыре рабата. Они лежали перед нами, как на ладони, но до последнего из них было еще четыре дня пути, а до Кабула еще пятнадцать дней. Хезареджат уже был позади, мы ехали по Кабулистану. Рабаты были грязнее и немного изменили форму и устройство. В один из следующих дней обнаружилась полноводная горная река и в ней форель. Мы ее жарили и ели без стеснения, а изумленные афганцы не понимали, как человек может есть рыбу. Но еще более удивил их способ, которым добыли форель. А добыли ее очень просто. Военный моряк Астафьев бросил боевую ручную гранату в синие, как синька, воды реки, граната взорвалась, и оглушенная рыба всплыла на зло нашим рыболовам-классикам. Затем трое моих спутников, обрадовавшись воде, полезли в реку и сидели и плескались в ней до ночи. Через три дня они жестоко поплатились и оценили коварство климата и злые причуды природы. Сначала они почувствовали странную апатию, безразличие и необъяснимую смертную тоску.

«Огромный мир — пылинка в пространстве. Все, что знает человечество, — слова.

Народы, животные и цветы семи климатов — тени.

Плод твоих размышлений — ничто».

И хуже всего то, что эта внезапная болезнь здравого смысла и воли, даже рассудка настигает человека в пути, — пятьдесят километров от человеческого жилья, — в седле, или в землянке рабата, когда надо продолжать путь без промедления и до Кабула еще двенадцать дней пути. После странного поражения воли и разума наступают физические страдания. Пересыхают губы, лицо сводит в гримасу от горечи, и свинцовая, желтая тень ложится на лицо. Камни и люди, и животные начинают вращаться вокруг, ты пробуешь сосчитать пульс и теряешь счет, и рука падает, как налитая свинцом, и тело человека, как каменная глыба. Ему дают воду, он пьет и не чувствует ни ее вкуса, ни влажности, и каждый глоток отдается ударом в черепе. Затем начинается бред, тысяча тысяч всадников в остроконечных шапках с дротиками в

руках, желтые конские гривы. Или это просто острые камни и сухая мертвая трава у стен рабата? Лязг тысячи сабель о круглые щиты? Это лошадь звенит уздечкой? Когда действительность доходит до сознания,—бред кончен и вне фокуса, в радужном тумане больной видит лицо товарища и слышит отдаленный голос: «Тридцать девять и девять. А было почти сорок один. Сердце в порядке». Через два часа больной приходит в себя. Невыжатой мокрой тряпкой лежит рядом сорочка. Припадок прошел, жизнь прекрасна, человек, — это звучит гордо. Но болезнь возвратится завтра или послезавтра, и припадок будет продолжаться в определенный час. Тропическая малярия, — вы будете глотать граммами до одурения хинин и пить обыкновенную синьку, вы будете вливать в вены хину и сальварсан и сидеть в приемной институтов тропических болезней, врачи будут делать всезнающее лицо, и будут итти годы. Яд, введенный в кровь, плазмодии — так называется малярийный микроб — приручатся, они будут мирно жить в селезенке, почти не беспокоя человека, пока однажды, чуть не через десятилетье, весной, милой северной весной или чернотемным бабьим летом припадок неожиданно свалит человека, и он будет трястись под тремя одеялами и мерзнуть, и задыхаться от жары и лежать, как труп, как лежал десять лет назад на рабате, на полпути между Гератом и Кабулом. И тогда человек проклянет коварную природу, коварнейший из семи климатов и коварные горные реки Гильменд и Герируд.

У нас заболело трое из купавшихся в тот вечер в реке, еще трое почувствовали рецидив старой и давней малярии. Таким образом врач мог бы изучать три схожих вида малярии: кабулистанскую, энзелийскую у Ларисы Михайловны и у Синецына и малярию пограничную из Чильдухтерана, — ее на себе изучал сам доктор Дэрвиз. На кошме, распростертый, как труп, лежал — наша надежда — врач миссии. Нужно сказать, что в тот день на рассвете труба не играла поход и мы на день застряли на рабате, в приятной близости реки и малярийной долины. К вечеру все больные отболели. Мы собрали военный со-

вет и решили во что бы то ни стало уходить из проклятой долины. Анофелесы густыми столбами дымились над рекой, их были мириады мириадом, воздух был густым, упругим и звенел, как струна, от комариных полчищ. Между тем река была нарисована красивым, синим росчерком среди желтых камней, чудесная река, живописная, зеленая долина.

Северяне или родившиеся на нашем юго-западе верили доброй природе своей родины, земле, воде и солнцу, тихим рощам, ласковым рекам, траве и зелени. Мой земляк ложился прямо на землю, укушенный скорпионом, мгновенно распухал и три дня метался в бреду. Он накидывался на фрукты — и его караулила дизентерия, он купался в горной реке — и здесь была малярия. Даже клоп назывался верблюжьим и кусал так, что кровоподтек от укуса держался с полгода. Даже вьючный конь, коняга, скромнейшая и безобидная животина на родине, здесь превращалась в чорта и норовила лягнуть и укусить чужеземца. А псы кочевников, перед которыми наши цепные псы — кроткие комнатные собачки!.. Мнительный человек каждый день открывал у себя пендинскую язву и подкожного червя ришту и, если хотите, проказу, потому что прокаженные ходили на свободе по кишлакам и заглядывали на базары. Да, много забот было у мнительного человека в Афганистане.

Вот мы прожили день на рабате Мар-ар-хана, в почтительном отдалении от реки. Отощавшие кони жевали саман, и мухи роями летали над сбитыми спинами животных и сидели на незаживающих ранах, — пять коней уже пало в пути. Под вечер, когда ушло солнце, мы поехали в долину. Голова гудела, в ушах звенело от хинина; теперь все глотали хинин лошадиными дозами. Мы ехали шагом и за горой открыли дым костра и лагерь кочевников. Высокие, стройные, полуголые люди в цветных, темных цветов чалмах свежевали верблюды, и глава племени делил верблюжье мясо. Закопченные, разодранные шатры открывали жалкую утварь кочевников. Но вдруг мы почувствовали странное волнение, — эти люди говорили не на языке фарси, испорченном

афганцами, и даже не на наречии пушту, а на урду — одном из наречий Индостана. Ветер Индии, воздух, запах Индии шел от черных закопченных шатров. И тут мы еще раз поняли и узнали, что каждый шаг, каждый час пути приближает нас к Индии, колыбели человечества, мечте каждого странника и врожденного бродяги. Это были мухаджерины, мусульмане-индусы, ушедшие из Британской Индии. Они тысячами перешли границу и спустились с Сулеймановых гор в Афганистан, потому что хотели жить в стране мусульман. Это был своеобразный протест против британского владычества. Когда мы узнали об этом, то поняли неуловимую разницу между обыкновенными кочевниками «хане-и-сиар» (черные шатры) и спокойными, задумчивыми, исполненными своеобразного достоинства людьми из сердца Индии. Злое солнце, жесткий и злой климат гор, пыль многих дорог, грязь и пот изменили их облик и даже правильность, соразмерность в чертах их лиц. Афганцы из Гератской провинции с трудом понимали их, они мало понимали афганцев, в отношении нас они проявляли только сдержанное любопытство. Мы вернулись в лагерь, и Лариса Рейснер с необычайным волнением слушала рассказ о ветре из Индии, долетевшем из-за гор Сулеймана.

Мы пришли повидать доктора Дэрвиза, он мучительнее всех переносил малярию — память о Чильдхутгеране. Как признанный ориенталист, он переносил ее мужественно, и когда Лариса Михайловна вспомнила Энзели, он сказал: «Я, как вам известно, шесть лет живу на Востоке, таким образом, если хотите знать, вряд ли кто-нибудь другой может... Одним словом, если вам угодно в первый и в последний раз и чтобы меня не перебивали, слушайте...» Так начинался рассказ о путешествии из Герата в Мешед и обратно доктора Дэрвиза, бывшего зауряд-лекаря австро-вейгерской армии, полиглота и ориенталиста.

— Дело в следующем, — начал доктор Дэрвиз, — дело в том, что я попал в плен в самом начале войны под Красником. Командир 32-ой галицийской дивизии, граф Бертольд, родственник из-

вестного всем вам графа Бертольда старшего, допустил непоправимую ошибку в выборе позиции...

— Доктор, — сказали мы, — вы обещали рассказать про Мешед и путешествие из Герата в Мешед.

— Хорошо, — продолжал доктор, — таким образом в 1915 году я очутился в...

— Доктор, — еще раз сказали мы, — ближе к Мешеду и Герату.

— Имейте в виду, что я — вспыльчивый человек, — неожиданным басом сказал доктор и, уже не останавливаясь ни на секунду, продолжал, — находясь в лагере для военнопленных, я овладел русским, тюркским, английским, персидским и арабским языками в достаточной степени, чтобы объясняться с этими национальностями. Кроме того, я прочитал все, что имелось в Ташкенте по востоковедению и расширил мои познания путешествием в Кабул в 1920 году и путешествием в Западный Китай в 1921 г. Английский и русский языки я изучал по журналу «Коммунистический интернационал», который, как вам известно, издается на русском и иностранных языках. Я хочу вам доказать, что я кое-чему научился и в политике. Одновременно с языками я изучил на себе самом симптомы тропической малярии «malagia tropica», пендинскую язву, последствия укуса фаланги и жестокий ушиб при падении с лошади.

— Доктор, — в третий раз сказали мы, — ближе...

— Хорошо, — наливаясь кровью до корня волос, воскликнул доктор, — если вы не умеете слушать — хорошо. Я начну так: у Фарух-хана, пятилетнего сына персидского консула, нерегулярно действовал желудок. Вас это устраивает? Хорошо. Мухамед Оль Мольк, его превосходительство персидский консул в Герате, — мой личный друг, его превосходительство командующий войсками Гератской провинции Абдул Азис-хан — тоже мой лучший друг. Почему? Это врачебная тайна, и я не могу ее нарушать. Он мой пациент и считал меня своим лучшим другом, потому что когда мужчина семидесяти лет от роду...

— Врачебная тайна, — хором сказали мы.

— ...одним словом, в гератские ночи, когда вы видите сны, которые не объяснит ни один психоаналитик, ни даже профессор, доктор Зигмунд Фрейд, я встал в пять часов утра и сделал три километра по проклятой аллее. Я гулял и думал: Мухамед Оль Мольк—мой лучший друг, Азис-хан—мой пациент и друг. До каких пор ты будешь ишаком?

— Это кто кому сказал?

— Это я говорю себе. Честное слово я перестану рассказывать! Значит, я говорю себе: до каких пор, доктор, вы будете ишаком? У вас высокие друзья, вы—ориенталист, дипломат и полиглот. И вот я хожу по нашим Елисейским полям, вы их знаете, и вижу, идет Мешеди, извозчик Гафур из Мешеды, мой пациент и лучший друг, вы его тоже знаете. Поймите, как работает моя мысль в ту минуту: извозчик Гафур—раз, персконсул—два, Абдул Азис-хан—три. Доктор Гуго Дэрвиз,—сказал я себе,—почему тебе не поехать в Мешед? Из Герата в Мешед через Кафаргалу. Мысль? А? Невежественные люди не понимают, что это значит, но ориенталисты... Знаете ли вы, что, кроме трех немцев-офицеров, проехавших к эмиру Хабибуле, и еще двух англичан, ни один европеец не ездил по этой дороге. Я, доктор Дэрвиз, советский гражданин и сотрудник консульства, буду шестым европейцем, мое имя будет в списке великих путешественников-исследователей Центральной Азии. Сказать вам правду—я неудачник. Я составил подробное описание дороги из Герата в Кандагар и нашел в Ташкенте два таких же описания, я написал подробное исследование-доклад о населении, быте и экономике Западного Китая и нашел в Ташкенте пять таких докладов. Нет, сказал я себе. Карты легли так, что проиграть может только слепой. Персконсул твой друг, Азис-хан тоже твой друг, извозчик Гафур, по прозвищу Мешеди, тоже. Ты должен ехать из Герата в Мешед и собрать материалы для исследования, чтобы в Москве сказали: «Товарищ Дэрвиз, сделайте честь Академии наук, будьте членом-корреспондентом», а великий востоковед Бартольд сказал: «Товарищ Дэрвиз, как-нибудь зайдите ко мне, поговорим о султани Мухамеде».

В девять часов утра я был у Мухамед Оль Молька, он лежал на ковре в саду, в палатке и писал пропуск извозчику Гафуру. Он посмотрел на меня темными глазами и сказал: «Дженаби доктор саиб, вы мой друг, вы хейли, хейли хуб адам (очень, очень хороший человек), вы вылечили Фарух-хана, вы научили меня играть в китайскую игру маджонг, которая интереснее домино и шахмат. Я вам дам визу в Мешед». Тогда я поехал к Абдул Азис-хану. Он сказал: «Доктор саиб, вы куб адам, вы хороший человек, вы вылечили меня и так далее... Я вам дам пропуск в Мешед и обратный пропуск в Герат». И наконец я пошел к моему другу Гафуру и сказал: «Мы едем в Мешед». Ровно через шесть дней старая, запряженная четверкой карета Гафура стояла у ворот консульства,—от Герата до Мешеды, инш-аллах, колесная дорога. Вы знаете, что я делал эти пять дней? Не знаете. Я сочинял собственную, новейшую систему стенографии. Что вы скажете?

Мы молчали.

— Для чего это нужно? Для того, чтобы я мог записать каждую мелочь в пути. Потом я сказал себе: Допустим, афганцы или курды похитят рукопись—они не поймут в ней ни строчки. Чтобы понять, надо знать ключ моей системы. А если они найдут ключ? И я выучил его наизусть и сжег из предосторожности. Мы выехали на рассвете, у кареты была одна рессора, вы понимаете сами—неудобно ехать с одной рессорой. Короче говоря, на четвертый день пути мы приехали в Кафаргалу на персидской границе. Какой-то сумасшедший старик, впервые в жизни увидел европейца, бросился на меня с ножом. Солдаты привязали его за шею к седлу и повели к хакиму вешать, я его выкупил за две рупии. Я ехал с почетом, но отсидел зад и отбил бока. Я видел мертвый город восемь фарсах в окружности, мертвый город, большой, почти как Вена. Здесь жил миллион людей, пока их не вырезал Чингис-хан. Вороны, ростом в полметра, сидели на развалинах. Я четыре часа обмерял башни и руины мечетей и стены и описывал уцелевшие иразцы. В Персии мне дали конвой—трех персидских коней. Я приехал в Мешед в

консульство РСФСР. Сотрудник консульства встретил меня мило, он не спросил меня о том, что я именно видел в пути, он спросил, есть ли в Герате сигареты «командор» и сколько стоит коробка табаку «кэптээн». Я был в Имам-Риза и на базаре и постоял минуту у цепи в базаре—Арк. Неверный не смеет ходить за цепь. Но все это мелочь по сравнению с тем, что я видел на обратном пути у курдов. Я жил у курдов ровно две недели и лечил глаза самому бужнурскому хану. Мои записи, шесть тетрадей, были всегда со мной. У меня было два припадка малярии, и я не уверен в том, что черноусатый курд (он ухаживал за мной, как за родным братом) не был сам Лоуренс или другой джентльмен с Доунинг-стрит. Но что они понимали в моей стенографии. Я выехал из Мешед в январе, жидкая грязь цвета венского кофе была по брюхо коням. Карета тонула по самое колесо, я шесть раз пересаживался на коня и приехал в Герат по пояс в грязь. Я отдал мои шесть тетрадей консулу, при мне их заперли в несгораемый шкаф. Потом я заснул и спал сорок часов, потом проснулся и закурил папиросу, мешедскую папиросу братьев Эффендиевых с русской этикеткой и портретом Ахмет-шаха... Да.

— Что же вы видели у курдов? О чем говорил бужнурский хан?

Доктор молчал. Мы тоже помолчали, и потом кто-то спросил:

— Ну, дальше?

— Что дальше?

— Манускрипт, записи, материалы, вы их опубликовали?

Он помолчал и вздохнул:

— Я же сказал вам. Это были стенографические записи. Я записал их по моей системе.

— Ну?

— По моей системе стенографии. Но я с же г ключ.

— Ну?

— А систему, мою систему стенографии я з а б ы л. Целый год я пробовал расшифровать записи, потом я выбросил их из окна, и гриф разорвал мои шесть тетрадок в клочки.

— Все?

— Все.

Были навзрыд шакалы, афганский ча-

совой пел пронзительно и грустно или просто считал звезды. Мы разошлись по землянкам, мы хорошо спали в эту ночь, и в пять утра нас с трудом разбудила труба.

Эге, — скажет читатель, — тут вы приврали, это просто новелла, обыкновенная новелла во вкусе О. Генри хотя бы. И тогда автор «Записок спутника» назовет имя товарища Равич, бывшего консула в Герате, — он не откажет подтвердить, что «в общем» так оно и было, а «в целом» автор прикрасил самую малость. Именно самую малость.

Без печали и сожаления мы оставили рабат с непривлекательным названием «Маар-хана», то-есть дом змеи. Утром мы одолели перевал, напоминающий американские горы, и спуск—лестницу гигантов. Следующим чудом афганского Луна-парка был чортов мост из трех качающихся бревен, покрытых хворостом и глиной, и не имеющий никаких признаков перил. Мы ехали по мосту на высоте трехэтажного дома, мутный желто-бурый поток рычал внизу и потрясал львиной гривой. Дальше была узкая горная щель, она раздвигалась, ширилась с каждым часом и вдруг обратилась в буйную цветущую долину. Два дня мы ехали по этой долине среди стелящегося, как прозрачный зеленый дым, кустарника. Три матроса ехали в хвосте каравана, сидели мешком в седле, качаясь и держась за луку. У них была жестокая малярия. Они сделали в два дня почти сто километров. Дэрвиз сунул одному под мышку градусник, потом другому и третьему и лаконически сказал: «Сорок и выше».

До Кабула — триста километров. Утром по пересохшему руслу реки ехали нам навстречу два всадника — один в шляпе ковбоя и красных кавалерийских штанах, другой в тропическом шлеме — комендант и секретарь полпредства — Ермошенко и Игорь Рейснер. Они выехали нам навстречу из Кабула.

Кала-и-Кази был последний рабат перед Кабулом. У лавки фруктовщика в кишлаке стоял двухколесный желтый экипаж, называемый «баги». Спиной к кучеру сидел молодой человек в чесуче, ковбойской шляпе, с бирюзой и гал-

стике. Это был чиновник министерства иностранных дел. Кабульский извозчик позвонил в звонок и поехал впереди каравана. Мы приняли это явление как возвращение в века культуры и цивилизации. Дех-Мазангское ущелье — естественные крепостные ворота Кабула. По хорошей колесной дороге ехал велосипедист в чалме и туфлях на босу ногу. У ворот рабата мы увидели автомобиль с красным флажком на радиаторе. Сирена автомобиля зарычала на верблюда в воротах, и он, не торопясь и не ускоряя шага, прошел внутрь двора.

Худошавый человек с острой бородкой, в фуражке с красноармейской звездой, приложив к козырьку руку, смотрел на приближающийся караван. Это — Рикс, военный советник полпредства.

День потух без сумерек, сразу настала ночь. Т р и д ц а т я ночь в пути.

Слабая, прозрачная струйка воды плескалась в острых камнях. Лошадь искала воду и хватала мягкими, горячими губами камни. Эта прозрачная, серебристая струйка воды убегала в темноту. Там русло ее расширилось и отхватывало почти треть долины, обыкновенное пересохшее русло горной реки. Река называлась Кабул, и, пробежав тысячу километров, она впадала в великую реку. И это был Инд.

Утром на т р и д ц а т ь п е р в ы й день путешествия мы увидели город и золотистый купол мечети, и два острых минарета, как два стража по сторонам купола. Мы узнали эту мечеть по силуэту против солнца. Силуэт был выбит на афганских монетах и на серебряных гербах афганских кавалеристов, он был и на сургучной печати, запечатывающей письма афганских министров.

Мечеть — мавзолей султана Бабера, а город — Кабул.

(Окончание следует)

К портрету Р.

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ

Кузнец тебя выковал и пустил
По свету гулять таким,
И мы с удивленьем теперь тебе
В лицо рябое глядим.
Ты встал и, смеясь чуть-чуть, напролом
Сквозь тесный плен городьбы
Прошел стремительный, как топор
В руках плечистой судьбы.
Ты мчал командармом вьюг и побед,
Обласкан свинцом и пургой,
Остались следы твоего коня
Под Омском и под Ургой.
И если глаза сощуришь, — взойдет
Туман дымовых завес,
Голодные роты поют и идут
С штыками на перевес.
И если глаза сощуришь, — опять
Полыни, тайга и лед,

И встанет закат, и Омск падет,
И Владивосток падет.
Ты вновь поднимаешь знамя, ты вновь
На взмыленном Воронке,
И звонкою кровью течет заря
На поднятом вверх клинке.
Полтысячи острых, крутых копыт
Взлетают, преграды сбив,
Пронесят кони твоих солдат
Косматые птицы грив.
И этот последний, черствый закал
Ты выдержал до конца,
Сын трех революций, сын всей страны,
Сын прачки и кузнеца.
Смеются глаза, и твоей руки
Верней не бывало и нет.
И крепко знают солдаты твои
Тебя, командарм побед.

Фергана

Отрывки из поэмы

МАРК ТАРЛОВСКИЙ

Проезжая Аральской полупустыней,
С багровеющим в памяти Туркестаном,
Я смотрел на орлов, цепеневших в гор-
дыне,

На степных истуканов со взглядом сте-
клянным,

Что дежурили в позах изоляционных
На фарфоровых чашечках телеграфа,
Пропуская везомые в граммах и в тон-
нах

Грузы хлопка, и коконов, и кенафа.
В рассужденьи окон были матери зорки:
То им пыли напустишь, то сгубишь
младенца —

Приходилось бежать к умывальной ка-
морке,

Захватив маскировочные полотенца,
И, под стук пассажиров, обиженных
кровно

Нешодатливой дверцей, глядеть из ва-
гона,

Подводя боевые орлиные бревна
Под символику римского легиона...

.....

За снегами, за льдами, за облаками,
В допотопном ковше, в обезводненной
яме,

В плоскодонном, как лунные кратеры,
рве,

Через тысячи верст салютая Москве,
Человеку на память и богу во срам
Генералы поставили каменный храм.

И стоит он чудовищем крестообразным,
Осьминог, охромевший наполовину,
И кирпич его служит великим соблаз-
ном

Фергане, обминающей скверную глину.

Что ферганские мне нашептали по-
токи? —

Не любезности, принятые на Востоке,
Не стихи о кваклявых, любивых ночах,
Ибо стиль соловьиный невинно зачах:
А узнал я, что труд, это — хлопок
и шелк,

Что дехкан, это — друг, а басмач, это —
волк,

Что товарищ — ортак, что вредитель —
кастам,

И савыцки — якши для янги Туркестан,
И что братство трудящихся, это — не
бред,

И синоним республики — джумхуриет...

Фергана — это прозвище целой до-
лины,

Имя главного города этой долины.

Это — фабрика гор, где казался б Каз-
бек

Лишь кустарным бугром от садовых
мотыг.

Где себе на потребу ломает узбек
Благородный, тургеневский, русский
язык.

Кстати, русский язык! —

Я ведь был педагогом
Там, где пахнет безводьем, ослами, ис-
ламом,

И довольно успешно соперничал с богом
Перед выше уже упомянутым храмом.

Под неистовый благовест этого храма,
В Высшем педагогическом институте
Полтора ста узбеков учились упрямо,
Рылись в книгах, докапывались до сути.
И, когда мы по-русски спрятали гла-
голы,

Лютый колокол рывкал в злокозненной
гамме,

Бог врывался в аудиторию школы,
Бил по кафедре медными кулаками.

«Я, ты, он...»—был отпор коллективного
 грома,
 «Бью, бьешь, бьет!.. рву, рвешь,
 рвет!..»—отвечали десятки.
 И грамматика звон вытесняла из дома,
 С ним катилась по плацу в невидимой
 схватке...

День уже истекал, из чего вытекало,
 Что жара — за горами. Но будемте
 кратки,
 Как и те, что громили, под свист опа-
 хала,

Исполкомские промахи и недостатки:
 Придушив подвернувшегося скорпиона
 (Кстати, лучшее средство — настой из
 него же),

Атаджан Ниазмет говорил упоенно,
 Что вода нам нужна, но учеба — доро-
 же;

И, что если мулла с христианской ме-
 чети

Нас глушит, барабаня по медным наго-
 рам,

Надо звон запретить, и приказ о за-
 прете

Должен быть, как поливка,—ударным
 и скорым.

А о том, что цветет революция ярко,
 И по линии женщины — даже ярчайше,
 Возмущаясь молящейся в церкви дикар-
 кой,

Говорила студентка Юлдашева Айша,
 Двадцатипятикосая (расовый признак)
 И немного раскосая (местный обычай),
 Знаменитая пляской на свадьбах и триз-
 нах,

Гюль-райхан, или роза, в стремнине
 арычьею.

Фаткуллу Рахимджана кусали москиты,
 От которых защиты я, кстати, не знаю,
 Но слова его были не столько сердиты,

Сколько смежны со словом «недоуме-
 ваю»:

Он провел параллель между ныне и пре-
 жде

И прибавил, что храм — разновидность
 нарыва,

Что, поставленный в память о тюрке-
 невежде,

Он, как памятник, должен стоять мол-
 чливо...

После митинга пели о хлопковой вате
 И грядущем с машинами западном

брате,
 Долго пели про то, как на главном посту
 Здесь поставили воду и вату-пахту.

Эта песня ревела пустынным зверьем,
 Шелестела песком и валютным сырьем.

Колыхалась, как дышло шатровой арбы,
 Как ишачьи тюки и верблюжьи горбы.

И, шурша, точно шелком расшитая
 ткань,

Глубочайшими «га» раздирала гортань.

Проезжая барханым простором Араль-
 ским,

С багровеющим в памяти Туркестаном,
 Я смотрел на орлов с их лицом гене-
 ральским.

И на сизоворонок с их задом-султаном.
 Золотые изведав полупустыни,

Облиняв и оперившись в хлопковой
 нови,

Мы огромными птицами стали отныне,
 Перелетными птицами русских зимо-
 вий. —

Да, как птицы, прожженные хмелем
 чужбины,

Будем тамошний ветер ловить мы по-
 куда,

Но вернемся к верблюдам на жесткие
 спины,

Но отведаем перцем горящие блюда!

Примечания: по-узбекски «якши» — хороший, «янги» — новый, «нагора» —
 узбекский ударный инструмент.

Люди и факты

1. ДЗАХО ГАТУЕВ — Два перевала. 2. ДМИТРИЙ СТОНОВ. — Верный путь. 3. ГЕОРГИЙ ГАЙДОВСКИЙ — Джизакский рейд.

1. ДВА ПЕРЕВАЛА

Очерк

Дзахо Гатуев

1. Юго-Осетия

С юга на север или обратно эту страну можно даже на кляче проехать за день, с востока на запад или обратно — три дня, или четыре, или пять.

Громадные заставы ее гор в веках обросли тенистой чинарой, сосной, кизилом, яблоней, грушею. Греются на них змеи тропинок. Змеи протянули свои мудрые головы в чащи лесов, к влаге источников.

Пологие места на склонах светлы и радостны, — выкорчеван на них лес, колосится медный ячмень, подслеповатыми глазами смотрятся сложенные из бревен избы.

Мало сейчас в Юго-Осетии старых, смурых от времени изб. Все новые, еще пахнут лесом свежие, сочащиеся бревна.

Люди в Юго-Осетии бедны. Одежда — дохмотья, утварь — хлам, барахло. Снят или не снят еще урожай — люди запасаются на зиму хлебом. Из города Цхинвала — «Чреба» называют его здесь — везут вьюком, влечат на спинах многопудовые мешки, а в глазах — неописуемые муки и скорбь. Много веков ей — этой скорби.

На выходах из ущелий приземистыми черепахами стоят многоглазые замки. Теперь к их стенам мирно приникли пахучие буйволятники, взбегают на камни юркие ящерицы, вьется янтарный виноград.

«... Ни один осетин не смел показаться на базарах и в деревнях Карталинии (Грузии.—Дз. Г.) без того, чтобы не быть совершенно ограблену от так называемых помещиков. Некоторые из этих последних устраивали даже в тесных ущельях укрепленные замки, мимо которых никто из осетин не мог пройти, не подвергаясь опасности лишиться своего имущества. Под разными предложениями брали они осетинских детей и потом продавали в разные руки...»

На севере, как многоверстный болт, замкнул ущелье безлюдный хребет. Ни деревца на нем, — чахлая трава и голые скалы, и громадные каменные осыпи, похожие на ноги. Точно громадный человек тяжело перегнулся через кряж, чтобы зачерпнуть в матору живой воды из родных котловин Севера.

Перегнулся и — умер он, что ли, — стоит, и стоит, недвижны каменные ноги его, уперлись в медное дно ущелья.

Сторонясь подвижных осыпей, осторожно разматывается нить тропинки, ведет на перевал, за которым Осетия Северная — Нар, Заромаг, Алагир.

Когда-то голодно стало людям в каменных ущельях севера, тесных, как дно глиняной чаши, голых, как стены чаши. В устьях ущелий, изливавшихся в плодородные равнины севера, стояли ногайцы, потом кабардинцы. Некуда было податься людям, — через горные кряжи переходили они в Грузию, выжигали леса на склонах гор, рыхлили землю

обугленными в концах бревнами, засе-вали.

И строили защитные башни на приземистых утесах: на юге тоже стояли в устьях ущелий многоглазые замки грузинских князей.

Нигде в мире эта праздная сволочь столь не изощрялась по части обложения крестьян, как в Грузии.

Три барана в год — каждая семья.

Одна корова с участка, который отнимал для пахоты 15—20 дней.

Один бык — «подарок» в благодар-ность за каждый прошедший год жизни.

Два фунта масла в сырную неделю.

Пиво — в великий пост.

Две кады ячменя в год.

Копна сена в 5 пудов.

Строевой лес в нужном коли-честве.

«Подарок» по случаю каждого вос-кресного дня.

«Подарок» по случаю приезда фео-дала.

«Угощение» феодала и его гостей.

Содержание соколов феодала.

Войлок для коней феодала.

Вспашка всеми крестьянскими сохами помещицкой земли.

Снятие урожая.

Доставка урожая.

«Кто платит дань без принуждения?»

В устьях ущелий стояли многоглазые замки, в истоках — защитные башни осетинских фамилий. Нехватало княже-ских рук, чтобы дотянуться в глубины ущелий за «подарками». Наоборот, из года в год нехватало силы на прину-ждение у благочестной троицы грузинских царей — карталинского, имере-тинского, кахетинского — у трех или четырех тысяч грузинских князей.

Имеретинский «давно претерпевал крайнюю бедность и часто бывал без хлеба. Он принужден был в начале 1785 года наложить на народ для соб-ственного пропитания новые налоги, но имеретины отказались платить их».

Единственная надежда была на Рос-сию.

«Вам, великому государю, свою бед-ность объявляем, что светлость наша обратилась во тьму и солнце уже нас не греет, и месяц нас не освещает, и день наш светлый учинился ночью, и та-ково мне ныне учинилось, что лучше бы

у матери моей утроба пересохла и аз бы не родился, нежели видеть, что право-славная христианская вера, иверская земля при моих очах разорилась, в церквах имя божье не славится и стоят все пусты». ¹⁾

И вот наконец

Такой-то царь в такой-то год
России вручил свой народ.

«Осетинцы, подвластные князьям здешним, не повинуюсь совсем оным, делают разные грабительства и нагло-сти, воруя людей и скот, подобно лезги-нам, и хотя мною несколько раз были увещаемы, но и затем, не внемля ни увещаниям, ни угрозам моим, прости-рают более свои буйства... Не благо-угодно ли будет повелеть их усмирить оружием победоносных войск его импе-раторского величества и наказать оных за все преступления, ими содеянные».

Его превосходительству генералу Кноррингу благоугодно было повелеть наказать осетинцев, а его превосходи-тельство Симанович со всем рвением выполнил свой братский в отношении грузинских князей долг. Поняли осети-ны, что без царской России они могли еще обращать светлейших во тьму и за-мораживать даже при ярком солнце, что грузинские помещики, не надеявшиеся до сих пор на своих же грузинских кре-постных, приобрели силу в победоносных войсках его величества.

На севере волновались тагаурские и куртатинские алдары и таубии. Русские генералы сидели в Тифлисе, — конча-лась историческая роль алдаров — ан-гелов-хранителей на пути в Грузию, кончались богом дарованные сборы с торгующих и неторгующих путешествен-ников.

«Клянусь богом, в которого верую, что камня на камне у вас не оставлю и не генерала пошлю, а сам приду с вой-ском» — грозился им генерал Цицианов и сдобривал угрозу любимой поговор-кой: «Мыслимое ли дело, чтобы орлу с мухами разговаривать».

И не разговаривал орел: из года в год его когти глубже вонзались в осе-тинское тело, гнувшееся под грузом до-бавочных обязанностей: бесплатно до-

¹⁾ Из письма кахетинского царя Александра.

ставлять дрова и строевой лес для воинских команд, бесплатно перевозить воинские команды, наблюдать за исправностью Военно-Грузинской дороги.

«Я видел сам у них хлеб, гниющий на стебле и в снопах в поле под дождем за отвлечением поселян от своих домов».

«Народ сей доведен до крайности и требует облегчения, которое тем справедливее, что с учреждением в Грузии нынешнего правительства он несет такую повинность, какая прежде не была известна. Земли же у них на 20 дворов $\frac{1}{2}$ десятины, без сенокоса и пастбищ».

Так писал русский чиновник Чиляев.

И божья благодать сошла
На Грузию. Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасая врагов
За гранью дружеских штыков.

Так писал русский поэт Лермонтов.

Чиляев писал до 1830 года — года третьего восстания южных осетин, когда Паскевич приказывал Ренненкампу:

«Как будут защищаться в своих селениях, обняв со всех сторон, истребить».

Ренненкампу без труда занял сытую Магкоевскую башню, которая около Джавы, не сдавалась башня Логкаевых, которая около Чеселта. Короткая леоня рассказывает:

Логкаевская башня позвала Магкоевскую башню:

«Мой завтрак у тебя — порох и пули».

Магкоевская башня ответила:

«Моя голова — хотыс, мой низ — калуа¹⁾,

В талии у меня двенадцать невесток».

Логкаевская башня сказала:

«Моя голова — булат, мой низ — железо,

В талии у меня — двенадцать могучих мужчин».

Истребили восставших — на приземистых черных утесах стоят обломки башен.

Чиновник не всегда выражает класс, поэт — всегда:

— Жалкие люди, — сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолебнении.

— Преглупый народ, — отвечал он. — Поверите ли — ничего не умеют, не способны ни к какому образованию. Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы хотя разбойники, голыши, зато

отчаянные башки. А у этих и к оружию никакой охоты нет, порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно — осетины.

Девяносто лет нищенствовала Юго-Осетия: даже после «освобождения» крестьян оставались князья владельцами земли: изменилась форма отношений, сущность была та же — крепостническая. Платили помещикам за разрешение выжечь лес на пологом склоне ущелья, платили и с урожая, взелеянного на пахотном участке, сделанном кровью сердца.

Из года в год все реже и реже отсыскивались незанятые пологие склоны, — из года в год новые и новые партии переселенцев уходили за Куру — в Гуджаретию или в Кахетию — на Алазань, чтобы спасти свои души ценою новой, еще горшей кабалы.

Еще раз попробовало крестьянство свои силы в 1905 году. Движение с одинаковой силой охватило грузинских и осетинских крестьян, провозгласивших: — Ертоба!¹⁾

для совместной борьбы с угнетателями.

Крестьянские цители разми (красные сотни) вступали в бои с помещичьими черными, уничтожали их и вместе господство ситательных Могабели, Амилахвари, Эрнстовых. Их изгнали из поместий, — земля вернулась к единственному полноправным владельцам.

Революционную власть осуществляли атиставы и асиставы — революционные десятские и сотские.

Сколько из них сгнили в тюрьмах Тифлиса и Гори, сколько хриплой кровью легких выхаркали свою жизнь в «синей» Сибири, — плясала реакция на омертвевших пространствах империй.

2. 1917 — 1920 — Перевал

Одежда в Юго-Осетии — лохмотья, утварь — хлам. Бревна, сложенные в жилища, свежо пахнут лесом, каплет из них ароматный сок.

В ином закопченном нутре хижины сморщенный, почерневший в годах столб подпирает закопченный потолок. Столб тронут огнем. Сколько ни старались хо-

¹⁾ Хотыс и калуа — неважные кушанья осетинской кухни, приготавливаемые из муки, замешанной в воде.

²⁾ Единение!

заява скрыть следы: стругали столб, счищали обуглившиеся в пламени края, — это ясно. Огонь и рубанок не пожалели строгого осетинского орнамента, вырезанного на столбе дедом или прадедом хозяев; орнамент лишен симметрии — нелепые обезображенные куски.

Мы на высотах Юго-Осетии. Внизу растянулась уютная долина Рустави. В километре от нас долина замыкается мрачным ущельем Эгро. Крутые многоверстные склоны его густо поросли мрачным лесом, и к самой вершине хребта взлетела стройная горская башня. Никто не знает, кто построил ее в таком нелепом месте — в стороне от человеческих дорог, на крутосклонах, какие не запахать, не засеять. Никто не знает, какой мрачный одиночка засел в ней, что берег он там — жизнь или любовь.

Вчера мы в компании красных партизан пытались пробраться в башню, которая приютила их в 1920 году. Мы спустились на дно ущелья, в ручей, скалистые берега которого и островки попервобытному густо заросли мощными лопухами и папоротником, каменное русло которого завалено скользкими стволами деревьев. Впустую цокали копыта наших коней на кремнистых ступенях русла — мы искали выхода на другой берег, на котором башня. Иногда мы осмеливались: мы принимали спускавшиеся к ручью звериные следы за человеческие, направляли по ним коней, поднимались и соскальзывали обратно.

Нет пути-дороги в башню.

Что значит — не нужна она теперь.

Смеркалось. Моросил дождь. Мы вернулись в ближайший поселок, в котором четыре дома, четырнадцать густошерстных черномордых псов и два десятка милых и добрых хозяев в возрасте от двух месяцев и до 117 лет.

Молодежь взвизгивает, плачет, сплетается в дикие, катающиеся по земляному полу клубки. У молодежи глядятся сквозь рубахи черные глазки пупков, вымазаны золой морды, влажные от носа до подбородка, до скул, до ушей.

Мудры и спокойны 117 лет. Они запахнулись в порванную по швам овчинную шубу, их божественно седые кудри

прикрыты маленькой бараньей папашкой.

— Гино! Расскажи нам про старину что-нибудь!

— Что ж я буду рассказывать вам, вы молодые, вы больше знаете: большевики. Вы ли будете меня спрашивать?..

— Про старину рассказать просим.

— В старину мы все княжескими данниками были. Рассердился князь на моего соседа: «Я вырву из тебя душу» — крикнул. Сосед был человек смелый: «Моя душа принадлежит богу» — князю ответил. Князь еще больше рассердился и забрал у него быка... Вот вам и старина вся.

Мы просим рассказать еще, но Гино молчит. Ясные голубые глаза его радостны, как у удачливого домашнего фокусника.

Ночью нашу хижину за гриву крыши потрясал ветер, за стеной скромно покашливали и чавкали коровы. Дети продолжали воскрешать во сне дневную явь — начинали благодный плач. Вдыхал и называл бога по имени Гино.

Говорят, что ему 117 лет. Сам он не может назвать год своего рождения. Если предположить, что он моложе, что (пусть) ему 100 лет, 90, 80, — 70-ти лет в последний раз поднимался он на хребет, замкнувший юго-осетинские ущелья с севера.

До революции было в селении, в котором мы ночуем, 14 домов, теперь—4.

— А живут так же грязно и бедно, как жили раньше.

Потрясает избушкой ветер, спросонок хмыкают псы. Задавленное пламя жестианки едва-едва освещает кусочек орнаментального столба, обугленного, обструганного по краям. И кажется, что было бы светлее, если б лампа не горела вовсе.

— О, хцау, слава тебе, — позевывает в темноте Гино и вероятно крестит свой желтозубый рот.

Было у него тринадцать соседей — осталось три. Десять развеяны ветром истории, который сильнее того, что трясет сегодня избу, хватая ее за конек крыши.

После Октября раскололся в Тифлисе Закавказский центр Советов рабочих и солдатских депутатов—Шаумян ушел

с армейцами в пролетарский Баку. Меншевики остались хозяевами положения — формировали «авторитетную» власть.

Грузия была (и остается) многонациональной, — меньшевики «вынуждены были подхватить «самоопределение национальностей»... Тифлис был меньшевистский, Тифлис воспринял еще одну большевистскую формулу — «вплоть до отделения». Воспринял применительно к Грузии в ее исторических пределах... Грандиознейшая уступка, какую он сам национальностям сделал, — согласился на существование национальных советов, необходимых на данном этапе для того, чтобы... заменить ими совдепы.

Когда самораспустился Закавказский сейм (Грузия, Армения, Азербайджан), власть перешла к национальным советам. Грузинский совет пополнился представителями других «грузинских» национальностей — юго-осетин, абхазцев, аджарцев, армян, греков, татар, русских, — и получился предпарламент.

Он довел Грузию до учредительного собрания.

Близилась весна 1918 года. Пока была зима — отдыхал народ, слушая на Ныхасах фронтовиков, гремевших угрозами; близилась весна — угрозы делались реальными: не стоял народ у княжеских крылец, не гнул спину, вымаливая скидки с арендной платы.

— Сами распашем!..

Угрозы шли не от одних осетинских крестьян-фронтовиков, но и грузинских, и армянских. Цхинвальский диктатор Казишвили во имя национального беспристрастия решил разоружить ближайшую грузинскую деревню Эредви. Фронтовики сговорились с осетинскими, ударили на Цхинвал, взяли Цхинвал.

Валико Джугели отбил его.

Мирные отношения между двумя державными правительствами утвердились не надолго. Осетинский национальный совет захватывал административные функции на территории всей Юго-Осетии — Цхинвальский район, Коби с Трсовским ущельем, часть Военно-Грузинской дороги, восточная часть Рачинского уезда. «Центральная власть» не соглашалась. Государственное творчество ее не могло пойти дальше Отто Бауэра. Друг Рябушинского, Ираклий Церетели предложил цунарскому осе-

тинскому съезду оставить бессмысленные мечтания: осетинский национальный совет — организация культурная. Мог ли этот златоуст «продать» осетинам грузинских ситятельных и неситятельных землевладельцев?

Но осетинский национальный совет бессмысленно мечтал, и не мечтал только: собственными силами начал вести дорогу на север и — был разгромлен.

Тогда в тылу Юго-Осетии, за хребтом, были белые — за власть советов восстала Юго-Осетия — взяты Цхинвал и Сачхери.

Валико Джугели и Вешапели отбил их: народная гвардия из конца в конец прошла Юго-Осетию.

— Помнишь, Гино?..

Кто не хотел сдавать оружие — уходил за хребет: в лесах и ущельях Осетии Северной дымились становья красных партизан. Чечня, Ингушетия, Дагестан, Осетия вгрызались в спину Деникина; меньшевистская Грузия, отвергнув предложение бакинцев о создании единого фронта против реакции, вела с белыми переговоры о создании единого фронта против большевиков.

Большевики прогнали Деникина за море, демократическая Грузия наводнила Юго-Осетию отрядами народной гвардии — сбродом шовинистических рабочих и крестьян, — преторьянцами демократии, опричниками меньшевизма. Они охраняли границы демократической Грузии и священное право княжеской собственности, осуществляли голодную блокаду Юго-Осетии, отгоняли революционных крестьян от пахотных участков. Никогда не обходившаяся без покупного хлеба Юго-Осетия волновалась тем более... Она голодала. Отдельные смельчаки уходили на север, в советскую Северную Осетию, возвращались с запашками, какие могла поднять на перевалах лошадь.

Народная гвардия стояла в Джавах, народная гвардия намеревалась занять Рокки — перевал, через который «незаконно» уходили на север осетины, не желавшие голодать. А в Роккское ущелье спускались уже большевики — группа южно-осетинских товарищей. Они созвали крестьян. Решено:

— Не пускать народную гвардию на перевал.

Решено еще:

— Провозгласить в Роккском районе советскую власть.

В Рокки перевалили с севера эмигранты, бывшие красные партизаны, и вот горсть людей начала наступление на державную Грузию. Они полностью пленили отряд, стоявший в Джаве взяли Цхинвал.

«На территории от Они до Дуцета, освобожденной силами восставших рабочих и трудового крестьянства, провозглашается советская власть» — начиналась декларация юго-оситинского ревкома.

Отряды ревкома остановились на позициях за Цхинвалом, — не с чем было наступать, — нет патронов.

— У меня всего одна обойма.

— Если ты выведешь из строя пять народногвардейцев, ты уже исполнишь свой долг перед революцией, — шуточкой ответил повстанцу Матэ Санакоев, а сам готов был плакать: ясно же, что если из-за перевала не подоспеет помощь, обречены на гибель восстание и Юго-Осетия: в лучшем случае двадцать патронов в запасе у иных бойцов.

Через три дня после взятия Цхинвала — на рассвете 12 июня слышны стали пушечные выстрелы — начала наступление народная гвардия.

— Мне была поручена санчасть, — рассказывал т. Газаев. — Я обходил аптеки и забирал материалы первой помощи. Выйдя из последнего магазина, увидел, что стреляют уже на кладбище за городом. Сико Кулаев переводил на тот берег плачущую жену д-ра Миратадзе.

— Поторопился в штаб. Там одна машинистка.

— Где наши?

— Ушли.

— За стеной штаба притаился отряд Кизо Тадеева. Решил присоединиться к нему. Побежал домой за шинелью. Желтые кафтаны народной гвардии уже мелькали на высотах. С отрядом я направился на западные высоты — Кенча. Мы укрепились там. По Джавской дороге пешком и на подводах отступали цхинвальские мирные осетины.

— Начотряда отправил меня в Кехви, чтобы скорее прислали ему помощь. Шел через селения Квернети и Донпа-

лети. Жители грузили на арбы и лошадей скарб. Вдали пылало селение Присн.

— В Кехви Бегизов и Цховребов настаивали на том, чтобы укрепиться на скалах, которые можно было сделать неприступными, если бы были еще патроны. Передал просьбу Тадеева, и Чермен Бегизов с небольшим отрядом поспешил к нему.

— В Кехви поручили доставить в Джаву заложников — купца Погоса, д-ра Миратадзе, священника Окройридзе и других. Я остановился в Гуфта; заложников отправил с товарищами.

— Зажатая горами дорога запружена беженцами. Цепляясь, ломаются со скрипом оси подвод. Большевикский аэроплан обстреливает дорогу сверху. Грохоча по вершинам хребтов эхом, взрываются бомбы. Плачут дети — отстали, не находят своих родителей.

— Накануне был ливень. Лиахва мутна и многоводна. А впереди мост через Пацу (не тот, что теперь, — стройный, железобетонный, — тогда строился обыкновенный деревянный горский мост) еще не готов. Послали вперед Рутэна...¹⁾ Он наспех настлал мост, и беженцы вступили на него, давя, наезжая друг на друга. Мост рухнул. Понесла река вьючных лошадей, мешки... Аэроплан торжествовал над зажатými в теснинах людьми.

— Накануне был ливень, — выше Ванели обрушилась и завалила ущелье скала. Пока расчищали дорогу, остановились беженцы, отягощенные скарбом.

Девять перевалов с юга на север. Девять тропинок вознесли на хребет десятки и десятки тысяч беженцев. Их горла задыхались в проклятиях, из их ступней сочилась черная кровь, вольный ветер горных вершин вздымал лохмотья их одежд.

— Помнишь, Гино?.. Ты тоже поднялся тогда на перевал... Котлы ущелий дымилась тогда адским пламенем пожаров. Гино, если б в вашем селе был дьякон, он научил бы тебя обманываться евангелием и ветхим заветом, и ты с помощью тех же букв, какими напечатаны эти книги, какими напечатаны миллионы добрых и ласковых книг, — с помощью этих же букв прбчел бы:

¹⁾ Гаглоева.

«Враг всюду в беспорядке бежит, почти не сопротивляясь. Этих изменников надо жестоко наказывать...

«Теперь ночь. Всяду видны огни. Это горят дома повстанцев. Но я уже привык и смотрю спокойно...

«Всюду вокруг нас горят осетинские деревни... В интересах борющегося рабочего класса, в интересах грядущего социализма мы будем жестоки. Да, будем! Я со спокойной душой и чистой совестью смотрю на пепелище и клубы дыма... Я совершенно спокоен, да, спокоен...

«Горят огни... Дома горят...

«А огни горят и горят...

«Теперь всюду огни... Горят и горят... Зловещие огни... Какая-то страшная, жестокая и феерическая красота... Озираясь на эти ночные яркие огни, один старый товарищ печально сказал мне:

«— Я начинаю понимать Нерона и великий пожар Рима.

«А огни горят. Всяду горят...

«Ночь ясная, тихая, а вдали зарево пожара.

«Ширится и крепнет вера во что-то доброе, хорошее, яркое и красивое.

«Освобождается душа... Закрываю глаза и мысленно уношусь в розовое детство.

«А всюду вокруг горят осетинские деревни»¹⁾.

Тебе, Гино, не довелось прочесть дневник Джугели. Мне тоже. Любой южный осетин, которому больше 15 лет, может дополнять его. Каждый помнит людей в желтых бушлатах, настигавших осетин, грабивших жалкое добро, пускавших по ветру пух подушек.

— Легче пересчитать села, какие сохранились, чем какие были сожжены.

Сохранились постройки, необходимые для отрядов народной гвардии. Народногвардейцы и просто добровольцы охотились за осетинами, объявленными вне закона, скрывавшимися в лесах. Когда условия складывались неблагоприятно для расстрела, — мешали посторонние глаза, — гнали осетин к перевалу, сплавляли их за хребет, на север.

«Большевиков к большевикам».

¹⁾ Из дневника начальника Народной гвардии В. Джугели «Тяжелый крест». Цитирую по Н. Мещерякову: «В меньшевистском раю».

Завершалась многолетняя звериная мечта грузинского национализма, одевшегося из этот раз в тогу социал-демократии. Века пыталась грузинская поповщина ассимилировать осетин, сделать их покорными рабами грузинской церкви, князей и дворян.

Меньшевистская «революция» открыла новые возможности для разрешения этой вековой проблемы. Эра демократизма в Грузии зачиналась с разжигания национальной вражды не только в Закавказье (войны с Арменией, с Азербайджаном). Высокие государственные задачи погнало в 1918 году грузинских эмиссаров (Маглокелидзе, Гогита, Пагава) на север, за перевал, в Ингушетию. Они организовали захват ингушами Военно-Грузинской дороги. За завесой ингушских кордонов Тифлис невидимо миру вооружал Ингушетию из громадного наследства, оставленного Кавказской армией.

В 1919 году, когда на Северном Кавказе властвовал Деникин, меньшевистская Грузия протягивала ему руку для мира и делала вид, что готова друго вооружать горские народы, боровшиеся за свое овобождение. В начале этой борьбы правительство Республики горцев Кавказа тоже делало вид, что оно тоже против Деникина. Представители правительства просили у счастливой Грузии оружия, оружия.

— А как насчет осетин? — запрашивал представителей генерал Чиковани, товарищ военного министра демократической Грузии. — Этот народ мы хорошо знаем и не верим ему. Мы принимаем все меры, чтобы ослабить его, и в этом смысле надеемся на братских ингушей. Как горцы? — продолжал Чиковани. — Думаете ли вы пускать к себе русских? Ведь если при Шамиле вы воевали 60 лет, то теперь, принимая во внимание разницу в вооружении, вы можете продержаться в десять раз меньше: 6 лет. За 6 лет Грузия окрепнет настолько, что сможет не пустить русских через перевал.

Исключительному цинизму генерала нельзя отказать в одном достоинстве — искренности. Он говорил это в 1919 г., — через год сентиментальный мерзавец Джугели испепелил Юго-Осетию.

Не было больше Юго-Осетии.

Кончилась Юго-Осетия.
Умерла.

А в эти дни заседал в Тифлисе с'езд социал-демократии Грузии. Старый социал-демократ, участник лондонского с'езда партии Георгий Гаглоев пытался добиться от с'езда, чтобы разгром Юго-Осетии был хотя бы приостановлен; чтобы с'езд выделил комиссию для выяснения действительных причин восстания, чтобы он привлек к ответу виновников разгрома.

Виновники разгрома сидели в президиуме, и с ответной речью выступил ковчег грузинского меньшевизма Ной Жордания. Он назвал юго-осетинское восстание Вандеей, он указывал на необходимость быть беспощадными.

Ведь ферменты восстания бродили в Абхазии, Аджарии; Абхазии и Аджарии на примере Юго-Осетии надо было показать, что будет с ними, если...

Гаглоев ринулся за защитой к Каутскому, сообщил ему о причинах восстания — желании Юго-Осетии выделиться в особую административную единицу и препятствиях, выдумываемых грузинским правительством. Гаглоев просил Каутского побывать в Юго-Осетии.

Центральный комитет поставил Гаглоеву «на вид» сепаратное свидание с Каутским, центральный комитет повез все-таки Каутского в «Юго-Осетию», на станцию Хашури, район, в который вкраплены осетинские села, и там на митинге нанятый «почетный старик» уверил Каутского, что осетины демократической Грузией весьма довольны. Один почетный старик уверял, другой почетный старик, импотентный бугай Второго интернационала, верил, потому что не хотел не верить.

Вторично Каутский Гаглоева не принял.

У Гаглоева оставалась еще одна возможность. Он и Ваню Цободзе.

— Единственный честный человек в учредительном собрании Грузии.

Подняли вопрос об Юго-Осетии на заседании с.-д. фракции учредительного собрания. Вопрос поддержало оппозиционное крыло фракции. Фракция выделила комиссию, поручила ей выяснить положение в Юго-Осетии и организо-

вать помощь оставшемуся мирному населению.

Комиссия выехала в Юго-Осетию в декабре. Вся Осетия оказалась изгнанной, заселенной мохевцами и другими грузинскими горцами. Они были вооружены правительством — им разрешено было охотиться за оставшимися еще осетинами, объявленными вне закона.

Комиссия представила фракции свои «соображения», она настаивала:

1. Чтобы немедленно было приостановлено преследование мирного населения Юго-Осетии.

2. Чтобы ему предоставлена была возможность переселиться в другие районы Грузии.

3. Чтобы организована была помощь старикам, детям, больным и т. п.

Фракция отказалась обсуждать предложения комиссии, передала их правительству Ноя Жордания. Оно предложения комиссии отклонило.

Наоборот: правительство одобрило методы министра внутренних дел Ноя Рамишвили.

Правительство поручило ему в кратчайший срок закончить окончательную ликвидацию восстания, открывающую дорогу большевикам.

Правительство предложило ему искоренить крамолу в других районах Грузии, вовсе выселить осетин из Триолетии, Гуджаретии, Кахетии, из Душетского уезда и Трсовского ущелья.

Новые карательные экспедиции направились в осетинские районы и — разбились о волну всекрестьянского возмущения и гнева.

В феврале Грузия стала советской.

В начале февраля правительство Ноя Жордания вкуче с учредительным собранием само бежало из Грузии, чтобы влиться за рубежом в море белой эмиграции.

В феврале старый Гино еще раз поднялся на перевал, чтобы вернуться на испепеленную родину. На месте, на котором стояла когда-то его старая бревенчатая изба, лежали обугленные балки. Кто знает, может быть, Гино стыдно стало за тех, которые называли себя людьми; рубанком обстругал он обожженный столб. И вот стоит столб, а черные прямоугольники пожарища все

же блестят на нем. Никогда, никогда сыновья и внуки Гино не забудут того, что вошло в их глаза в те жестокие дни и ночи.

3. В стороне от больших дорог

Юго-Осетия — это нагорная часть бывшего Горийского уезда бывшей Тифлисской губернии. Она — автономная область ССР Грузии.

Горные хребты отделяют Юго-Осетию от Военно-Грузинской дороги на востоке, горные хребты отделяют ее от Военно-Осетинской дороги на западе. Столица Юго-Осетии — Цхинвал — в 32 километрах от Гори, станции Закавказской железной дороги. 32 километра томятся в зное и пыли. В пыли всплывают драконьи морды буйволов, эшафоты скрипучих арб и на них обожженные солнцем крестьяне. Их головы стянуты пестрыми платками — пыль, жара.

В столицу мы въезжали по мосту через Лиахву. Ссаживаемся. Автомобиль вздыхает, раскачивается куда-то в переулок и — Европы нет. Узкая беспоконная улочка зажата двухэтажными домиками. Они во всю ширь опоясаны трухлявыми деревянными балконами.

Когда-то эта улица была главной: этажи поставлены на громадные арки — входы в бывшие владения торговцев. С порогов срываются стаи громкоголосых ребят. Они вырвали из моих рук чемодан, они рвут чемодан друг у друга: каждый из них подбежал ко мне первым.

На них, как судьба, спокойно-уверенно наезжают впряженные в громоздкую арбу буйволы; возчики походя греют их хворостинами, в них тыкаются пинки прохожих — мой чемодан то всплывает на гребень, то тонет и глухо бьется о камни мостовой...

— Что с моими пластинками? Что с химикалиями?

Изо всех щелей Цхинвала глядится стародавнее. Тупы и темны торгашеские особняки, в которых теперь задыхаются народные комиссары автономной области. Ужасен еврейский квартал — дикое нагромождение балок и лестниц, придавленных деревянными крышами.

На улицах еврейского квартала безысходен запах еврейской еды, крик детей и ругань женщин, — почти у каждой ви-

сит на шею шестиконечная звезда, сделанная из золота.

Около каждого почти дома — торговля: на лохматый кусок старого мешка положены ржавые замки, многолетние петли и крючки, вконец иссохшие воблы или почерневшие от пыли и пота снятые с чих-то сапог подметки.

Товарищ Сико Кулаев жалуется на местное ОЗЕТ, которое не может достаточно развернуть кампанию за переход евреев на землю. На Тилипонской долине, которую оживил специальный канал (головное сооружение его чуть пониже Цхинвальского моста через Лиахву), отведен евреям специальный участок земли. Не переходят. Предпочитают изнывать над ржавым товаром, в чад своих конур переругиваться с соседями, в качестве коробейников обходить осетинские села и по-старинке вести меновую торговлю.

Не переходят. Лечатся у раввина, который славится за душевного и телесного целителя на все Закавказье. Гниют в трахеме, Слепнут. Посылают детей атаковать приходящие из Гори автомобили.

Новый Цхинвал растет на южном участке, тянется к будущему зданию железнодорожной станции. Она должна быть, она будет не позже чем через год: прошлым летом закончились изыскания для ветки Гори — Цхинвал.

Сугубо провинциальный, сугубо местечковый Цхинвал станет городом — центром пролетарской организованности и пролетарского влияния на молодую, брошенную в расщелины гор, в дремучие леса область.

Сегодня кажется, что до этого дня тридцать три года скачи — не доскачешь. Сегодня в Цхинвале — мизерная «фабрика» гнутой мебели и больше ничего. Подслеповатая замухрышка, в которой и 20 рабочим делать нечего.

И сегодня же в Цхинвале пусть бедная, но типография. В ней печатаются ежедневная осетинская газета «ХуззÆзин» и ежемесячный литературно-научный журнал «Fidiuæg». Вокруг них организуется новая культурная мысль Юго-Осетии — советская.

Сегодня поскудны условия жизни юго-осетинских работников. Их утра — хождение по воду к поставленным на

углах кранам цхинвальского водопровода, — первой очереди. Их вечера — дома или в сарае местного кинематографа. Сегодня цхинвальский педтехникум зажат в торгашеском особняке, а учащиеся мерзнут в «ломоновских домиках» — сбитых из досок квадратных избушках, поставленных на четыре камня. Но уже сегодня достраивается в Цхинвале «Дом культуры» Юго-Осетии — воистину дворец; уже сегодня выведен фундамент грандиозного здания педтехникума и военного городка, который в наших условиях — крестьянский университет.

Кредиты на жилищное строительство, отпускаемые полнокровным Тифлисом, до смешного малы. На них и домик не выстроишь. Но уже сегодня начала Юго-Осетия новый подъем на перевал, радостный и светлый...

Перед тем, как входить на перевал в первый раз, как быть испепеленной, на нынешней территории Юго-Осетии жило 108.000 осетин; теперь там 88. Кровь двадцати тысяч людей довлеет над Жордания, Рамишвили, Джугели, которые еще живы и имеют наглость хотеть жить, имеют наглость думать, что на их долю еще перепадет честь благодетельствовать народу и народам.

«Никто не платит дань без принуждения», — ни библейским, ни меньшевистским Ноям не найти силы, которая принудила бы нас платить дань.

Сейчас в Юго-Осетии приходится земли на едока 0,4 га. Это — единственная «заслуга» меньшевиков: если бы не пролитая ими кровь, приходилось бы еще меньше — 0,32 га.

И вот сегодня еще одежда в Юго-Осетии — лохмотья. Что же было, когда от этих нищенских сотых частей земли принуждался юго-осетинский крестьянин выплачивать князю и государю исчерпывающий ассортимент налогов?

Деды рассказывают, что в старину у них уничтожали определенный процент родившихся девочек. Новая влекомая царем история Юго-Осетии — к у л ь т у р н а я и с т о р и я — спасла избыточную часть девочек от зверского истребления, чтобы привести их в город — в армию кормилиц, прачек, домашних работниц и... проституток. Их и сейчас много — избыточных ртов.

Тихо в ущельях Юго-Осетии. На склонах гор недвижно лежат змеи тропинок. Редко-редко добираются по ним люди в медвежьих ущельях, в которых бродят еще колдуньи. Совсем недавно там славословили Ленина за то, что он настоящий джигит, что разезжал он в Москве на белом коне, а жена его не отпускала гостей, не накормив...

Там давали в руки покойнику повод от лошади, клали в могилу ячмень и монеты... Там, когда разливались реки, лепили из теста женскую фигуру (Донус — водяная женщина), которая, как Праксителева Венера, прикрывала одной рукой грудь, а другою — другие знаки пола.

Там люди делились на фамилии, из которых одной запрещено (табу) было убивать медведей, другой — змей, третьей — ласок и т. д., и каждая фамилия праздновала на неделе свой день.

И там коллективизация теперь. Людям надоел извечный голодный паек, они хотят быть сытыми. Они одолевают такие помехи, как дробность земельных участков (за перевалом, в Северной Осетии, эта дробность — неодолимое препятствие для коллективизации нагорной полосы), частую отдаленность друг от друга не только участков, но и жилищ и бездорожье. В Юго-Осетии на саях — летом на саях! — свозят урожаи на колхозные гумна: трение полозьев о землю замедляет и тормозит стремление груза перегнать на крутосклонах движущую силу — пару красноглазых быков — и опрокинуться.

Из 35.000 га пашни в Юго-Осетии только 8.000 — плоскостные — поддаются тракторной обработке. В ущельях средней полосы и в самой глубине гор воли навсегда останутся движущей силой. И все-таки через коллективизацию интенсифицируется земледелие: многополье уничтожает отдыхающие участки, — Юго-Осетия добьется вполне сытного хлебного пайка.

35.000 га пашни в Юго-Осетии, 80.000 — пастбищ. Значение животноводства равно земледелию. Оно забралось в глубь гор, на сочные пастбища, которые были когда-то прекрасными, которые вновь будут прекрасны — лишь только прикоснется к ним революция: пастбища нуждаются в омоложении — перепашке и подсеве трав.

Северная Осетия, буйно индустриализирующаяся, стоит перед «неразрешенной» проблемой — организацией хозяйства Нагорной полосы. Южная разрешила аналогичную проблему: в дальних и ближних аулах организованы вокруг маслобойных и сырных заводов 48 молочных товариществ, которые сдали в 1931 г. Областному союзу 12.000 пудов осетинского сыра и 200 пудов масла (в 1926 г. — 1.500 пуд. сыра).

Количество молочного скота с 1923 г. увеличилось вдвое — 18.000 голов. Перед Юго-Осживотноводсоюзом поставлена пятилеткой задача увеличения тоже вдвое — до 200.000 — овечьего поголовья, и тогда животноводство будет вполне устроено, если не считать попутного улучшения стада путем метизации с пушнорунной тушинской овцой и прививки английской овцы.

Рост этой отрасли хозяйства ясен; значение для экономически полунищенской автономной области — бесспорно. Но вот Мол-животноводсоюз Грузии, пользуясь новым законом о районировании, решает ликвидировать Юго-Осетинский союз как областную организацию и вместо него образовать два районных союза, в Джаве и в Ахалгори. Такое же постановление в отношении Юго-Осполеводсоюза принял соответствующий тифлисский центр. Автономная область, на 38% живущая продукцией сельского хозяйства — земледелием и скотоводством, — лишилась возможности планировать и руководить своим хозяйством, проще говоря, упраздняясь автономия, еще проще — торжествовала национальная политика блока Сырцов — Ломинадзе, во-время ущемленного партией.

Она вела к срыву пятилетки промышленности в Юго-Осетии — политика блока. Вот напр. лесной комбинат, рассчитанный на переработку грандиозных (65% всей площади) лесных запасов области. Его должны были закончить еще в 1929 г., не закончили и в 1930-м: не отпускались кредиты, задерживался ввоз импортного оборудования для фанерного цеха, который поэтому вовсе не строится.

Должны были построить в 1930 г. плодосушильню — не построили: имеется где плодосушильня в Горийском рай-

оне — пусть юго-осетинские арубщики по-старинке, на волах подвозят туда тысячи тонн великолепных фруктов, экспортируемых в Марсель, Лондон, Гамбург... Пусть подвозят на арбах даже тогда, когда железная дорога соединит Цхинвал с Закавказской линией.

Дорога и дороги — основа ближайшего расцвета Юго-Осетии. Нынешнее нищенство ее от того, что нет дорог, потому что нечего разрабатывать и незачем разрабатывать, потому что нет дорог.

А разрабатывать есть что. Из года в год обходят Юго-Осетию отряды Академии наук, призванные выявить производительные силы области. Их 8 — почвенный, лесной, животноводческий, ботанический, геологический, минералогический, минеральных вод и археологический.

Там и сям в непроходимых дебрях находят археологи следы древней высокой культуры, остатки древних рудных разработок — шлаки. Они, собственно, указывают направление для новейших разведок, результаты которых сулят Юго-Осетии быстрое промышленное развитие.

В 1925 г. геолог Карапетян в результате обследования Юго-Осетии заявил печатно, что область эта в смысле горного дела безнадежна. С 1927-го по 1930-й геологическим отрядом Академии наук выявлены:

1. Цинково-свинцовые руды — детальная разведка производится Институтом цветной металлургии. В 1931-м месторождение должно быть передано в эксплуатацию.

2. Цинково-свинцовые руды в Мугути — произведена предварительная разведка.

3. Медные руды в Сохта — месторождение зарегистрировано.

4. Пирит в Азагина — зарегистрирован.

5. Пирит в Кударо — опробован.

6. Гипс в Комульта — произведен пробный выжиг 100 пудов.

7. Базальт в Комасе — месторождение зарегистрировано и передано в разведку.

8. Туф в Ванети — разведан, находится в эксплуатации треста (нерудных ископаемых).

9. Мышьяк в Ацерис-Хеви — предварительная разведка.

10. Мрамор в Ахалгори — зарегистрирован, выявлен генезис.

11. Литографский камень в Ахалгори — опробован.

12. Цементный камень — зарегистрирован.

13. Габбро в Гуфта — зарегистрирован, передан в разведку.

14. Точильный камень в Монистари и Квирнети — опробован.

15. Кварц в Лопани — с сентября передается в эксплуатацию тресту, разведка заканчивается.

16. Три месторождения талька в Лопани — разведка заканчивается.

17. Нефрит в Лопани — опробован и описан, разведка заканчивается.

18. Мрамор — три месторождения — находится в промышленной эксплуатации треста.

19. Точильный камень в Лопани — разведывается.

20. Серпантин — эксплуатируется и одновременно разведывается.

21. Гарниерит (никелевая руда) — только-что обнаружен.

22. Марганец в Лопани — зарегистрирован.

23. Минеральные краски в Мегохи — зарегистрированы.

24. Инфузорит в Рустави — зарегистрирован.

25. Ограничный кварц в Ортевском районе — зарегистрирован.

Трест нерудных ископаемых ведет эксплуатацию некоторых месторождений. Им организована в Цнелиси первая в Закавказье мастерская камнерезных мраморных изделий, выпускающая готовый фабрикат, экспортируемый за границу.

Наркомторгом СССР ассигнованы из особых сумм средства на разведки андезита, талька, точильного камня и базальта.

4. Перевал второй

В грозную июньскую ночь 1920 года, когда шла Юго-Осетия на перевал, отстала от людских толп женщина. Впереди рассвирепел поток — не было пути людям. Собрались мужчины, рубили деревья, бросали тяжелые серые стволы с берега на берег — строили мост.

Сейчас от Цхинвала до Ванели можно проехать на автомобиле. Совсем недавно на 10.000 жителей Юго-Осетии приходилось, — применяя способ выражения, принятый в статистике, — 0,00 км шоссейных дорог. Из века в век — и еще один век при царе — голодала скудная хлебом Юго-Осетия. Каждое лето уходили ее люди по 9 перевальным тропам в Северную Осетию, в Заромаг, на хлебное торжище. Они вьючили купленные пуды хлеба на копей, вьючились сами и снова шли на перевалы — несли домой драгоценные зерна.

Их девять, этих перевалов, на протяжении 70 километров горного хребта, разделившего Осетию на два — юг и север. Они — те места, по которым могут пройти лошадь и человек. Горская лошадь и горский человек. Иногда лошадь или человеку изменяет сноровка, и — они гибнут.

Так было.

Какое дело было царю до гибели людей? Чем больше сил тратили они на то, чтобы жить, чем труднее было для них искусство жить, — тем меньше думали они о том, что делается за стенами их сакалей, за хребтами, сжавшими сакали: владели груз одного дня, чтобы завтра поднять новый и донести его до следующего.

И все-таки — не стало царя — люди тотчас же прокричали свою извечную мечту:

«Принимая во внимание, что дорожный вопрос имеет для нашей горной страны наиважнейшее значение, в особенности же перевальная колесная дорога в Северную Осетию, хлебом которой питается наше население, признать необходимым образование специального дорожного комитета и поручить ему изыскание средств и проведение в первую очередь перевальной колесной дороги, так как она имеет для всего юга жизненное значение как магистраль, соединяющая малоземельный край с северо-кавказской житницей хлеба».

Тогда морочила революцию керенщина — люди могли надеяться только на себя: с человеческой кровью, с твердыми клочьями ногтей смешана та тысяча кубов скал, которую прорыли люди в ущелье Лиахвы и — отступили. Не бы-

ло у горских людей силы одолеть скалы и взойти на Кухт-перевал.

...С фронта уходила Кавказская армия. Турции или меньшевикам оставались сокровища ценности неизмеримой. Пусть меньшевики и турки овладевают миллионами патронов и винтовок, десятками тысяч пушек и пулеметов, тысячами автомобилей и снабженческих баз—Юго-Осетии нужен перевал, нужны динамит, скальный порох, английская сталь, кирки, лопаты.

Меньшевицкая Грузия оставляла себе пушки и пулеметы, Юго-Осетия вымалывала кирки и ломы. И вот через Цхинвал и мимо Цхинвала день и ночь скрежетали арбы:

— Да будет прямым ваш путь!

— Да будет прямым ваше дело!

— Куда едете — в Карелы?

— Туда едем—в Карелы... Привезли.

Привезли на станцию Карелы из Трапезунда (там ликвидировалось управление строительством военной Батум-Трапезундской жел. дороги) два вагона взрывчатых, два вагона вооружения, лопаты, сталь и пр., которые были как эликсир: за перевалом громыхали Советы, под боком стервенела единая, великая, неделимая Грузия меньшевиков...

Опять скрипели арбы — везли драгоценный груз через Цхинвал, в котором сидел меньшевицкий комиссар, возведенный в диктаторы (за перевалом громыхали Советы). Он вышел навстречу страшному грузу, он велел задержать его, арестовать его, разогнать возчиков.

А возчики сидели на передках арб и молчали.

«Пусть-де арестует, разгонит, задержит — его дело. А потом увидим!»

Вернее будет сказать, что ничего увидеть потом не сможешь.

До вечера шел спор, до вечера приходили в Цхинвал спускавшиеся с гор осетины.

— Наши горы. Что хотим, то и делаем с ними!

Подпрыгивали на руках винтовки — уступил диктатор. Скрипучая симфония арб зазвучала в ущелье Лиахвы, как лесня песней.

Груз, который дорожке всех грузов,

дорожке хлеба, привезли в Хвце, груз, сложили в помещении школы.

Казалось, что впереди — только радостная борьба со скалами, которые можно и должно одолеть.

Одолимыми казались камни; неодолимыми оказались люди, меньшевики... Юго-Осетия поняла это, когда гнали ее на перевал.

В 1921-м вернулась Юго-Осетия — возродилась вистину из пепла. Четыре года надрывалась она — срубала бревна, спускала их вниз, поднимала, складывала в преземистые подслеповатые домики — восстанавливалась. Восстановилась, а дорог не было — не было путей, чтобы расти. Опять, как и встарь, уходили силы на то, чтобы одолеть перевал, в Заромаге выючить на коней хлеб, выючиться самим и гибнуть.

В 1924 году опять голыми руками ломала Юго-Осетия скалы — вела шоссе из Цхинвала в Рокки — и отступила, опять остановилась на полпути — около Ванели; динамит, который привезли когда-то в Хвцевскую школу, был взорван в 1922-м неизвестными или неизвестным (в трех километрах от школы найден обуглившийся клочок кожи с человеческой головы), — у людей не было сил рыть шоссе дальше. Ведь чем ближе к главному хребту, тем тверже горы.

У людей не было сил рыть дальше. Дальше — до Рокки, до подножья хребта, до места, от которого вьется тропа Роккского перевала. Кое-где подрывали люди склон горы, набросали кое-где камней и земли. И к самому хребту, как клятвы победы, как угрозы извечному могуществу скал, как восстание против извечной власти перевала, подползла наконец колесная дорога.

Она уходила на левый берег Лиахвы, возвращалась обратно на правый. Она тонула в Лиахве и, мокрая, выбиралась наружу, изуродованная подводными камнями. Ворочаясь, они глухо урчат на дне, валь коней, ломают спицы колес. И все-таки она — угроза, все таки и зимой, и летом люди блаженствовали на ней, не слезая с тряских арб, отбивали свои зады от Рокки и до самого Гори.

И зимой, и летом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР.

12 июля 1930 г. Москва, Кремль.

О строительстве перевальной автошоссейной дороги Заромаг—Ванели.

Совет народных комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

а) Признать необходимым приступить в текущем году к строительству перевальной шоссейной дороги, соединяющей Северную и Южную Осетию на участке Заромаг—Ванели.

б) Для покрытия расходов в текущем году по строительству беспспорных участков дороги и на окончание работ по геологическим изысканиям:

1. Отпустить из резервного фонда СНК СССР 300 тыс. руб.

2. Предложить СНК РСФСР отпустить из своего резервного фонда 300 тыс. руб.

3. Обязать НКПС выделить по своей смете текущего года 200 тыс. руб.

в) Обязать НКПС в текущем году закончить геологические исследования и изыскательские работы, связанные с постройкой тоннеля.

г) Поручить правительству РСФСР и НКПС уточнить общую сумму стоимости постройки всей дороги и тоннеля, внеся в смету НКПС на 1930/31 год необходимые кредиты для дальнейшего развития работ по строительству перевальной автошоссейной дороги.

Зам. предсовнаркома СССР

В. Шмидт.

Зам. управделами Совнаркома СССР и Совета труда и обороны Матвеев.

И вот из-за перевала, с севера, к перевалу — с юга идут в Роккское ущелье люди: греки, армяне, русские, осетины, грузины. У них на спинах пестрые ватные одеяла, в руках грубые, только-что срезанные костыли. Это рабочие. Они соединяются по пути в разноплеменные отряды.

Впереди работа — она скует их легко возникшую дружбу.

Впереди работа. Километрах в двух от Ванели сделано в скале углубление — вставлена в него скромная каменная колонка. На ней простодушная надпись.

В 1924 году, когда делали дорогу, свалился камень — убил на этом месте рабочего Чехоева.

Дальше этого места не могли тогда пройти осетины — дальше идут сейчас рабочие: строится дорога.

За ручьем, на истоптанной лужайке сбита из обрубленных веток сквозящаяся контора прораба. В ней организуются группы, вооружаются кирками, зубилами, молотами, идут дальше на пикеты, оставленные изыскателями, — дощечки 101, 102, 110, 120... — каждый пикет — новые 100 метров к победе над глухим врагом.

Кряхтят встревоженные деревья, скрежещут скалы: железо вгрызается в их твердый покой. Иногда взвивается на утесе красный флажок, и через несколько томительных мгновений один за другим толкают ущелье взрывы — с горы на гору несется взрывающая весть.

Ведь дорога — та же жизнь для Юго-Осетии и больше жизни — рождение.

Юго-Осетия может, должна быть и будет индустриальной. Дорога приблизит дни, в которые рука рабочего вскроет рудные недра, в которых она расчистит заросли кривых колдовских убежищ и вместо них положит на склоны гор торжественные прямоугольники социалистических заводов и фабрик.

Юго-Осетия может, должна быть и будет здравницей нашего Союза. Географ XII века, царевич Вахушта, пишет: «Мы пили хорошее вино в Кошки (Ванели.—Дз. Г.), в Хвце есть источник, который лечит от всех болезней. Золото, медь и железо мы получаем из Осетии».

Нынешними ванельцами забыты даже предания о винограде, зревшем над ними на склонах гор. Отцы нынешних ванельцев обобраны до голода включительно. Не до винограда было им, хоть благословенно было над ними знойное небо и щедрая земля, сочащаяся источниками, которые лечат от всех болезней, но не вылечили единственной и самой главной — нищеты.

Вахушта называет один источник, а только в бассейне Большой Лиахвы мы считаем их 109. В радиусе 5 километров вокруг Эдисы, до которого пока трудно добраться даже верхом и из которого местная молочная артель из-

за бездорожья не всегда в состоянии вывозить сочащиеся жиром круги сыра (и они гниют), — 50 источников вокруг Эдиси — известково-углекислых и главным образом известково-железисто-углекислых. Один из них выкатывает в сутки 150.000 ведер — ворочает мельничные жернова.

Революция излечивает сейчас самую главную болезнь — нищету; наши источники излечат все болезни, которыми наделила людей нищета.

Главное — дорога.

Главное — дороги.

Дороги, дороги...

Шоссе 1924 года уже оживило когда-то кровавую Джаву. Там хлористый источник, дом отдыха, пансионат. Там отдыхали и лечились в прошлом году 2.000 рабочих, при чем многие из Москвы, Ленинграда, Харькова, Ростова. Их привлекала туда свежесть этого курорта, мягкая суховатость климата, защищенного Сурамским хребтом от черноморской душливой влажности.

Дороги, дороги...

И первая из них та, которую сейчас строит, которая залита кровью 20.000. Она широко и радостно, ближе и ближе подходит к перевалу. Не для того, чтобы взобраться на его окровавленный гребень по тропинке, мудрой своим бессилием и нищетой. Нет, она ударится в подножье перевала, она разроет его глухую утробу и выведет в века задушенную Юго-Осетию в широкий мир, в историю, хозяйин которой — пролетариат.

Она знает цену этой дороге, Юго-Осетия. Она трогательно лелеет ее — это единственное свое дитя...

...За ручьем, на вытоптанной лужайке сбита из веток сквозящаяся контора прораба, а рядом с нею — лавка ЦРК. Высоко на горных кряжах желтеют полотнища хлебных полей, за которыми скрыты приземистые избы, сложенные из свежих бревен, пахнущих лесом... Каждый день, каждый день, точно молчаливый уговор — там, на кряжах — спускается вниз, к конторе прораба, очередная хозяйин.

— Добрый твой день, Рутэн.

— Да будет прямым твое дело!

— Вот, Рутэн: мы долго ждали, мучались долго, гибли и гнили! Вот, Ру-

тэн, я бычка привел... Если бы было что-нибудь другое, более дорогое, тоже отдал бы: пусть кушают эти добрые люди, эти наши друзья...

«Наши друзья» — рабочие, занятые на строительстве. Те самые, которые шли на работу через перевал, к перевалу с пестрыми одеялами на спинах. Рабочим — осетинам, грекам, армянам, грузинам, русским — не мешает теперь разноязычье, выковывается в работе их молодое братство...

Лелеет дорогу Юго-Осетия. Когда выстукал цхинвальский телеграф постановление Совнаркома, когда вести о нем скакали по аулам, люди гнали во всякие заготовительные пункты — иногда даже единственных — быков или коров, привозили или несли из своего нищенского запаса пуды драгоценного зерна.

— Для дороги...

— Для дороги...

Инженер Алфимов, начальник строительства, ехал в Юго-Осетию через перевал... Сотни пеших и конных поднялись на скалистый кряж встречать его. Они вели за узду его лошадь, они пели для него песни, в которых Алфимов понимал и слышал только одно (только ли одно?) — большую неимоверную радость людей, рождающихся для истории в прекраснейшую из эпох.

В первый раз за все века веков звучала на перевале такая песня — в последний раз звучала. Песни зазвучат теперь в развороченных перевальных недрах, и самая радостная родится тогда, когда люди, идущие в недра с севера, встретят товарищей, взрывающих недра с юга.

Тогда, когда воля пролетариата про сверлит хребет, когда будет тоннель, который навсегда, навсегда включит Юго-Осетию в социализм, преобразует ее,

учащая удары социалистической стройки,

единственной, освобождающей и объединяющей трудящееся человечество...

Я не кончил рассказа о женщине. Когда в 1920 году уходили на перевал людские толпы, она отстала — укрылась в Ванели. Вероятно спотыкалась и падала женщина — искала в темноте лесенку в саклю. И забылась в ночи.

Утром была пустынно Венельская поляна — ушли на перевал людские толпы: утром молчали сакли аула — с людскими толпами ушли на перевал жители. Была тишина. Молчала даже Лиаква — как всегда текла она.

Женщина вспомнила и поняла — вместе с утром должны притти грузинские гвардейцы. Она кричала, женщина, она звала. Никто не ответил ей: ушла на перевал окровавленная Юго-Осетия.

Женщина обезумела: она держалась за свое выпятившееся брюхо, проклинала тех, которые должны нагнать ее, она бежала от них — ползла по мокрой, унавоженной, кровавой тропе вслед за людскими толпами, ушедшими на перевал,

столетиями возносивший к небу неутомимую людскую боль, неутомимые жалобы...

Когда начали рыть дорогу от ручья, за которым истоптанная лужайка и контора прораба, нашли заваленный ветками и землей скелет женщины и разрушившиеся остатки скелета детского.

Тогда всюду вокруг горели осетинские деревни и у Валико Джугели ширилась и крепла вера «во что-то доброе, хорошее, красивое», у него освежалась «душа» и, когда он закрывал глаза, то мысленно уносился «в розовое детство».

Теперь мы с открытыми глазами идем в наше сказочное будущее.

2. ВЕРНЫЙ ПУТЬ

Заметки

Дмитрий Стонов

В невзрачном, внешне запущенном и довольно ветхом доме — в былые времена жил здесь вихоревский захудалый помещик — устроили колхозную столовую. От деревни до столовой — полтора километра.

Воскресенье (здесь еще отдыхают по воскресным дням), послеобеденный час. На скамьях у столовой сидят колхозники и колхозницы. Краснобаи состязаются в островах, иногда двусмысленных. Слушатели охотно смеются. Наконец начинают смеяться по каждому поводу. Балагурят все — в минуты сытого благодушия остроуты даются легко. Сказал человек слово, и уже знаешь, — тотчас же слушатели загогогут.

— Ишь, спина, — сказал рыжий, весь в морщинах, по всему видать немолодой дядя и хлопнул поместившуюся рядом с ним девушку.

Сидящие рассмеялись.

— Отелась на колхозных харчах, — заметил городского типа парень в тубейке.

— То-то ты к нам поправиться приехал, — ответила широкая девушка и захохотала. Ее охотно поддержали.

Возник вопрос, у какой девки самая широкая спина? Рыжий, подмигнув, крикнул, что-де об этом «следовало бы парней спросить».

— Зачем? Каждый хвастать будет — моя, мол, слаще. Есть другой способ.

Сказавший это полез в карман, извлек оттуда рулетку. Девки взревели от смеха. Парни хватили их за руки. Человек с рулеткой стал мерить спины девушек. К действительному размеру он прибавлял полтора метра, получалась богатая ширина. Хохот, крик, добродушная брань, шлепки.

Так как девок было много и игра не знала конца, я, воспользовавшись секундной тишиной, спросил председателя, товарища Семина.

— Зачем тебе? — сказал человек с рулеткой.

— Дело есть.

— Раз дело, другое дело, — ответил он, улыбаясь случайной игре слов.

Клеенчатый метр стал уменьшаться, рулетка быстро проглатывала его. Наконец проглотила. Человек положил рулетку в карман и подошел ко мне.

— Я Семин. Здорово.

Семин не знает, зачем я приехал в колхоз. Он не спрашивает, я не говорю. В «Верном пути» делегаты из дальних колхозов нередки, — смотрят, учатся. Перед тем, как отправить товарища на руководящую работу в один из колхоз-

зов или совхозов района, Загорск, случается, посылает его на несколько дней сюда.

Семин, видно, полагает, что я являюсь одним из этих людей.

— Встаешь рано, это хорошо,—говорит он. — Пойдем, я тебе до завтрака свое хозяйство покажу.

У него светлые глаза, он их щурит, точно берет на прицел все, что лежит перед ним. Желтая кожа туго обтягивает лицо, он худ необычайно, но необычайно же здоров, несмотря на то, что у него процесс в легких: «На Юденича в лаптях шел, мороз — тридцать градусов, с тех пор простужен». Одет, как и все колхозники,—на нижней рубашке пиджачок, брюки (штопором) на выпуск. Шагает быстро, руки все время в движении, похоже, им скучно без физической работы.

Тропа идет мимо перелеска, перелесок круто посажен обильной черемухой. Черемуха цветет неутомимо, от острого запаха болит голова. Опьяненные пчелы как бы стоят в воздухе, они сонно звенят, мягкий ветер относит их в сторону.

— Вот я пчелу завел,—говорит Семин. — Много тут разных цветов, скоро горчица зацветет. Нектар... знаешь, что такое?

Я знаю.

— Жужжат. — Он берет на прицел пчел, по своему обыкновению щурит глаза. — Будто, один голос, а гудят все, а?

Срывает лист, растирает его, нюхает, от листа терпко тянет все той же черемухой.

— Колхоз, как улей, слушай каждую пчелу!

Мысль «нечаянно» получила такое оформление. Семин случайно произнес ее вслух. Произнес и удивился, верно ведь!

— Так, должно быть, книги выдумывают. Идешь и, пока ничего не делаешь, сочиняешь.

Говорит он быстро, пальцы его движутся, глаза внимательно смотрят по сторонам, впереди себя. Внезапно нагнулся, поднял кнут.

— Пастух потерял.

— Может быть пахарь?

— Не та длина.

«Крестьянин», — решаю я про себя.

Но через несколько минут, сузив глаза, он стоит у лесопилки колхоза, хлопочет у двигателя, смазывает машину, тряпкой вытирает блестящие ее части.

— Экспорт делаем, — кричит он мне на ухо. — Доски для упаковки загорских игрушек, они за границу посылаются.

Мы выходим из тесного помещения. Круглая пила визжит и захлебывается, стружки из-под пилы бьют фонтаном. Колхозник управляет бревном. Пила капризничает, соскакивает с намеченной в уме линии, доска получается неровная.

— Дай-ка я!

Один глаз Семина закрыт, другой прищурен. Он сбрасывает пиджачок и кепку и, как солдат к оружию, подходит к пиле. Опилки пудрят его волосы. Видно, с какой силой он управляет бревном. Окончив, говорит:

— Прямо бревно подавай, в зубы ей, не напирай ни справа, ни слева, получишь правильную доску.

«Рабочий,—думаю я о нем.—Конечно же рабочий».



Крестьянин, рабочий и хозяин. Хозяин прежде всего. Глаза его так и шарят по колхозу, так и присматриваются. Заметит кем-то в пути потерянный гвоздь, обязательно поднимет, положит в карман.

Пришли в детдом. В дверях Семин мимоходом облапил колхозницу, явившуюся покормить грудного ребенка, та мимоходом же хлопнула его по спине. Рассмеялись, и каждый пошел своей дорогой. Ребята одного, двух и трех лет — на дворе. Комсомолка, работающая в детдоме, идет за нами. Семин останавливает ее.

— Ты Василию сказала насчет забора?

— Нет еще... скажу...

— Ждешь случая? — Голос Семина суров. — Имей в виду — ребенок в луже утонет, мы тебя тогда из колхоза вон!

Молчание.

— «Комсомолка!» Попадет ребенок в лужу — все колхозницы детей из детдома заберут. Ты думаешь чем?

— Да я ж слезу.

— Следишь? А с нами в дом хотела пойти! Василий завтра должен был кончить забор, а он по твоей вине не

начал еще! С завтрава ты по полтрудодня будешь получать, авось это поможет. Не забудь счетоводу сказать.

— Ты не забудешь,—внешне бойко отвечает комсомолка. Бойкостью она скрывает свое смущение. Как-никак замечание, да еще в присутствии постороннего человека!

— Я-то не забуду. А только ты сама скажи счетоводу.

Через минуту мы в доме. На кровати (без перил) спит ребенок. Семин приставляет стул: «Как бы не выпал».

Сбрасывает с ребенка одеяло: «И так жарко».

Кричит в открытое окно:

— Ты ж прислушивайся! Ребенок проснется—упадет.

И добродушно, смеясь одними глазами, на прощанье:

— Б-б-балда! Вот—б-б-балда!

Председатель коллективного хозяйства. Этого он ни на минуту не забывает. Распоряжаясь, он следит за тем, чтобы его распоряжения не исполнялись слепо, чтобы к тем выводам, к которым он пришел, пришли бы и другие. Он умеет слушать других. «Твоя правда, я обшибся, делаем по-твоему». Он думает о кадрах и не только думает, кует эти кадры. У него неладно с легкими, район посылает его на месяц в санаторий.

— Кто тебя заменит?

— А кто угодно!

Я не совсем его понимаю, он это видит.

— Тут у меня председателей, за которых я могу отвечать головой, человек пятнадцать.

Передвинул морщины у глаз, глаза ожили необычайно.

— Мы тут зимой бригаду красных сватов организовали, ездили по деревням с отчетом, звали в колхоз. Шестнадцать колхозов организовали. Так там на приплод мы своих ребят оставили—кого председателем, кого членом правления. Ребята, доложу тебе, во! (Показывает большой палец.)

Он никогда не вмешается в дело, которое могут выполнить другие. Наоборот, подталкивая товарищей, сам часто остается в тени.

В бригаду боронильщиков затесался лежебока Павел Бодрягин. Бригада активная, она состязается с пахарями и хочет выйти победителем. А тут, как на грех, лентяй. Завалится под кустиком, спит, ему и горя мало.

Об этом, остановив лошадей и скручивая цыгарки, рассказывают товарищи из бригады.

— У вас сильная бригада, один Бодрягин вам не помеха.

— Как так—не помеха?

Самый горячий:

— Ты нам советуешь лодыря кормить? Так что ли?

Он стоит перед Семиным, глаза его злобно блестя, весь он полон ненависти к лентяю, который срывает соревнование. Семин притрагивается к козырьку горячего товарища и всю кепку тянет вниз до подбородка собеседника. Пока тот, путаясь в темноте, стягивает с лица кепку, Семин закуривает, угощает товарищей папиросами, подносит пачку обалдевшему спорщику.

— Не горячись, кури!

И уже серьезно:

— Я разве советую лентяя кормить? Я только думаю, что такая, как ваша, бригада может его перевоспитать.

Через три дня мы беседуем с теми же боронильщиками. Центр беседы — все тот же Павел Бодрягин.

— Не хочет парень работать и все!

— Вы с ним беседовали?

— Не раз!

— Уразумляли?

— А как же!

— Ну в последний раз устройте собрание всей бригадой и поговорите с ним серьезно. Что он—дурак, что ли?

— А ты его не знаешь?

— Я всех знаю,—просто отвечает Семин.—Не в том дело. Пугните его, мол, берегись, выгоним.

— Поговори ты с ним,—говорит один из бригады и передвигает кепку с затылка на лоб.

— Что мне с ним говорить? Он член вашей бригады, вы ребята сильные, с вами возиться стыдно. Ваш лодырь, вы его и обламывайте. Что я его урезонивать буду? Скажет — пожаловались, к Семину побежали.

По совету Семина бригада в полном составе собралась, целый час жучила

Бодрягина, «делала ему внушение». Никакого впечатления. Бригада обозлена. История с Бодрягиным затянулась.

Семин:

— Гоните лодыря в шею! Только по положению. Единогласным решением. Пошлите его к завхозу, выбросьте его из своей среды.

Вечером во время ужина Бодрягин жалуется Семину. Впервые я вижу этого человека. Высокий и несуразный, он как бы чувствует неловкость за этот свой непомерный рост. Он сильно недоволен, дает это чувствовать,—говорит под нос, переступает с ноги на ногу, смотрит по сторонам и презрительно, как злой кот, фыркает. Бригада исключила его из своего состава, послала к завхозу.

— Вся бригада? — спрашивает Семин. — Единогласно? Такое дело! Я-то тут при чем? Иди в свою бригаду, с ними говори.

— Так ведь они исключили!

— Я-то тут при чем? — повторяет свой вопрос Семин. — Хозяин я, что ли? Я бригаде не указчик. Раз бригада выбросила из своей среды... Подай на правление. Только навряд правление тебе тут поможет. Тут уж...

И разводит руками.

— Так мне что, голубей гонять?

— Голубей?

Председатель ненадолго задумывается.

— Нет, брат, нам голуби ни к чему! Пойди к завхозу, может, он тебя куда-нибудь притулит.

— Был. Говорит, все работают бригадами, никуда послать не могу.

— Плохо твое дело! Я б с тобой поменялся, только тебя председателем не выберут—раз, и другое—не справишься ты. Нет, не справишься!

... День Бодрягин прошлялся без работы. Пробовал орать похабные песни, спал. Солома торчит в его волосах.

— Что будет с Бодрягиным?

— Не знаю. Пускай сам изворачивается.

И чуть злится:

— Я что — за всех должен думать? Нянек тут нет возиться с ним.

На следующий день мы узнали: чуть свет Бодрягин один выехал в поле. Выехал за час до того, как на тот же участок прибыла бригада.

— Пойди посмотри, как он там работает, — говорит Семин, толкая меня в бок и весело потирая руки. — Мне некогда. Полагаю, сейчас он уже подвинучен!

Подумав:

— Как бы там не стали над ним издеваться...

Махнув руками, точно отбивается от Бодрягина, отгоняет мысль о нем:

— Ну его к чорту, поиздеваются—не грех. Авось не помрет...

Не издевались.



...Партийное собрание устроили на открытом воздухе в лесу. Это—предложение Семина, по части всяких изобретений он неутомим. Разложили костер, при багровом, прыгающем свете докладчики разбирали свои бумажки, записывали вопросы, которые задавали им слушатели.

Таким точно манером, приехав в «родную деревню», собирались фронтовые солдаты-большевики летом 1917 года.

Основное впечатление от собрания: люди научились говорить дельно, кратко, по существу. Научились формулировать свою мысль. Ни одного лишнего слова,—в этом отношении многие городские ораторы и оппоненты могли бы позавидовать колхозникам.

Порядок дня собрания—результаты весеннего посева и предстоящая уборочная кампания. В прошлом году сеяли месяц, в этом году должны были сеять — по твердому и трудному плану—одиннадцать дней, фактически же посев закончили на девятый день. По плану должны были посеять 63 га овса — посеяли 70. Увеличили также посев вики (вместо 40 га — 50), гречи (вместо 2—3), гороха (вместо 2—4). К наметенной площади огорода прибавили 10 га, вместо трех га корнеплодов дали тринадцать. Увеличение—за счет целины.

В прошлом году с уборкой была беда — «прорыв». На помощь пришли школьники, совслужащие из района, непривыкшие к физическому труду люди, они больше мозолили глаза и мешали, нежели работали. Надо, чтобы в этом году не повторилась прошлогодняя история. Надо не только убрать все до последнего колоса, до последней картопки

ки, что посеяли, но и помочь соседям—близлежащим совхозам и колхозам.

Слово берет бригадир пахарей — сегодня бригада, покончив со «своей» работой, пахала в совхозе, за плату, разумеется.

У бригадира литое от пламени лицо, зубы из красного целлюлоида—они светятся. Бригада привыкла работать сдельно, в совхозе же все еще работают «кому сколько хочется».

— Старшой приехал в восемь утра, а мы в пять были на работе. Хорошо сами догадались, где пахать, а то бы стояли зря. «Мы гостям не указчики, сколько сделаете—спасибо». Вот те раз! Мы не гости, мы—работники.

Он шевельнул горящие ветви, с треском взметнулись искры, из-за золотого дождя долго не слышно было бригадира.—Или он не говорил?

— Как в какой-нибудь Польше, — сказал паренек и улыбнулся.—Будто—подпольное собрание.

— А ты в Польше бывал?—зло спросил бригадир-докладчик.

— Ну... не был... Ну, читал я все-таки...

— Раз не был—молчок,—все так же зло сказал бригадир и потер лоб. И тут только я понял, почему человек сердится. Его сбили с дороги, помешали докладывать.

Скоро он вновь нашел нить беседы.

— Под старшим лошадка—игра, таких старших—я интересовался—несколько, у каждого—конь. Чем трястись—пахали б лучше, вот и не было бы прорыва, не пришлось бы нам «в гости ездить».

— Ты зачем это докладываешь?

— Как зачем? Отписать надо. Обязательно надо отписать московской кооперации—их совхоз. Пускай знают!

— Валяй дальше.

— Дальше что же? Едят, как работают. По ломтику хлеба дали, похлебка—водица и все. Спасибо, мы свой хлеб прихватили.

— Выходит, у нас — не так уж плохо? — спросила комсомолка из района, полагающая, что колхозники «Верного пути» все еще нуждаются в поверхностной, элементарной агитации.

— А ты думаешь как? Езжай туда на недельку — спрашивать перестанешь».

После бригадира заговорил пожилой

человек, он заставил меня еще раз вспомнить 1917 год. Тогда нередко встречались люди, которые впервые за всю свою жизнь начинали говорить, вслух высказывать мысли общественного порядка. Это очень сложный и важный шаг: от личной — к общественной жизни. Это—граница, которую в первые годы революции перешли миллионы людей.

Точно такой же процесс и сейчас происходит в деревне. Армия индивидуалистов становится армией коллектива. Человек в первые начинает высказываться.

Тут нужны горячие толкачи, умные и дельные энтузиасты, которые займутся этими «начинающими общественниками». Колхозная ячейка не в состоянии быстро и успешно превратить «полуфабрикат» в «готовое изделие». Нужна помощь района. Район же пока-что таких людей не дает. Городского типа парень в тубетейке (тот, который докладывал о дне печати) — не в счет, его нужно сбросить с весов, пользы от него никакой.



Несколько слов о «педтехникумовцах» и культуре.

«Педтехникумовцы» шефствуют над «Верным путем», «ведут культурабату». Культуработа в колхозе — самое слабое место.

Огородное поле рябит от красных, синих, зеленых пятен, — пятна эти движутся. Кривой цепью приближаются работницы. Здесь работают колхозницы и студентки педтехникума. В движении не отличишь одних от других—колхозницы перетасованы со студентками. Да и как их отличить? Та же одежда, те же голые икры, обнаженные головы, с'ехавшие на спину платочки.

Но вот перерыв на пятнадцать минут — и под деревьями усаживаются две группы: колхозная и педтехникумовская. У каждой—свои разговоры, свой смех и шутки.

Почему?

Чем объяснить, что слушательницы педагогического техникума — в огромном большинстве своем те же крестьянки и работницы—держатся в стороне от колхозниц?

С этим вопросом я неоднократно обращался к студенткам. Ответы получались самые разнообразные, но настоящего ответа в них не было.

— Что ж... Мы сами крестьянки, дома эту работу делаем, нам здесь работать неинтересно.

— О чем нам с ними говорить? Мы не чуждаемся, зачем чуждаться? Темы нет подходящей.

— О витаминах что ли им рассказывать?

Близкий к истине ответ:

— Мы за зиму устали, не то что с посторонними, со своими лень говорить.

Как бы то ни было, культработа в колхозе или вовсе не ведется, или ведется казенно, бездушно. Колхозный актив, ячейка, правление, товарищ Семин видят это, но заедают другие дела, нет времени уделить внимание этому важнейшему участку работы. Не надо забывать — из 303 едоков от «работы» освобождены четверо. Как правило, они, эти «освобожденные», работают с рассвета до полуночи. (Здесь имеются в виду люди, — четверо, — которые не участвуют в производственных процессах, — в грубом смысле этого слова, — председатель например).

Несколько примеров.

В свое время колхозниками и колхозницами было взято из библиотеки несколько десятков книг. Взяли и забыли вернуть. И вот библиотекаря (студентка) вывешивает список за списком, напоминание за напоминанием. Никто списков не читает. Библиотекаря полагает, что она «свое дело сделала, не возвращают — не моя вина». Недели бегут.

— Так ведь все они завтракают, обедают и ужинают в этой столовой. Вы бы побеседовали с каждым читателем в отдельности, узнали, почему книг не возвращают?

— А зачем, ведь я список вывесила...

Ликвидаторы неграмотности также ждут, когда неграмотные явятся к ним.

— А вы пойдите на скотный двор, там все почти доярки нуждаются в вашей помощи. Сговоритесь с ними, вызовите их на соревнование.

Только одна ответила:

— А ведь верно! Я и не додумалась! Инициатива идет со стороны — из рай-

она. Загорск прислал «обязательства», которые ликбезники заключают с грамотными «на предмет обучения неграмотных», — только после этого к делу ликвидации неграмотности стали привлекать колхозников.

Семин посоветовал студенткам ездить в поле на обеденный перерыв, читать отдыхающим колхозникам газеты и книги. Идея замечательная! Однако что из этого вышло? Долго читали не то, что нужно. Колхозники и колхозницы спали! Наконец нашли книгу, которая живо заинтересовала женщин: «Мать и дитя». Слушают — слышно, как ветер перебирает листья.

Ну, а когда прочтут «Мать и дитя», тогда что?..

В этом году закончен скотный двор на 100 голов, осенью приступят к постройке нового двора на 85 голов. Сейчас очищают место для второй этой постройки.

Работа приятная, показательная, как плакат: «Сейчас, товарищи, на этом месте навоз, через несколько месяцев будет великолепное здание». Сафонов, работник скотного двора, присоединился к работающим вилами и лопатами женщинам. Он сопит носом, старательно трудится, губы в движении от желания говорить. Он молчит до перерыва. Потом, отдыхая, чертит прутиком по песку.

— Вот я, скажем, построил себе дом 10×10 (чертит на песке). Теперь сосед построил себе такой же дом — отступя на 10 — тоже 10×10 (чертит).

— У твоего соседа есть дом, он не построит, — замечает краснощекая молдуха.

— Не в том суть, я к примеру. Точка. Теперь приходит колхоз и говорит — ты построил квадрат 10×10 и сосед, отступя на 10, тоже построил такой квадрат. Так я, колхоз, чтобы построить третий дом (в середине) должен не четыре стены ставить, а две! Делаем не три крыши, а одну. Точка. Экономия есть, как вы думаете?

— Так ведь колхоз сам кварталы будет строить, — не унимается краснощекая. — А ты в кумпании!

— Зачем? Это я — пример. Ведь подумайте, бабочки, сколько тут хлевов

понастроили 6 единоличники на... погоди... (в уме складывает 100 и 85) на... 185 голов скота. То же самое — силосная яма.

Беседа уклоняется от первоначальной темы. Говорят о том, как трудно было строить силосную яму.

— Зима началась, снег пошел, а мы все строим и строим. Гальку для постройки брали в пруде, колхозные мужчины залезали в воду до пупа. А вода — страсть! — холодная, а снег так и сыпет, так и сыпет. Мокрую траву в яму рушили, я берет нас сумление — а вдруг сгниет?

— Ставка на силос была, понимаете, — подмигивает мне Сафонов. — Кулаков били ямой!

Самый ярый, самый упрямый собственник-крестьянин стал коллективистом. Его лошадь, его корова отныне принадлежат всему обществу, животные не исчезли с глаз, они находятся тут же, ими чаще всего распоряжаются «чужие». В связи с этим «болезнь собственности» у некоторых колхозников дает рецидивы. Эта болезнь вспыхивает ярко, затемняет сознание.

— Почему мою корову зарезали?

— Она выбракована, для молочного хозяйства не годится, — многословно отвечает старший скотовод.

— Знаем мы! У меня семь годов годилась, вам в руки попала — плоха.

— Не бузи! Сам знаешь, здесь за коровами лучший уход.

— Ты думаешь, в книги смотришь, значит — лучший уход?

Или такой случай.

Колхозник, который «ничем плохим себя не зарекомендовал» (общее мнение), вдруг, когда собрались пахать в совхозе, прибежал на конюшню и вырвал уздечку из рук пахаря.

— Не дам свою лошадь. В колхозе пахали, ничего не говорил. Чужим не дам.

— Как так свою лошадь?

— Власть сменится, лошадь — опять моя!

Как нужно расценивать такие явления?

Парень в тубетейке, едва выслушав эти два факта, сказал:

— Товарищи, в вашем колхозе остались кулаки.

— Какие же это кулаки?

— Ну, подкулачники.

Мне думается, товарищ Семин правильно квалифицировал эти высказывания.

— Это, брат, единоличные заскоки, — сказал он. — Рассказывают, цирковые лошади, даже когда они по несколько лет там не работают, услышав музыку, начинают танцевать. То же самое и здесь. Конечно надо прислушиваться. Смешно думать, что классовая борьба в колхозе кончилась. Но, присматриваясь к продолжающейся борьбе, надо заниматься и перевоспитанием. Надо к каждой бригаде прикрепить одного-двух сильных товарищей, пускай действуют!

(Распределение сил, прикрепление товарищей к бригадам состоялось на том же собрании).

В другом месте и при других обстоятельствах продолжаю свою беседу с Сафоновым.

— Вот вы сказали, что постройка коллективного двора выгоднее индивидуального. Думали ли вы об этом раньше? Ведь вы и раньше до коллективизации могли построить общий скотный двор.

— Сказали! Тут бы в этом самом скотном дворе все перебились. Сто коров, сто хозяек, — как по вашему? Опять же воровали бы одна у другой. Воровали б и точка.

— Скотный двор действительно того... Ну, а общие дома?

— Да как я раньше мог подумать об этом? Мне и в голову не приходило! Нетем голова была занята. Я с восемнадцати лет женат, жена — с шестнадцати замужем. С тех пор бьемся над куском — ни одного свободного дня. Детей — четверо живых, двое на погосте, это за десять-то лет. Хозяйство ниже среднего. Каждый день — одна думка: хлебом живот набить. Теперь я знаю — работа и точка, а уж о еде, о еде другой подумает. При такой панораме (Сафонов улыбнулся, слово ему понравилось) я до чего угодно могу додуматься. Я работаю, а новые мысли сами собой в голову приходят...

— Мысль моя теперь свободная, вот что!

У большинства исчезла, у меньшинства исчезает любовь к единоличному хозяйству. Каким чувством эта любовь будет компенсирована?

Факты как бы сами подбираются один к одному, отвечают на возникший вопрос.

Три факта. Два бесспорных, один — спорный.

Привожу их по порядку.

Град побил капустную рассаду. Огородник уверяет — «на пятьдесят процентов». Семин поехал посмотреть, верными своими глазами прикинул, прицурился. Повздыхал. Заявил — погубило не больше одной четверти.

На поле, в столовой только и разговора, что о побитой капусте.

— На щи хватит, — беззаботно говорит Семин. — А там — хоть трава не расти!

— На щи, на щи, — закричали женщины. — Не об одних щах нам думать!

— Не кричите, бабы!

— Бабы все забастовали, одни женщины остались, — точно стихи продекламировали колхозницы.

— Ну, женщины. Об чем речь? Я говорю, для колхоза капусты хватит.

— А мы сколько продать думали? План составляли?

— Ишь ты, — ответил Семин и прищелкнул языком. — Выходит, вы о плане очень волнуетесь?

— Ты думал общественное, дак у нас голова не болит?

— Во-от оно что?! Ишь какие! Голова, говорите, болит?

— Ну, тебя, насмешник. Погоди, еще что скажем!

Но он уходит, трясет полами пиджачка, переваливается с ноги на ногу — доволен.

Наконец еще факт — сомнительный.

Ночью сторож скотного двора услышал шорох. Шуршали у постройки. Он окликнул. Молчание. Тогда сторож выстрелил вверх. Кто-то в белом бросился бежать.

На следующий день бежавшая сама объявилась.

— Ты что ж, старый чертяга, спишь, а потом спохватишься — стреляешь.

— Кто говорил?

— В меня вчера стрелял.

— Жаль не попал! В другорядь мяться в другое место иди. Время теплое, трава — под каждым кустиком перина. Чего-то я кавалера твоего не видел...

— Старик, а — дурной. Одна я была. Тебя проверять пошла.

— Чего меня проверять?

— Может, ты спишь?

— А сплю — тебе не убыток.

— Как не убыток? Небось скот не чужой — наш, он — мой да твой.

...Так и не удалось выяснить, что привело девушку к стенам скотного сарая, — личная услада или общественное дело?

Семин никогда не агитирует в том духе, в каком, скажем, московские жители (в дачных поездках) агитируют подмосковных молочниц. Вместе с тем Семин всегда агитирует, каждое его слово, каждый поступок — агитация. Это особый вид агитации, — очень умная, всегда хорошо действующая.

За обедом бабы (которых Семин упрямо не желает называть женщинами) говорят:

— Надо нам, Алексей Ванович, о пятидневочке подумать.

— Зачем? — спрашивает Семин.

— Ловчей! В пятидневку и белье постираешь, и рубаху залаetaшь.

— А воскресенье?

— Ну его — воскресенье! Все равно в храм не ходим.

— А базар?

— Что нам базар! Укупить чего — и в будний день можно!

Семин соображает:

— С другими поговорите. Если большинство согласно — и я с большинством. А то одни вы, бабы, так, а мужики — этак.

— Раз бабы захотели, они и мужиков подобьют.

— Это — другое дело. Это уж называется — большинство требует. Тут я — пас!

И комично кланяется бабам.

Решенная задача для него — все еще задача. Он любит ее повторить.

Сегодня он говорит:

— Вот летние работы кончим, опять на зиму столовую закроем, детей из детского дома и площадки матерям отдадим, а то они забудут, как нянчиться.

«Бабы»:

— Что ты Семин, сдурел что ли? Нет уж, извини, назад теперь не пойдём.

— Не пойдете?—Пауза.—Ну что же, не пойдете—не надо!

— Выдумщик ты! Лучше б о прачечной подумал, о баньке.

— В плане баня имеется, не скули.

— Фу, ты,—злитесь «баба».—С тобой и поговорить нельзя ладком: «Не скули, не скули!»

Для молодежи куплен футбольный мяч, имеются гири. Гимнастикой однако юнцы и «дівчины» занимаются без всякой охоты.

Семин их больше не уговаривает.

Ежедневно после обеда он у столовой возится с гириями. Поднимает одной рукой самые тяжелые, жилы движутся на его лице, на голых руках, от напряженья лицо багровеет.

Ему нельзя утомляться, — из горла может хлынуть кровь. Я сказал ему об этом, повторил несколько раз. Только рукой машет.

...«Личный пример» помог. После обеда молодежь тянется за Семиным, желающих заниматься гимнастикой становится все больше. Наступает наконец день, когда Семин может повторить свое любимое:

— Я вам что—нянька? Занимайтесь сами, у меня дела поважней.

«Где нет учета, там нет крупного хозяйства, где нет учета, нет колхоза, как организованного хозяйства» (Яковлев).

Напоследок мне хочется привести крепко сбитые строки цифр. Цифры—итог. Где хорошо ведется работа, там итог не может хромать.

Коровы «Верного пути» выделены в молочно-товарную ферму. Коров — 130, из них дойных—107. Молоко законтрактано.

Как уже сказано, в феврале 1931 г. закончен скотный двор на 100 голов. (Скотный двор оценен в 20.000 рублей).

Осенью выстроена силосная башня на 100 тонн. Тогда же выстроили и молочную.

В декабре 1930 г. приобретен двигатель и лесопилка.

Организованы две столовые, устроены ясли и детплощадка.

Сельскохозяйственных машин «Верный путь» купил на 5.000 рублей.

Несмотря на все эти крупные расходы, колхоз должен всего лишь 27.000 руб.

Обобществлено мертвого инвентаря на 20 т. рублей, лошадей на 12 т. р. (53 штуки), коров и молодняка на 34 т. р., свиней и овец на 7 т. р.

Заложено 7 га фруктового сада. Приведен в порядок старый сад—4 га. Посажено 2.000 кустов малины.

Имеется парниковое хозяйство — 200 рам.

Сельсовет коллективизирован на 100 проц.

Силами «Верного пути» («красные сваты») организовано 6 колхозов. Им оказывается помощь. Для руководящей работы в некоторых колхозах выделены товарищи.

Восемнадцать колхозников «Верного пути» обучались на краткосрочных курсах в Москве, Загорске и Кашире.

Колхоз соревнуется с двумя колхозами—«Сменой» и «Красным почином».

Теперь о перспективах.

Осенью будет построен скотный двор на 85 голов, изолятор на 20 голов, телятник на 60 голов, две бани, столовая и 4 общежития. (Жилищным строительством колхоз займется впервые). Будет поставлен новый двигатель, он даст энергию для лесопильной рамы и осветит весь колхоз. Дорывается колодезь. Вода по трубам будет доставляться в скотные дворы. (Провода для электростанции и трубы для водопровода уже имеются). Все это—в 1931 году.

Предполагается закладка нового сада—20 га.

От съезда колхозников «Верный путь» получил премию—1.000 рублей. От пленума райисполкома—переходное знамя. Товарищ Семин премирован на 100 рублей—промтоварами.

Пахнет листьями, травой, хвойными иглами, и только по запаху, острому и усыпляющему, чувствуется—день идет

к закату. Солнце запуталось в густых деревьях. Кукушка кому-то отсчитывает годы, отсчитывает, не скупясь. Стучит дятел. Муравьи безостановочно ползут струями, кажется, на их блестящих спинках влажнеет пот устали.

Возвращаюсь из «Верного пути».

Рядом со мной женщина из соседнего сельсовета—единоличница.

— Какие теперь единоличники,—говорит она, хоть вопроса—почему она не

в колхозе? — я не задал. — Вчерашний единоличник—утренний колхозник.

Жара. Лень. Моя спутница разговорчива. Она сама задает вопросы, сама отвечает:

— Мы в лаптях ходим. Ступил — и сорок пряников. Вот сапоги справим, тады—в колхоз.

Пауза.

— А то скажут — голые приходим. Непорядок.

3. ДЖИЗАКСКИЙ РЕЙД

Очерк

Георгий Гайдовский

1

...Сквозь высокие и узкие окна — такие окна бывают в костелах—едва пробивается утренний, жидкий, как спитой чай, свет.

Стараясь не разбудить нас, Абдушкур проходит через комнату, открывает окно; запах цветущей акации наполняет комнату, прохладный ветер шевелит занавески. У стены, похрапывая, спят ферганцы, приехавшие погостить к земляку Ахунбабаеву. Я вижу ситцевые розовые штаны и голую пятку, высунившуюся из-под ватного, мягкого одеяла. Где-то завизжал ребенок, наверное сын Абдушкура. Едва слышно донесся протяжный, надрывный вопль ишака.

Я поспешно встаю.

Акация хранит накопленный за ночь запах. Вода в арыке холодна, и прозрачна. Струя бежит на мои руки из тонкогорлого кувшина, перетянутого, разукрашенного, как экзотическая танцовщица.

На половине Ахунбабаева тоже движение. Он выходит, высокий, крупный, крепкий. Неизменная синяя толстовка. Сапоги. Черная с белым шитьем ферганская тибетейка. Его серый макинтош перекинут через спинку садовой скамейки, придвинутой к столу. Сквозь зелень палисадника и частый переплет ограды видны мерно шагающие верблюды. Проехал, вздымая облака пыли, шустрый, разухабистый извозчик.

У Ахунбабаева умные, пронизательные глаза. После поездки в Челек лицо

его стало темнокоричневым. Когда он сдвигает тибетейку на затылок, отчетливо видна полоска, разделяющая загоревшую часть лба от светлой. Рядом с серым макинтошем лежит киргизский малахай из верблюжьей шерсти, предохраняющий от пыли и жары.

С нами член коллегии наркомзема УзССР тов. Мурзаев. Это ферганский батрак из Ассакинского района, выдвинутый сейчас на столь высокий и ответственный пост. Он положительно красив. У него тонкие, правильные черты лица. Лимонную матовость кожи хорошо оттеняет синевато-черная бородка, не скрывающая резко очерченный рот с белыми, чистыми зубами.

К воротам подъезжает четырехместный фورد. Шофер Петров вперевалку подходит к нам. Мы вчетвером должны отправиться в Джизак: председатель ЦИК УзССР Ахунбабаев, член коллегии Наркомзема УзССР Мурзаев, шофер Петров и я, писатель, работающий вот уже почти два месяца в колхозе неподалеку от Самарканда. Я не совсем ясно представляю себе, что делается в Джизаке. Накануне Ахунбабаев предложил мне принять участие в поездке... После упорной, трудной работы в колхозе хорошо двинуться в те заманчивые дали, где в туманах скрываются снежные вершины гор.

2

Самарканд только еще просыпается.

Наш фورد быстро минует пышные мечети Регистана, Биби-Ханым, Шах-и-

Зинду. Встречные мальчишки в одних рубашонках орут, показывая нам свои голые, раздутые животы. Нагруженные дровами и хворостом ишаки бредут, с трудом переставляя рахитичные ноги, внимательно разглядывая подобно близоруким старухам, дорогу. Верблюды ступают тяжело, уверенно, с гордостью неся свою змеиную голову. Верблюжьих караваны нанизываются, как замысловатые восточные ожерелья. Кое-где открылись лавчонки, мастерские. У остановки автобуса собралась группа узбеков в запыленных сапогах, цветных чалмах и яркокоричневых халатах.

Мы минуем возникающую пестроту и сумятицу старого Самарканда, минуем величественное великолепие его развалин, у подножия которых ютятся не деревни, не муллы и не обалделые ученики мрачных медресе, а пятиминутные фотографы, готовые снять вас на фоне замечательных замков или плывущих пародов...

Кое-кто узнает Ахунбабаева, — руки прижимаются к сердцу, нас провожают сладкие селямы...

Мы едем в тенистой роще. Далеко внизу вьется Сиаб, мутный, многоводный, несущий удобрения на дехканские поля. Встречные всадники торопятся свернуть в сторону, лошади, не желающие привыкать к виду автомобиля, гарцуют, пытаются сбросить всадника, устремляются по круче вниз, останавливаются и дрожат той мелкой дрожью, когда каждый мускул, каждая жилка трепещут в страшном напряжении. Темный пот покрывает глянцевитую кожу.

Солнце греет ярче, и любо подставить лицо ветру и солнцу. Ахунбабаев нагнувшись ниже на глаза своей малахай. Он, кажется, дремлет. Мурзаев молчит. Петров тихо ругается, когда машину встряхивает на ухабе. Дорога становится все тяжелее, — колеи глубиной в пол-аршина. Потом крутой поворот, и мы едем по степи, еще не успевшей выгореть, покрытой травой, ковылем, яркими дикими маками.

Подъезжаем к Зеравшану. Он бунтует, — в горах дожди... Эти дожди и холодная волна, пришедшая с далекого севера, мучили нас несколько недель. Из-за них мы задержали в колхозе посев хлопка. Зеравшан, обычно узкий,

сейчас катится широкой, желтой мутной лавиной. Он несет в своих струях растворенное золото — лёс. Оседая на полях, лёс прекрасно удобряет почву. Эта белая вода (ак-су), которую в отличие от черной (кара-су) так ждут узбеки. Черная вода, берущая начало из ключей и родников, лишена лёса. Но лёс — не только удобрение, из него строят дома, мечети, крепости, из него изготавливается глиняная посуда, изразцы.

Пытаемся переехать Зеравшан в брод. Вода заликает подножки автомобиля. Мотор фыркает и затихает. Колеса затягивают песок. Мы спешим осушить зажигание, куда попала вода, закрываем магнето случайно оказавшимся мешком. Колеса буксуют, мотор надрыгается и медленно, медленно мы плывем, словно на пароходе, по течению Зеравшана. Ахунбабаев, как капитан корабля, стоит, вытянувшись во весь свой высокий рост и командует. Зеравшан остается позади.

Наша машина ныряет под Тамерлановскую арку и весело катится по железнодорожному мосту. Шаблонный контраст, но в эту минуту я думаю о полчищах Тамерлана, о его битвах и победах. Многого переменялось. И в пышных мечетях пусто, разве что заглянет любопытствующий турист, и под тенистыми шелковицами не седобородые муллы, а пионерские отряды, и с лунным светом на Регистане соперничает электрический фонарь, и узбечки в зловещих чачванах смело поднимаются по ступенькам автобуса, и радио поет свои песни в базарной, восточной суете, и Зеравшан отошел в другое место, не по Тамерланову мосту, вздыбившемуся, как верблюжий горб, идут бесстрашные полчища косоглазых людей, а по кружеву стальных балок мчит мощный паровоз аккуратные пухмановские вагоны. Шаблонные сравнения! Шаблонные мысли! Высказаны они много раз. Но когда Форд проходит под Тамерлановой аркой, не можешь не почувствовать глубокую гордость и радость, глубокое волнение и удовлетворение...

3

Поля...

Омачи скребут землю. Узбек вскочил босыми ногами на тяжелую доску, вле-

комую двумя низкорослыми быками. Доска разбивает последние комья, она выстругивает поле, выравнивает его, как рубанок в опытных руках столяра. Поле становится гладким, как паркет в торжественном зале.

Вдоль нашего пути — упорный, напряженный труд.

Спешка. С посевом опаздывали. Где-то прошел антициклон. Холодная волна добралась до солнечного Узбекистана. Агрономы устраивали консультации, как врачи у постели больного. — Можно ли сеять? Мощные катерпилляры и шустрые фордозоны взрывали целину, открывая новые и новые гектары для хлопка. Узбекистан шел в штурм. Он добивался хлопковой независимости. Все силы напряглись, шло великое соревнование между районами, между кишлаками, колхозами и коммунарами. Машинно-тракторные станции в сутки перебрасывали тракторы из одного конца республики в другой. На открытых платформах тракторы стояли, как дальнобойные, осадные орудия.

Шла война. Шли бои. Печатались сводки, посылались рапорты и донесения...

Ахунбабаев остановил автомобиль.

Его зоркие глаза приметили странную картину. На маленьком клочке земли вертелось шесть пар быков, запряженных в омачи. Другие быки владели доски, заменяющие бороны. Они мешали друг другу, часто сталкивались, и тогда узбеки галдели, пытались расцепить их, ругали друг друга. Когда подошел Ахунбабаев, они оставили быков. Босой детина с просмоленным лицом, с головой, заматанной тряпками, подошел к нам. Белая рубаха свободно болталась на его плечах. На обнаженной груди отчетливо рисовался треугольник загоревшей кожи. Это председатель колхоза.

Кое-кто присел отдохнуть, другие остановили быков, только упорный старик продолжал боронить землю. На поворотах он ловко соскакивал с доски, орал на быков, поворачивал их, на ходу взбирался на доску, балансировал на ней, щелкал языком.

Выясняется, что перед нами коллективный выезд колхозников на работу. Вместо того, чтобы организовать брига-

ды, распределить равномерно работников по всем полям, они сгрудились на одном участке, только мешая друг другу. Мотивировка небезынтересна: когда все вместе, каждый видит, как работает другой; когда на разных полях, у каждого возникает мысль, что сосед ничего не делает, и он сам прекращает работу. Агроном не приезжал давно. Колхоз предоставлен самому себе. Колхозники явно не понимают, что такое коллективизация. В глазах Ахунбабаева загорается сердитый огонек. Он любит землю, он сам батрак. Он видит, как извращаются элементарные принципы колхозной работы. Он знает, что здесь может сорваться сев хлопка. Уже многие колхозы приступили к севу, а здесь сумятица, беспорядок. Как главнокомандующий во время боя, Ахунбабаев принимает на себя командование.

Он сбрасывает макинтош, снимает маляхай. Он берет длинный хлыст и гонит быков. Наметил, как надо работать, разбил на бригады, угнал несколько упряжек на соседние поля, установил порядок. Он сам становится к омачу, чтобы показать, как лучше всего надо работать.

Из кишлака принесли в больших чайниках чай и груды лепешек. Перерыв.

Ахунбабаев вытирает потный лоб, пьет чай и говорит о плугах, о сеяках, о дисковках, о тракторах, о ярмах для быков. До сих пор многие узбеки не умеют запрягать в плуг быков. Их допотопное ярмо — бревно, прикрепленное к рогам, — не пригодно для этого. Ахунбабаев говорит об украинских ярмах, о коллективизации, о статьях Сталина, о Днепрострое, о Магнитогорске; о пятилетке...

Его слушают.

Речь Ахунбабаева увлекательна, горяча, понятна. У него нет пафоса, но ему не приходится искать слов: они сами бегут одно за другим, простые и убедительные.

4

Ахунбабаев любит землю и машину. Он любит работать. Я его наблюдаю изо дня в день. В коммуне имени Клары Цеткин, в Дагбите, где я работаю вот уже второй месяц, он бывает часто, шагает по полям, намечает направление джояков, говорит, когда надо сеять, сколько раз боронить, где рыть арыки.

Он сам стоит над трактористом, чинящим трактор, сердится, когда мотор не работает, и по-детски хорошо улыбается, когда вдруг смесь взрывается, и из выхлопной трубы появляется дымок. Он влюблен в плуг, в сеялку, в борону, в культиватор, в трактор. Он часами следит за их работой. Для него, батрака-хлопкороба, европейский сельскохозяйственный инвентарь — новые страницы в жизни Узбекистана. Сделать так, чтобы слово техника было достижением каждого узбека — его задача. Ахунбабаев прост и доступен. К нему можно притти в любую минуту в его кабинет с дощечкой — «Председатель ЦИК УзССР». Там сидят узбеки, пришедшие со всех концов республики за правдой. Сидят и напряженно слушают о плугах, боронах, тракторах, удобрениях и еще о плугах, боронах, тракторах, удобрениях. Его можно остановить на улице и спросить, пора ли везти на поля пакта-нури (удобрение), сколько времени мочить хлопковые семена перед посевом.

Эти мысли приходят мне в голову во время поездки.

Вдоль дороги разворачиваются колхозные поля. В поту, в труде, в неимоверных усилиях завоевывают землю дехкане. Победно идет трактор, журчит вода в усовершенствованных шлюзах, работа современных мирабов несложна: поднимать шлюзы и закрывать их. Каждый кубометр воды учтен, ни одна капля воды не пропадает даром.

Совхозные поля бескрайны. Мы часами едем мимо полей Милютинского совхоза.

Город двинулся в степь.

Путь наш — по лагерям, по бивуакам.

Ученики самаркандской семилетки, рабочие бригады, студенты техникума, приехавшие на сев... Палатки, костры, разноцветные майки, трусы — как на пляже. Задорные песни, опаленные весенним, горячим солнцем руки и лица.

У одного такого лагеря мы останавливаемся.

Ахунбабаев показывает молодежи, как надо работать.

Два месяца назад, сидя в Москве, в Гнездииковском переулке, мы думали о нашей будущей работе на посевной: драмкружки, стенгазеты, литературные

беседы... Но жизнь сказала: пожалуйста мерить поле. Чему равна площадь треугольника? А чорт его знает, чему она равна! Где ты, классическая гимназия имени Александра I «благословенного»? Куда испарились знания, заготовленные в голову при помощи единиц, наказаний и вечного угнетающего страха? Стенгазеты? — Отправляйтесь за автоматом для оливеровского плуга. Что такое автомат? — Надо знать... Горюха!..

...Тень ползет вокруг форда. Вода струится с легким звоном в бетонированных арыках. Петров дремлет, развалившись на сидении, ноги перекинув через борт автомобиля. Уже около часа рядом с нами на бугорке сидит узбек и пристально, не отрываясь, смотрит на замысловатую машину. Его ишачок пачется неподалеку, равнодушный к последнему достижению американской автомобильной техники.

Опять едем... В попутном кишлаке нам машут руками, кричат. Останавливаемся. Мрачный молодой узбек-комсомолец в юнштурме (лицо у него тоже цвета хаки) стоит у дувала. Узбек в рваном халате сидит на корточках. Третий горячо жестикулирует, бранится, — он член правления колхоза.

Оказывается, комсомолец и его сосед ходили в мечеть и день прогуляли. Им не выдали жетонов. Они требуют жетоны, в противном случае грозят уйти из колхоза.

Брови Ахунбабаева сдвигаются.

— Комсомолец?

— Да.

— Ходил в мечеть?

— Да...

Комсомолец молчит. Он смотрит под ноги и тяжело уминает челюсти, так что на щеках возникают и исчезают желваки.

Ахунбабаев вдруг бьет меня по спине (я сижу перед ним, рядом с шофером):

— Пиши! Пиши Москву! Пиши газеты! Пиши — комсомолец в мечеть ходил! Позор! Пусть все знают!..

5

А дорога бежит, вьется, то приближаясь к железнодорожному полотну, где мы встречаем задыхающиеся в тя-

желой астме паровозы, преодолевающие высочайший подъем на Среднеазиатской ж. д., то исчезая в степи, — и вот наконец горы, Тамерлановы ущелья, Тамерлановы вершины с сигналами для пролетающих аэропланов. Струятся, заливая дорогу, распухшие от дождей ручьи. Форд с трудом преодолевает препятствия, колеса взмывают горы грязи, буксуют, зарываются все глубже и глубже. Мы стоим. Мурзаев лезет в воду, Ахунбабаев командует, Петров «кроет» воду и грязь, — мы кое-как двигаемся, ползем, а выбравшись на сухое место, снова застреваем. Форд делает чудеса, но и он бастует.

Мы окончательно завязли.

Вокруг величественные скалы. Вьются над нами орел.

Петров мурлычет:

— По морям, по волнам... Говорил я, правее держать, нет, говорит, левее... Вот тебе и левее.

Ахунбабаев привел арбакеша. Машины привязывают к арбе цепями. Две лошади, понатужившись, вытаскивают автомобиль из грязи. Арбакеш вопит, хлещет лошадей камчей. Петров дает газок, иснугажные лошади приобретают необычайную силу. Ахунбабаев снова в роли капитана. Мы выползаем на берег. Мурзаев шагает по воде. У него мокрый до пояса халат, в сапогах хлупает вода, от Мурзаева идет пар: солнце — горячее.

Путь наш тяжел.

В стороне маленькая крепостца.

Высокими дувалами обнесены жилые постройки. Людей не видно. Этот хуторок здесь в горах заставляет работать воображение. Мерещатся нападения, осады, атаки, но живут здесь мирные люди, объединенные в колхоз.

Они дают нам свежую, холодную воду, налитую в громадные кувшины, кислое молоко и спрашивают — не видели ли мы трактора?

Обещали из совхоза трактор, но помешали дожди. Не пройти трактору. Мы успокаиваем их, что трактор пробьется через грязь на своих гусеницах. Колхозники садятся вокруг нас и внимательно слушают о плуге, о бороне, о культиваторе, сепялке и еще раз о плуге, о бороне, о культиваторе, сепялке... Тема эта всегда нова, интересна, захватывающа.

Наконец-то гладкий путь.
За горой — Джизак.

6

В Джизаке проводим не больше часа. Широкие, тенистые улицы Нового Джизака пустынно в этот солнечный, жаркий час. Найти кого-нибудь трудно, и только случайно встречаем мы ранее прибывшего представителя наркомзема УзССР тов. Исаджанова. С ним вместе едем в старый город, где разносятся вопли певцов и звонкий говор, где есть холодный кумыс и терпкий кок-чай... Улицы полны, в чайханах людно и тесно, как на... харьковском вокзале.

Курбан-байрам.

Гремит музыка возле карусели, певцы в чайханах пытаются перекричать разухабистую «ойру». Бродят разряженные узбеки. На каждом несколько халатов, подпоясанных платками. Они часто останавливаются, чтобы купить леденцов или съесть порцию мороженого. Шустрый продавец соскабливает с снежной глыбы немного снега на металлическую тарелочку, поливает его патокой, ловкими движениями, вращая на ладони тарелочку, смешивает снег с патокой — и мороженое готово. Другой рубит кунжутную халву, от которой потом горят рот и горло. Третий набирает из большого котла белую, густую, как сметана, сладкую мишалду, которую намазывают на куски нонов, четвертый быстро наливает в пиалы кумыс, в значительной степени разбавленный арычной водой, пятый жарит шашлык, крошит лук, раздувает угли, шестой готов угостить жирной шурпой или рассыпчатым пловом... Крошечные девочки ходят, взявшись за руки, их ноги путаются в длинных, пестрых юбках, на них бархатные безрукавки, к бесчисленным косячкам привешены звенящие при ходьбе серебряные украшения. В расположившемся рядом цирке гулко ухает барабан. Заманчивые плакаты обещают тысячу удовольствий: джигитовку на двух лошадях, человека, гнущего подковы, единственных, неподражаемых клоунов-юмористов и мадам Амалию, посылающую с плаката обворожительные улыбки, специальность которой невыяснена...

В чайханах звенят пиалы.

Нам освобождают место. Праздная толпа обступает нас плотным кольцом. Ахунбабаева знают. То один, то другой подойдет, пожмет руку, обменяется селямом. Ахунбабаева не называют ни по фамилии, ни по имени, никто не скажет ему дружески Юлдаш-ака. У него одно имя «ота» — «отец». Ахунбабаев привычным жестом радушного хозяина ломает ноны.

Только женщин нет в этой пестрой, праздничной, нарядной толпе. Они — там, за высокими дувалами, в таинственной, недостижимой глубине ичкары. Изредка пробежит, словно ящерица, прижимаясь к стенам, торопливая фигура, скрытая паранджой и чачваном, и трудно угадать, девушка ли это 14 лет, или старуха, согнувшаяся под тяжестью многих десятилетий.

Курбан-байрам.

Баи, ишаны делают последнюю ставку. Они пользуются слабо поставленной работой местного отделения союза воинствующих безбожников. Мусульманские муллы в трогательном единении с раввинами и православными священниками решили использовать апрель, чтобы сорвать хлопковый сев. Сначала еврейская пасха, потом русская, сейчас курбан-байрам. Весь апрель — праздники, а надо работать.

Наш отдых недолог...

Мы едем в кишлак Кахраман. Подобно встреченному в пути, он обнесен высокими дувалами. У развесистой шелковицы, с созревающими плодами, небольшой хаус. Жабы оглашают воздух своим отвратительным клёкотом. Старуха без паранджи вынимает из печи только что испеченные лепешки. Наш приезд отвлек ее от работы, ноны горят, обугливаются. Узбеки спешат постелить в вытягивающейся тени одеяла, они предлагают нам подушки, и мы с удовольствием лежим, потягивая утоляющий жажду кок-чай.

Ахунбабаев снова говорит.

Исаджанов в это время рассказывает мне о положении вещей в этом районе. В долине за Джизаком, куда мы приехали, ряд переселенческих (из Ферганы) колхозов: Аргин, Кахраман, Таланкур, Янги-Абат, Майдамялат, Берлик, Массабаке... В последние дни здесь произошли неприятные события.

Колхозники хотят бросать работу, уходить в Фергану. Уже сейчас колхозы почти не работают. На поля выходит 20 — 25 проц. колхозников. Сейчас празднуют курбан-байрам. Все двинулись в Джизак на базар, погнали туда колхозных лошадей, чтобы не ходить пешком.

— Тц, тц, тц! Яман! Джида-аяман!

Из Аргина в Фергану ушло 90 человек. Янги-Абат сидит без риса, настроение неустойчивое. Посевные планы срываются. Отчасти помогло головопутьство. Переселенцев послали на Яйльму, где «по планам» должно было быть «электр» орошено 700 га. Приехало туда 150 человек. Но там не только «электр», но и вообще никакого орошения не было. Переселенцев перебросили на новое место, а во время перебросок 60 человек уехало в Фергану.

Исаджанов мне поясняет:

— Фергана — рай Узбекистана. Ее иначе не называют, как благословенная Фергана, райская Фергана, голубая Фергана. Уйти из Ферганы — грех. Но земли в Фергане нехватает. Ведь сейчас хлопкороб имеет возможность обрабатывать не крошечный клочок земли в полтанапа, а несколько гектаров. Помощь машинно-тракторных станций привела к значительному увеличению посевных площадей — основное условие, при котором может быть осуществлена хлопковая пятилетка. В Узбекистане много неосвоенных земель, годных под посев хлопка. Ферганцы — лучшие хлопкоробы. Их начали переселять на пустые земли. Уезжали они с родины с печальными думами и стесненным сердцем. Но впереди были бескрайние просторы полей, усовершенствованное жилье, электрическое орошение. Так говорилось. На месте — неизменно тяжелая земля-целина, вместо двухэтажных домов (шустрые вербовщики распространили такой слух) — юрты, да и то из Туркменистана сумели получить вместо требующихся 110 юрт только 10. Пришлось семьи колхозников разместить в Джизаке, в помещениях раскулаченных баев, выселенных ишанов. Те повели энергичную агитацию среди женщин, встретили благоприятную почву. Недаром Джизак (дизак — ад) самый религиозный город Узбекистана.

«Подкачали» со снабжением—дров нет, леса на постройки нет, рис в 2-3 раза дороже, чем в Фергане.

Исаджанов шопотом добавляет:

— А главное в правлениях колхозов засели баи. Они у нас на мушке...

Время не ждет. Сеять надо. Сотни гектаров, вспаханных тракторами, ждут обработки. Дорог каждый день, каждый час. В эти горячие дни нельзя слушать песни певцов, нельзя кейфовать в чайхане. Бой!.. Штурм!.. И главнокомандующий прибыл на передовые позиции.

Вокруг него взрыв хохота: Ахунбабаев агитирует за... кобылу...

Иметь жеребца для узбека — почет. Рождение жеребца — праздник, как рождение сына. Приобрести хорошего жеребца — заветное желание каждого узбека. Когда началась ликвидация байства — баи распродавали за бесценок кровных жеребцов. Полуторатысячный жеребец шел за 150—200 р. Узбеки накупили жеребцов, а теперь выяснилось, что на них нельзя работать. Они в упряжке не ходят, дерутся.

И вот Ахунбабаев агитирует за кобылу.

В колхозе живет двадцатипяти тысячник Майданов. Он высок, строен, в столь излюбленных здесь брезентовых сапогах, светлых штанах и белой рубашке. У него крепко отчеканенное лицо, квадратный подбородок. Когда он курит, пальцы его, в которых зажата папироса, дрожат. Пальцы его в постоянном движении. Он постоянно что-нибудь тербит, то застегивает или расстегивает пуговицу, то играет концом кушака. Пока Ахунбабаев беседует с узбеками, он ведет меня в свою комнату. Глиняные стены, земляной пол, два одеяла на земле — постель. Рядом сундучок, на сундучке бумаги и чернильница.

Майданов нервничает:

— У нас совершенно не ведется счетоводство... Все приходится делать мне. Расписки, счета пропадают. Деньги расходуют кто сколько хочет. Я подсчитал... У меня... у меня... 400 р. недочета. Я не знаю, где они. Деньги выдаешь в поле. Расписок не берешь. Все равно, вместо подписи палец прикладывают. Пойди проверь. Нет счетовода.

Я советую ему заявить в райпосевком, потребовать ревизию.

Майданов показывает мне книги, где детским почерком выведены какие-то цифры.

— Требуите ревизию...

7

Ахунбабаев перекочевывает к юрте агента по переселению Салимбаева.

Я его догоняю в пути.

Он шагает впереди. И странно, мне вспоминается картина Серова — Петр Великий, шагающий по набережной. За Ахунбабаевым длинный хвост узбеков, довольных неожиданным зрелищем, а позади — автомобиль. Вперед ускакали верховые, — вечером созывается совещание правлений колхозов.

Вечереет.

С гор тянет прохладой. Горы стали фиолетовыми, потом пепельно-серыми, как паранджа узбечки, и вдруг исчезли.

У Салимбаева гудит примус, а под котлом, вкопанным в землю, весело горят дрова. В котле рис, баранина, — плов.

Но Ахунбабаев не позволяет отдохнуть, живо расставляет громадную палатку, открытую со всех сторон, — точно тент на пароходе. Зажженный фонарь освещает постанный брезент, фигуры приехавших колхозников.

Из-за горы выкатывается оранжевая луна, как бухарская парчевая тибетейка.

Заседание начинается.

Говорят колхозы:

Колхоз Аргин. — Колхозники разбили на 9 бригад. Между ними распределен сельскохозяйственный инвентарь. Приступили к работе. В самый разгар ударник из Самарканда тов. Филле начал проводить учет и организацию труда. Когда его спросили, зачем он записывает выходящих на работу, он ответил, что все колхозники работают сдельно и будут получать за каждый рабочий день. Узбеки возмутились. Они полагали, что являются хозяевами в своем колхозе, а их свели на положение батраков. Батраками можно быть и в Фергане. Многие разбежались, их примеру последовали соседние колхозы. Посевной план сорван. Выполнить его невозможно.

Филле (он невысок ростом, щупл, очень нервничает, временами заикается). — Начало недовольства породила рабо-

та на богаре. Работа была трудная, и узбеки отказались работать. Когда выяснилась необходимость копать арыки, узбеки категорически отказались, мотивируя это тем, что им обещано пресловутое «электроорошение». Работала по-настоящему только бедняцкая часть колхоза. В правление потерял баи. Они только и делают, что пьют бузу. Председатель правления колхоза — бывший торговец мясом.

М а й д а н о в (говорит приторно-митинговыми фразами, услужливо заглядывая в глаза Ахунбабаева. В руке тербит листочек с какими-то «тезисами»).—Организовать труд в колхозе надо, иначе «красный сев и победоносное шествие рабочих и крестьян под руководством коммунистической партии к социализму будут сорваны непониманием великих задач генерального плана пятилетки нашего Советского Союза» (в таких витиеватых фразах не всегда выделишь крупинки ценных сведений). На работу в Ургине выходило не больше 40 проц. Работать узбеки не умеют. Изувечили 50 проц. лошадей, испортили с.-х. инвентарь. Аргин должен был начать сев 18 апреля, начали же сеять 24-го, когда, после дождей, земля покрылась непроницаемой коркой.

А б д у к а д ы р И з м а и л о в (председатель ревизионной комиссии Ургина). Он умен, этот маленький человечек с аккуратной бородкой. Он решительно опровергает обвинения в том, что правленцы пьют бузу. Ложь! — Колхоз хочет работать, колхоз ждет помощи со стороны рабочих, но не ту помощь, с какой пришел товарищ Филле.

Я узнаю в правлении Ургина: председатель правления колхоза Турсункулов — бывший мясник. Председатель ревизионной комиссии Абдукадыр Измаилов — бывший извозчик, имел 16 лошадей. Его батраки сейчас в колхозе. Групповод Абдул Кадыр Бадайбаев расстоит в ассажинском кредитном тве 15.000 руб. Хорошая компания...

Филле нервничает. Да это и понятно. Парнишка он простой, думается мне, работал искренно и честно. Все мы ошалели от этой организации труда, которую предложили нам проводить внезапно, без всякой подготовки, в самый разгар сева.

Только в коммуне, где я работаю, председателем старый партизан Мамаджан Джабиров, председателем ревизионной комиссии всеузбекский аксакал Ахунбабаев, а здесь — кулачье.

Вдруг Ахунбабаев резко приказывает Филле:

— Сдать дела! Отправиться в Самарканд!

Парень раздавлен. У него слезы на глазах. Мне кажется, что Ахунбабаев неправ.

Резкий порыв ветра прекратил собрание. Палатка свалилась. Потух фонарь. Гудит внезапно налетевший ураган, с гор катятся тяжелые тучи, закрывают луну, и вскоре идет дождь.

Мы прячемся в юрте.

Ахунбабаев на мой вопрос отвечает:

— Ничего... Они думают, мы их не понимаем... А мы их понимаем. Тц... Понимаем.

И он улыбается...

8

Весь следующий день моросит отвратительный дождь. Липкая грязь пристает к ботинкам, но мы все же пешком, перескакивая через арыки, скользя и едва не падая, бредем в Ургин.

Несколько юрт раскинулось под горой, словно какие-то странные грибы. Горные холмы поднимаются, подобно горбам лежащего верблюда.

Весь день мы сидим в крошечной палатке. Горит костер. Мы греем то спину, то грудь. Жарится шашлык, нанизываемый на остро отточенные палочки.

Нам поет песни председатель колхоза Турсункулов.

У него широкая борода, чувственные, немного вывороченные губы, те томные «с поволокой» глаза, которые тут встречаются так часто. Он поет, изо всех сил выжимая невероятные дискантовые ноты. Перед лицом он вместо бубна держит свою тубетейку. Он поет о побеждающем комсомоле, о героической Красной армии, о доброй советской власти, желающей блага узбекам, о друге трудящихся Востока — Сталине...

Баи празднуют победу. Им кажется, что они обманули самого Ахунбабаева. Зарезан баран. Угощение. Кумыс и...

буза, сытная, густая, кисловатая, от которой узбеки хмелеют. Исаджанов вдруг поднимает примеченный у юрты маленький чилим, нюхает и удовлетворенно кивает головой: кто-то курил анашу.

Невзрачный человек, приплывший сюда по грязи, показывает нам нарисованные на гальке чертежи будущего поселка узбеков. Он тщательно хранил эти чертежи от воды у себя на груди. Мы видим ровные ряды домиков, здание кооператива, красную чайхану, общежития для холостяков, конюшни, амбары... Здесь в этой голой долине должен вырасти культурный поселок. Ахунбабаев вносит свои пожелания. Он чертит свои планы сначала в моем блокноте, потом на земле палочкой. Театр, клуб, амбулатория, баня, (обязательно баня), детские ясли, почта... Все это сильно похоже на мистификацию, но кредиты отпущены, материалы заготавливаются, чертежи прорабатываются и скоро можно приступить к стройке. Остановка за колхозниками. Мечтали о двухэтажных домах, а теперь категорически отказываются от европейских жилищ. В чем дело? Исаджанов уже выяснил. Баям мешает строительство. Они твердо решили уехать в Фергану. Им невыгодно оставаться здесь. Уезжая к Джизаку, они сами у себя по спекулятивным ценам скупили рис, муку, лошадей. На переселении они подработали. Но сейчас одним уходить неудобно — обратят внимание. И вот они подбивают всю массу колхозников. Если будет поселок, если будут дома, — бедноту не сдвинешь с места, вот они и спешат использовать время заминнок, неурядиц для своей агитации... Долой дома!.. Долой клуб!..

— ...Велик Советский Союз, и велика мощь его. Красные солдаты очистили советские поля от байства. Слава красным солдатам. Много звезд в небе, но самая яркая на лбу кзыл аскеров, — это поет председатель колхоза (бывший торговец).

Так проходит день.

Ночью спим вповалку в юрте, прикрывшись сырими, засаленными одеялами. В человеческой каше не разберешь, где ноги, где руки. Если кому-нибудь надо выйти, — он ступает по людям, и те тяжело двигаются во сне.

При первых проблесках рассвета мы встаем.

День будет ясным. За ночь трава покрылась инеем. Холодно, изо рта вырывается пар.

На сегодня назначено собрание колхозников.

Правленцы, уверенные в победе, сами помогают собирать колхозников, разползшихся по всей долине.

Ахунбабаев не ждет.

По его приказу разбирают юрты. На глазах обнажаются деревянные скелеты. Вот убраны и скатаны цыновки, окружавшие нижнюю часть юрты, распутаны арканы, переплет которых хитер и искусен. Сняты кошмы, и юрта стоит, как обглоданный скелет с топорщащимися ребрами. Но еще минута, и ребра эти сложены, снят круг, придерживавший их в вершине юрты, и она превратилась в правильную грудку жердей, кошм и канатов (арканов). Юрты колхоза были расположены на большом расстоянии одна от другой. Это привело к ряду неудобств. Сельскохозяйственный инвентарь был разделен по юртам, а так как везти его было далеко, то он часто на сутки и больше оставался в поле. Задача Ахунбабаева — объединить колхозников на время сева в один крепкий кулак. Авторитет его настолько велик, что колхозники не протестуют. Мы присутствуем при великом переселении народов. Юрты быстро возникают в новом месте, и сейчас же вспыхивают очаги, появляются кучи помета, муссора, ребятишки также шлепают по лужам, а собаки грызутся из-за костей, — впечатление такое, будто юрты стояли здесь десятки лет...

Старое правление колхоза преследовало одну цель, — распылить силы колхозников, Ахунбабаев решительно, по-большевистски выправляет положение.

Пока женщины и старики ставят юрты, Ахунбабаев увлекает колхозников за собой в поле. Большая часть из них — в Джизаке на празднике. За ними поскакали верховые. Осталась бедняцкая часть, комсомольцы, партийцы, те, что до последнего дня не оставляли работы. Ими руководит славный парень с добрым, скуластым лицом. (Позже я

узнал, что он был намечен в новые председатели колхоза.) Ахунбабаев первый подает пример: он запрягает жеребца, тот не дает надеть хомут, бьет задом, становится на дыбы, кусается, потом носит седока по полю и, побежденный, наконец запрягается в борму.

Прискакал Майданов. Он докладывает по своей привычке в высокопарных, напыщенных словах:

— Кахраман вышел на работу. Кахраман не изменит делу пролетарской революции. Кахраман зовет товарища Ахунбабаева в гости.

Мертвые поля оживают. Даже те, кто упорно не хотел выходить на работу, кто мечтал о возвращении в «голубую» Фергану, берутся за кетмень.

Ахунбабаев, как французский солдат, заправил полы халата за пояс.

Он командует:

— Бригада, к арыкам... Бригада, на бороны... Бригада, мочить семена!..

Правленцы стоят, смотрят. На то они и правленцы!

Ахунбабаев налетает на них. Одному дал в руки кетмень, другого поставил к дисковке, третьего посадил вместо груза на борону, где пыль и грязь. Правленцы не умеют работать, они привыкли командовать. Они злы, но улыбаются и вынуждены подчиниться. Думают они, наверное: скоро ли пронесет этого беспокойного человека.

В полдень начинается собрание.

Присутствуют человек сто. Палатка предохраняет от солнечных лучей немногих. Колхозники сидят широким кругом. Они слушают и молчат. Раскачать их трудно. Они чего-то ждут. Для них важно выяснить — кто же победит: Ахунбабаев, который вскоре уедет, или правленцы, которые, по их мнению, все же останутся?

Уже намечены новые кандидатуры правленцев. Старое правление обречено. За ним много темных делишек. Но Ахунбабаев не раскрывает своих мыслей. Он понимает настроение узбеков и хочет заставить их самих разоблачить баев и аферистов, примазавшихся к колхозу.

Заседание продолжается два дня.

Два дня Ахунбабаев говорит.

Мне запомнилась его речь о людях,

любящих тень. Лодырь любит лежать в тени, трудолюбивый человек не боится солнца. Такие притчи прекрасно принимаются собранием.

Ахунбабаев говорит о плуге и бороны, о сеялке и тракторе, о Днепрострое и пятилетке...

Под конец удалось раскачать.

Заговорили все, один за другим. Посыпались обвинения. Правленцы, чувствуя поражение, сверкают глазами.

Ночь мы проводим в юрте. Спим вповалку. Ночь холодная, мы зябнем до рассвета, с нетерпением ожидая утра, солнца!

Уезжая, мы минуем колхозы.

Работа началась.

Попутные кишлаки зовут в гости, но мы спешим. Поездка наша и так уже затянулась.

В Джизаке остановка. Ахунбабаева пригласили на открытие джизакской райпартконференции.

Здание клуба окружено толпами любопытных, привлеченных духовым оркестром. Гремит туш, — это происходят выборы президиума. Ахунбабаев говорит. И здесь его речь о плугах, о бороны, о сеялках. Тут тоже его слушают с напряженным вниманием, потому что плуг, сеялка, трактор — это залог хлопковой независимости.

Я выхожу из здания клуба, с трудом пробивая себе дорогу, раньше Ахунбабаева. Вся площадь гудит и волнуется. Весть о приезде всеузбекского акакала распространилась по городу с необычайной быстротой. Когда он проходит через толпу, ему со всех сторон протягивают прошения, он их сует в карманы, но вскоре ему некуда девать этот бумажный поток. Я прихожу ему на помощь. Когда написаны эти прошения? Кто знал, что в эту минуту появятся Ахунбабаев?

Сопровождаемые селянами, мы покидаем Джизак...

9

Ахунбабаев избирает новую дорогу, чтобы миновать разлившиеся ручьи, еще больше угрожающие нашему форду после прошедших дождей.

Мы едем в обход по горам.

Горная дорога великолепна.

Она идет по руслу пересохшего ручья. Часто на горячем песке нежится

полутораметровая змея, ускользящая в камнях при приближении нашей машины. Это сердит Петрова, норовящего разрезать змею пополам. Иногда дорога делает полуаршинный скачок вверх, и тогда мы приволакивает камни, делаем насыпь, по которым автомобиль взбирается наверх. Мы минуем ущелья. Горы поднимаются, обнажая громадные камни, грозящие обвалом.

Темнеет.

У нас возникает мысль отправится на Челек с тем, чтобы вернуться окружным путем через Дагбит.

Мы взбираемся на перевал, за которым, нам кажется, лежит гладкая дорога. Мы хором поем «Интернационал», выражая этим свою радость. Но тропа окончилась, и перед нами волны холмов, покрытых коврами красных, диких маков.

Мы пускаемся на поиски дороги.

Форд то опускается с холмов, то карабкается на них. Временами мы удерживаем его на руках, временами толкаем вперед. Ахунбабаев поднимается на вершины и, как полководец, прикидывает,

куда нам направлять свой путь. Мы неожиданно видим волка. Ахунбабаев стреляет в него из своего винчестера, но волк благополучно скрывается.

Уже при свете фонарей мы оказываемся на совхозной богаре. Мы едем долгие часы, звезды сверкают над нами, а совхозная пшеница все также шелестит у наших колес, все также бесконечны эти необозримые пространства, насчитывающие тысячи гектаров.

Ахунбабаев и Мурзаев дремлют. Петров и я судорожно следим за показателем уровня бензина. Что, если нехватит?

За колышущейся пшеницей мерещатся ямы и провалы.

Но вот мы выезжаем на изумительно ровную дорогу, предназначенную для автомобилей. Провел ее совхоз. Петров повеселел и газует. Несколько минут, и мы в Милютинской.

Будим секретаря совета, ищем ночевку. Уже далеко за полночь. Глаза слипаются. До Самарканда осталось несколько десятков километров.

Литература и искусство

1. Н. ПИКСАНОВ.—Как учился молодой Горький. 2. Арк. ГЛАГОЛЕВ.—„Гидроцентральный“ М. Шагинян. 3. Л. ЗИВЕЛЬЧИНСКАЯ.—О плакате и его роли в социалистическом строительстве. 4. Евг. ЛАНН.—Из английской литературы. 5. Авг. РАШКОВСКАЯ.—Без руля и без ветрил.

1. КАК УЧИЛСЯ МОЛОДОЙ ГОРЬКИЙ

Н. Пиксанов

Я сам все еще ученик и таковым пребуду до конца дней моих, ибо: познание есть наслаждение.

М. Горький (1928).

1

В середине 1898 года, стало быть, больше тридцати лет назад вышли два томика «Очерков и рассказов», подписанных незнакомым именем: Максим Горький. Рассказы поразили всех талантом, своеобразием, смелостью, и читатели невольно стремились узнать: кто же такой этот писатель-новичок, Максим Горький?

И вот вскоре, сначала в изустной молве, а потом и в печати стало повторяться сообщение, что автор—выходец из низов, человек, не получивший не только высшего или среднего, но и низшего, словом никакого образования, совершенный самоучка.

Между тем, представление о Горьком как о самоучке является мифом, легендой, только затемняющей подлинный облик писателя, мешающей историческому учету его творчества и отрицающей у писателя ту заслугу, то достоинство, какие ему бесспорно принадлежат.

Мне могут возразить, что теперь легенда о самоучке умерла, что еще восемь лет назад, в 1923 году, напечатаны Горьким «Мои университеты», и в этом произведении наконец рассказано, что за кружки самообразования посещал Горький в Казани и какие книжки он тогда читал.

Нет спору, многое с 1923 года стало яснее. Но легенда еще не умерла, а

главное — не заменена четким, точным, полным изображением того, как учился и чему научился молодой Горький.

Во-первых, в самих «Университетах» многое не досказано. Вот например из других биографических материалов известно, что осенью 1885 года Горький был принят в хор оперного театра в Казани, содержимого антрепренером Орловым-Соколовским. Этот факт и сам по себе любопытен и ценен еще тем, что устанавливает ранние связи с театром будущего автора многих театральных пьес. Однако в «Университетах» Горький обходит этот факт совершенным молчанием.

Вот в новейшей книжке «Рабселькорам и военкорам о том, как я учился писать» Горький вдруг загорается воспоминаниями о том, как он в Казани писал стихи: «Нередко я чувствовал себя точно пьяным и переживал припадки многоречивости, словесного буйства от желания выговорить всё, что тяготило, огорчало и радовало меня, хотел рассказать, чтоб «разгрузиться». Бывали моменты столь мучительного напряжения, когда у меня, гочно у истерика, стоял «ком в горле», и мне хотелось кричать, что стекольник Анатолий, мой друг,—талантливейший парень и что он погибнет, если не помочь ему, что проститутка Тереза — хороший человек, и несправедливо, что она — проститутка, а студенты, пользуясь ей, не

видят этого так же, как не видят, что «Матица», старуха нищая,—умнее, чем молодая, начитанная акушерка Яковлева. В тайне даже от близкого моего друга, студента Гурия Плетнева, я писал стихи о Терезе, Анатолии, о том, что снег весной тает не для того, чтобы стекал грязной водой с улицы в подвал, где работают булочники, что Волга — красивая река, крендельщик Кузин — Иуда-предатель, а жизнь — сплошное свинство, тоска, убивающая душу».

А в «Университетах» этой горячей тирады нет, и о стихах говорится гораздо суше и суше.

О стекольщике Анатолии в «Университетах» вовсе ничего не упоминается; зато в других высказываниях Горький сообщает, что тот участвовал (вместе с Горьким) в 1888 г. в пропаганде среди крестьян в селе Красновидово под руководством М. А. Ромаса, а потом, не выдержав вечной нужды, покончил самоубийством.

Да и то, что рассказано в «Университетах», часто нуждается в объяснениях и дополнениях. Это особенно наглядно обнаруживается в новейшем издании «Моих университетов» — в школьной серии классиков — 1931 года. Здесь впервые к этому произведению даны редакторские примечания. Но они только раздражают читателя. Предупредительно объяснено, что игуменья — это «начальница, настоятельница женского монастыря», что катакомбы — «обширные подземелья в Риме», что Клеопатра «любовной связью с Юл. Цезарем, а затем с Антонием пыталась удержать царскую корону». Но вот кто такой упоминаемый Горьким Федосеев, кто такой Сергей Сомов, — в примечаниях не говорится. А ведь Федосеев — это Николай Евграфович Федосеев, один из выдающихся ранних революционных марксистов, организатор марксистского кружка в Казани, высоко ценимый Лениным. А Сергей Сомов — революционный деятель, живавший за границей, изучавший артели на Волге, состоявший в общении со многими писателями, напр. с Кущевским, Лесковым, Петропавловским-Карониным; был в ссылке в Сибири. Горький, который встречался с Сомовым в Казани и жил потом вместе

с ним в Нижнем, сообщает о нем — не в «Университетах», а в примечаниях к чужой статье — следующее: «Я познакомился с ним в Казани, где он организовал довольно обширный кружок молодежи; после переезда С. в Нижний во главе кружка стал его талантливый ученик Федосеев, вскоре «провалившийся» вместе с кружком. Сомов написал большую работу, в которой доказывалось, что явления социальной психологии подчиняются тем же законам физики, как явления электричества. На рукописи этой работы была надпись Н. К. Михайловского, сдержанно-одобрительная. Помню из нее два слова: «мало фактов». Более одобрительно отнесся к работе этой молодой московский психолог Викторов, — его надпись тоже была сделана на обложке рукописи. Одна глава этой работы была издана в Нижнем брошюрой».

Таких комментариев нет в названном издании «Моих университетов». Ни об одном (ни об одном!) из участников казанских революционных организаций не сказано в этих странных примечаниях к этому пока единственному «комментированному» изданию. В результате читатель не воспринимает содержательности многих упоминаний и намеков в сдержанной и лаконической книге Горького.

Прекрасная книга эта еще притом — не обычные мемуары, а беллетристика, и художник-автор, отдаваясь воспоминаниям, часто создает яркие обобщенные картины быта, характерные психологические образы прошлого и невольно оставляет в тени многое из того, что близко интересует историков и биографов. В этом своем художественном значении «Мои университеты» примыкают к другим беллетристическим произведениям, явно автобиографическим и воссоздающим жизнь молодого Горького в Казани: «Случай из жизни Макара», «Коновалов», «Хозяин», «Бывшие люди», «Двадцать шесть и одна», «Болесь».

2

Конечно в «Моих университетах» мы всё же получили огромный запас конкретных историко-биографических знаний, и они начинают противостоят

старшей легенде о писателе-самоучке. Однако их было бы недостаточно, чтобы вовсе уничтожить эту легенду, если бы мы не располагали теперь многими иными добавочными документами и материалами.

А мы ими располагаем.

Это прежде всего — высказывания самого Горького.

В названной выше книжке—«О том, как я учился писать», помимо взятой мною оттуда цитаты, есть еще несколько очень ценных заметок Горького о его жизни в Казани и вообще о его учебе,—таких, что не вошли в «Мои университеты». Отдельные мимоходные высказывания того же порядка найдем и в других произведениях Горького. Но есть три случая, когда Горький высказался прямо о своих казанских учебных годах, вызванный на то чужими статьями. Это, во-первых, сообщение в «Былом» 1918 г., № 12: «М. Горький. Материалы, собранные департаментом полиции» с примечаниями М. Горького; впрочем здесь для учебных годов материалов мало, и примечания Горького лаконичны. В том же «Былом» за 1925 год, № 4, помещена обширная статья Н. Я. Быховского: «Булочник А. М. Пешков и казанская революционная молодежь 80-х годов»—воспоминания, записанные со слов М. П. Федорова, бывшего офицера, принимавшего в молодости близкое участие в казанских революционных кружках. В статье дается широкая характеристика этих кружков и их выдающихся участников, — в том числе и Пешкова-Горького. Так вот к этой статье Горький, по предложению редакции, написал «Заметки и поправки», дающие ценные дополнения к тому, что говорится в «Университетах». Тут напр. подробнее сказано об одноруком офицере Смирнове, примыкавшем к народовольцам и пытавшемся с группой единомышленников экспроприровать для подпольной типографии шрифты из одной казанской типографии. Тут гораздо отчетливее, чем в «Университетах», сказано о булочной, открытой Деренковым ради средств на революционную работу, и о роли в ней Горького. Существенны и другие заметки и поправки. Наконец в том же «Былом» (1921, № 16) появи-

лась статья Бор. Н.—ско го: «Первое преступление М. Горького»; в ней по архивным материалам жандармских донесений рассказывается о связях молодого Горького с революционными группами в Казани и Нижнем. Статья снабжена подробными примечаниями Горького, где находим выше приведенную характеристику «нигилиста» Сомова, характеристику народоприва М. А. Ромася и т. д.

Таким образом от самого Горького мы получили ценные дополнения к тому, что он рассказывает в «Университетах». Они мало известны в широких читательских кругах и уже конечно не включены в упомянутое новейшее издание «Университетов».

Но и они скупы и усиливают нашу жажду знать учебные годы Горького еще полнее.

3

К счастью, есть еще источники, из коих можно утолять эту жажду.

Я разумею группу воспоминаний, относящихся к этому периоду.

Нижегородский знакомый Горького и давний собиратель материалов для его биографии, доктор В. Н. Золотницкий, опубликовал в 1928 году в сборнике «М. Горький в Н.-Новгороде» ценнейшую работу: «Из жизни М. Горького в Казани». Здесь он напечатал воспоминания о молодом Горьком целого ряда старых казанцев: С. Н. Миловского—беллетриста, писавшего под псевдонимом Елеонский, М. Д. Фокина—впоследствии профессора Московского клинического института, П. Ф. Кудрявцева — видного организатора кружков революционной молодежи, впоследствии врача, М. Е. Березина—будущего лидера трудящихся в государственной думе. В дальнейшем я буду цитировать их показания, и читатели убедятся, как много существенных дополнений внесли они в рассказы самого Горького.

Если не для самого молодого Горького непосредственно, то для выяснения окружающей его среды и для характеристики выдающихся лиц, имевших на него влияние, мы получили одновременно с выходом «Моих университетов» целый ряд исследований и материалов. Для Федосеева имеем сбор-

ник Истпарта: «Федосеев, Николай Евграфович, один из пионеров революционного марксизма в России» (ГИЗ, 1923), «Воспоминания о Федосеевском кружке в Казани» М. Г. Григорьева («Пролетарская революция», 1923, № 8, 20; ср. 1924, № 4/27), исследование Н. Л. Сергиевского: «Федосеевский кружок» («Красная летопись», 1922, № 5, 1923, № 7) и другое его замечательное исследование: «Народничество 80-х годов» («Историко-революционный сборник» под редакцией В. И. Невского, т. III. 1926). О другом выдающемся марксисте 80-х годов, начавшем свою пропаганду в Казани, потом переехавшем в Нижний и бывшем в общении с М. Горьким, о П. Н. Скворцове, существует особая группа работ; здесь назову только статью С. И. Мицкевича: «Казанцы в Нижнем» (конец 80-х и нач. 90-х годов XIX в.) в журн. «Пути революции» (Казань) 1922, № 2; в этой статье имеются сведения и о других крупных деятелях, с какими Горький был в общении в Казани. Упомяну рядом статью С. Лившица: «Очерки истории казанской социал-демократии (1888—1916)» в том же журнале «Пути революции» 1922, № 1. Упомянутый М. Е. Березин совместно с Ю. Бородиным, Е. Печоркиным, Э. И. и М. В. Гауэнштейнами недавно опубликовали в журн. «Каторга и ссылка» (1930, № 10) интереснейшие воспоминания из жизни народнических кружков в Казани (1875—1892).

В маленькой книжке Н. Ф. Калинина: «Горький в Казани. Опыт литературно-биографической экскурсии» (Казань, 1928) — немало любопытных бытовых подробностей, а также жуткое письмо Горького перед попыткой самоубийства в декабре 1887 года.

4

Если окружить «Мои университеты» этими сборниками, книгами и статьями и изучить их, перед нами воссоздается яркая и богатая картина общественно-политических движений в Казани второй половины восьмидесятых годов. Обнаруживается, что в эти годы, при упадке политического движения и усилении правительственного террора в

столицах, Казань оказалась одним из наиболее крупных революционных очагов. Здесь собралось много активных народников, здесь были или бывали видные народовольцы (напр. А. Н. Бах). Здесь же выдвинулись крупнейшие ранние марксисты: П. Н. Скворцов, Н. Е. Федосеев. В Казани тогда налаживались подпольные типографии и печаталась нелегальная литература. Здесь велась пропаганда среди рабочих и ремесленников. Необычайно широко развивались кружки самообразования среди учащихся и даже офицерства.

Остается пожалеть, что до сих пор не написана особая книга, где всё это было бы рассказано полно и точно.

Моя статья не претендует заменить такую книгу. Она не имеет претензии исчерпать и все данные о жизни самого Горького в Казани. Она даже не исчерпает и более узкой темы: о всех связях Горького с революционными казанскими кругами в 1885—1888 гг.

Я только постараюсь выполнить обещание, данное в заглавии моей статьи: рассказать, как набирался знаний, как учился молодой Горький в те годы. И только по нерасторжимости связей этой учебы Горького с революционными казанскими кружками придется говорить и о том особом образовании, какое тогда дополнительно получал Горький и какое можно назвать революционно-политическим воспитанием.

5

Учиться Горький начал раньше, чем явился в Казань. Если, посещая начальную школу семилетним мальчиком, Горький «учился плохо, школьные порядки ненавидел», «книги и всякую печатную бумагу» — тоже, то в двенадцать лет, работая посудником на волжском пароходе, он под влиянием солдата-повара Смурого «убедился в великом значении книги и полюбил ее». И с тех пор мальчик запоем читал книги. Он конечно многому из них научился. О сильнейшем воздействии книг на душу будущего писателя мы многое узнаем из автобиографической книги «В людях». Когда мальчику впервые попали в руки поэмы Пушкина, он «прочитал их все сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в неви-

данно красивое место». «Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной». Иллюстрированное издание песен Беранже «свело с ума странно-тесною связью едкого горя с буйным весельем». «Я уже прочитал «Семейную хронику» Аксакова, славную русскую поэму «В лесах» (Мельникова-Печерского), удивительные «Записки охотника», несколько томиков Гребенки и Соллогуба, стихи Веневитинова, Одоевского, Тютчева. Эти книги вымыли мою душу, очистив ее от шелухи впечатлений нищей и горькой действительности. Я почувствовал, что такое хорошая книга, и понял ее необходимость для меня». Как видим, восприятие и переживание читаемого были глубоки. Но и состав прочитанного был незаурядным. Прочитан был и Лермонтов, и Гюго, и Вальтер-Скотт, и Бальзак, и Гонкур, и многие другие классики, русские и иностранные. Зато читались и лубочные книжки в роде «Гуака» и «Францыла Венециана», и бульварные романы с Поль де-Коком во главе, и всякая иная дребедень из «Московского листка» и других таких же изданий. Около мальчика не было ни единоличного руководителя, ни группы или вольной организации, какая могла бы заменить школьную организацию и руководить образовательным чтением юноши.

Но если чтение было хаотичным и не заменяло правильной учебы, то всё же росла жажда знания.

Эта жажда и привела Горького в Казань. Его приятель гимназист Н. Евреинов, — пишет Горький, — «так хорошо доказывал мне: университеты нуждаются именно в таких парнях, каков я. Разумеется, была потревожена тень Михаила Ломоносова. Евреинов говорил, что в Казани я буду жить у него, пройду за осень и зиму курс гимназии, сдам «кое-какие» экзамены, — он так и говорил: «кое-какие», — в университете мне дадут казенную стипендию, и лет через пять я буду «ученым». Всё — очень просто, потому что Евреинову было девятнадцать лет и он обладал добрым сердцем». «А уж я видел себя седобородым волшебником, который нашел способ выращивать хлебные зерна объемом в яблоко, картофель по пуду весом и во-

обще успел придумать немало благодетней для земли».

Мечта об университете была горячей, страстной. Потом Горький вспоминал: «Я думал, что ради счастья учиться в университете можно претерпеть даже истязания. Если б мне предложили: иди, учись, но за это по воскресеньям на Николаевской площади мы будем бить тебя палками! — я наверное принял бы это условие». Конечно так не мечтали об университете большинство кончающих гимназистов, которым легко, без борьбы давалось вступление в университет.

В Казани юноша «скоро догадался, что университет — фантазия, и что он поступил бы умнее, уехав в Персию». Однако свое произведение, где он рассказывает о казанской жизни, Горький недаром назвал «Мои университеты»: он действительно получил в Казани университетское образование; я берусь это доказать.

Университетов в Казани оказалось несколько, много, в том числе — на соседнем пустыре «обширный подвал: в нем жили и умирали бездомные собаки». Не желая обременять приютившей его бедной семьи Евреиновых, чуткий и гордый юноша «с утра уходил из дома, чтобы не обедать, а в дурную погоду отсиживался на пустыре, в подвале». «Очень памятен мне этот подвал, один из моих университетов» — заключает Горький. Вместо университета Горький в Казани вынужден был проходить школу нужды, школу труда, школу борьбы, — «и чем труднее слагались условия жизни, тем крепче и умнее чувствовал себя».

Но была и школа, учеба в более прямом смысле. Если в детстве и отрочестве Горький читал главным образом беллетристику, то теперь в Казани он начал поглощать научные книги. Одновременно восполнял и пробелы школьной учебы. Он скоро свел знакомства в студенческой среде. Один из его новых друзей, казанский студент-медик Гурий Плетнев, «предложил поселиться с ним и готовиться в сельские учителя». «Я преодолевал науки, — пишет Горький, — с величайшим трудом; особенно угнетала меня грамматика уродливо узкими, окостенелыми формами; я со-

вершенно не умел втискивать в них живой и трудный, капризно-гибкий русский язык». План стать сельским учителем потом расстроился: Горький, «даже сдав экзамены на сельского учителя, не получил бы места по возрасту». Но изучение школьных «наук» конечно не пропало даром, оно в той или иной степени восполнило отсутствие среднего образования.

Исключительные дарования юноши, работавшего тогда в булочной, обращали на себя внимание не одного Плетнева; владелец нелегальной библиотеки и содержатель булочной, Андрей Деренков, о коем много говорит Горький в «Моих университетах», начал рассказывать студентам об удивительном парне-булочнике. Он сблизил Пешкова с выдающимся студентом-математиком М. Е. Березиным, будущим лидером трудовиков в государственной думе, и тот, подобно Плетневу, помогал Пешкову в его самообразовании.

А сверх этих личных учебных занятий Пешков проходил коллективную учебу — в кружках молодежи. И вот эти-то кружки и были настоящим университетом для Горького.

6

Сохранились воспоминания об одном таком кружке, записанные Н. Я. Быховским со слов одного из видных казанских «политиков» того времени, М. П. Федорова. Кружком этим руководил А. В. Чекин, личный знакомый Горького, встречавшийся с ним и позже, в Нижнем. О нем Горький делает в воспоминаниях Федотова такое примечание: «Аким Васильевич Чекин, превосходный пропагандист, человек поразительной душевной чистоты». Чекин был преподавателем городского четырехклассного училища, но уволен за неблагонадежность. Вот что сообщается о кружке Чекина: «Начались регулярные, систематические чтения по определенной программе, выработанной Чекиным после его ознакомления с развитием и уровнем знаний членов кружка. Занятия начали с «Исторических писем» Миртова-Лаврова. Все выдвигающиеся здесь положения подвергались всестороннему обсуждению с экскурсиями в различные области знания. Потом пере-

шли к другим авторам. В дальнейшем участники кружка начали готовить рефераты по разным вопросам социологии и истории. Рефераты эти вызывали оживленные дебаты, затягивавшиеся нередко чуть ли не на целые ночи до утра. Постоянных участников кружка было человек десять, но нередко на занятиях и рефератах присутствовали и посторонние, не состоявшие постоянными участниками этих кружковых занятий. Затем принялись специально за изучение экономических наук и прежде всего за политическую экономию. Хотя у некоторых членов кружка были уже кое-какие познания в этой области, но всё же решено было начать с самого начала. Этим началом был «Царь-город» А. Н. Баха. Книжка эта была нелегальной тогда и зачастую ходила по рукам в переписанном виде. После этой книжки перешли к курсу «Политической экономики» московского профессора И. И. Иванюкова и к его же книжке по истории политической экономики под названием «Теория экономической политики от Адама Смита к настоящего времени». Тогда Иванюков считался одним из радикальнейших профессорско-экономистов. Усвоив Иванюкова, перешли уже прямо к первому тому «Капитала» Маркса». Здесь Горький прерывает мемуариста и делает характерную поправку: «Усвоив Иванюкова, переходили к «Политической экономике» Адама Смита с «примечаниями» Н. Г. Чернышевского, затем уже к Марксу. Спрос на Маркса, как и на «примечания» Чернышевского, был так велик, что первая глава «Капитала» ходила в списках». Мемуарист продолжает: «Книжка эта тогда была библиографической редкостью, и достать ее, а в особенности на продолжительное время, было не так легко. Чтение «Капитала» и в особенности первой главы давалось далеко не легко. Тем не менее все напрягали усилия, чтобы раскусить этот твердый орех».

Что кружок Чекина не был единственным, что на таком же высоком уровне бывали и другие кружки, об этом мы располагаем обильными данными. В Казани Горький сблизился с С. Н. Миловским, студентом духовной академии. Впоследствии Миловский стал известен как беллетрист, писавший под

псевдонимом Елеонского, и именно Горький в издательстве «Знание» напечатал два тома его рассказов. Так вот этот Миловский-Елеонский оставил воспоминания о другом казанском кружке для самообразования. У Миловского-Елеонского читаем: «Здесь я должен сказать вкратце, как тогда выращивалась кружковская молодежь. Мы собирались два раза в неделю и читали. Начинали чтение с книги Головачева «Десять лет реформ», потом переходили к «Политической экономии» Иванюкова (краткий очерк), затем к Чернышевскому (примечания к Миллю), к разным его статьям в «Современнике», к статьям Анненского, к историческим письмам Миртова-Лаврова, к В. В. в «Отечественных записках» и т. п. и наконец к Марксу по статьям Зибера или переводу. Мы немного читали на наших собраниях — страницу, две, три, редко главу. Но зато останавливались на каждой строчке, на каждой мысли (спорили-спорили и всегда приходили к одному выводу). Нашим кружком руководил студент-медик М. Д. Фокин, диалектик, знающий, развитый. Он казался для нас недостижимым идеалом. Направляя нашу мысль, он давал массу работы на дом, и дома мы читали и реферировали Михайловского, Спенсера, Кареева и пр. и пр. У меня напр. был прореферирован весь Михайловский». Следует к этому рассказу добавить, во-первых, что студент М. Д. Фокин — это будущий профессор. А во-вторых, — что реферировал (или конспектировал) читаемые книги и Горький. В 1889 году казанское губернское жандармское управление сообщало таковому же нижегородскому отобранному при одном обыске тетрадь Алексея Пешкова с выписками из статьи в «Отечественных записках» Миртова-Лаврова: «Современные учения о нравственности и ее история».

При такой серьезной постановке кружковых работ, при таких одаренных и осведомленных руководителях немудрено, что участвовавшие в кружках студенты университета, ветеринарного института, духовной академии теряли вкус к лекциям кафедральных профессоров по наукам историческим и экономическим. Миловский так и утверждает: «Лекции студентами были за-

брошены. Мы, академики, ничего не знали по своей богословии. Говорю об этом, как показателе того, что мы учились совсем другому... Мало ценили свою науку и студенты университета».

Так рядом с официальным университетом вырастал другой университет — неофициальный, но мощно влиявший на мысль своих своеобразных студентов.

Одним из таких студентов, притом студентом выдающимся, был булочник Алексей Пешков. Миловский пишет: «Я нарочно подробно остановился на идейном течении жизни молодежи в Казани в 80-х годах, чтобы вы могли почерпнуть из этой характеристики те данные, которые могут характеризовать и А. М. Пешкова как одного из многих той купели, в которой крестились тогда люди, жаждущие света». И еще раз подтверждает: «Описанную школу прошел и А. М. Пешков, будущий Максим Горький».

Возьмем еще несколько показаний из воспоминаний одного из виднейших руководителей тогдашних казанских кружков, П. Ф. Кудрявцева: «А. М. Пешкову было поручено отапливать и убирать мою комнату; этим устанавливалась естественная возможность для него часто бывать у меня в комнате по характеру своей службы и беседовать со мной по социально-политическим вопросам. Он часто заходил ко мне и тогда, когда собиравшись у меня кружковые и групповые собрания и велась чтения и беседы на социалистические и революционные темы. Словом, А. М. был в числе лиц, посвященных во всё происходившее... Конечной своей задачей кружки ставили поднять народное восстание с целью низвержения существующего царского самодержавного строя, опираясь в городах на фабричных рабочих и войска, а в селах на крестьянство, в лице его более сознательного слоя. В основу теоретической и практической программы положен был научный социализм Маркса и Энгельса. В одном из этих кружков работал Горький... В наших кружках проводились программы трех объемов занятий для выработки полного, законченного социально-политического мировоззрения: малое, среднее и максимальное, смотря по условиям среды и отдельных лиц.

С каждым вновь поступающим в кружок первой степени проходила минимальная программа, состоящая из систематически подобранной беллетристической литературы, критики (Добролюбов и Писарев), публицистической — по русской действительности и краткого курса политической экономии в популярном изложении. Средняя программа имела задачей дать твердое понятие по общему государственному праву (не по учебникам, а по литературе того времени), углубленное прохождение политической экономии с изложением основ научного социализма, начиная Чернышевским и кончая Марксом и Энгельсом, разбор партийных программ (читались и критически разбирались «Наши разногласия» Плеханова и пр.); читались избранные статьи по экономической литературе, по теории и практике прогресса, истории философии и общей истории. Третья программа (предназначавшаяся для немногих) имела целью подробное изучение научного социализма («Капитал» Маркса), его реферирование, «Коммунистический манифест» Маркса и др. его произведения по истории революции, произведения Энгельса, изучение движения рабочих Запада, I интернационала и конгрессов и программа практической революционной работы на местах. Проработавшие первую программу и перешедшие к работе второй программы начинали уже практическую деятельность, т. е. самостоятельное ведение кружков среди молодежи и рабочих. Алексей Максимович в период кружкования, может быть, и не прошел этих программ в порядке последовательности, но несомненно работал во всех, так сказать, трех ярусах и постиг все детали критики существовавшего дореволюционного строя и получил ясное представление о формах социалистического строя. В это время А. М. Пешков уже формировался в человека с большим образованием в смысле социально-политических знаний и определенного мировоззрения в направлении социалистическом и революционном.

«Пешков уже формировался в человека с большим образованием». Необходимо принять и запомнить это определение, данное человеком, хорошо знавшим Горького. Мы теперь видим: юно-

ша Пешков совместно со студентами высших школ Казани, под руководством выдающихся преподавателей-кружководов прорабатывал лабораторным, семинарским методом обширный круг наук. Совершенно ясно и бесспорно, что тогдашний Казанский университет никоим образом не мог дать такой выучки по историческим и экономическим наукам, как вышеописанные кружки. Уже помимо того, что казанские профессора-историки, юристы, экономисты были чужды или враждебны марксизму и социально-политическим проблемам современности, — чисто технически, в порядке обучения студентов университетское преподавание было архаично: на филологическом и юридическом факультетах оно обычно сводилось к чтению и записыванию лекций да к экзаменам. Той живой коллективной работы, какая впоследствии осуществлялась в семинарах, и в помине не было. Немудрено, что студенты забрасывали университетские лекции и стремились в кружковую работу: здесь они не только овладевали передовыми идеями современности, но и получали закалку в методическом исследовании, в широких дискуссиях.

Когда П. Ф. Кудрявцев говорит, что Пешков-Горький в Казани «уже формировался в человека с большим образованием», — это совершенно правильно. Но Кудрявцев делает оговорку: «в смысле социально-политических знаний». Справедливо было бы добавить, что Горький овладевал и другими областями знания. Так, однажды он купил, «заработав часть денег на пристанях, а часть заняв у Андрея Деренкова», «Афоризмы и максимы» Шопенгауэра и проштудировал книгу. «Это была первая серьезная книга, купленная мною, она до сих пор сохранилась у меня» — добавляет Горький. Позднее, летом 1888 года, в селе Красновидове, у Ромаша, он «с жадностью» читал книги по естествознанию. Но и раньше, в Казани, было то же. Так, он вместе с кружковцами проштудировал «Рефлексы головного мозга» Сеченова, о чем потом говорил знаменитому физиологу при встрече в Нижнем в 1899 году.

Если учесть всю ту обширную начитанность, какой Горький уже распола-

гал до Казани, если к ней добавить новые жадные разнообразные чтения в Казани, если сюда присоединить подготовку к экзаменам на учителя и наконец учесть во всей полноте и всем весе кружковые занятия историческими и политическими науками да при этом вспомнить, что всё это собиралось в памяти и мыслях высоко одаренного человека, то станет ясно, что необходимо отбросить как негодную легенду о писателе-недоучке и самоучке. И по количеству знаний, и по углубленности изучений, и по обостренности идеологических интересов юноша Горький превосходил не только хорошего гимназиста-классика, но и хорошего студента историко-филологического или юридического факультета. Уезжая из Нижнего не в Персию, а в Казань, Горький не ошибся. В этой замечательно богатой среде революционной казанской молодежи Горький прошел таки университетский курс, хороший курс, лучше, чем в официальном университете.

7

Вольный университет, какой проходил Горький в Казани, конечно не дал своему талантливому студенту той лингвистической или юридической муштры, какую проходили студенты-филологи или студенты-юристы. Но, как мы убедились, он дал ему лучшее, чего не мог дать казенный университет, — навыки коллективных изучений, подъем теоретических интересов в свободных спорах. Но чего вовсе не мог дать «императорский» университет и что щедро давал университет вольный, — это возбуждение мысли социально-политической, подъем революционного сознания.

Большинство казанских революционных групп принадлежало к народникам и народовольцам. В 1883 г. в Казань приезжал народоволец А. Н. Бах. Офицер Смирнов, арестованный при экспроприации типографии, тоже примыкал к народовольцам. Много было народников. Таков был М. Е. Березин, помогавший самообразованию Горького. В Казани жил и работал тогда известный народник Н. Ф. Анненский. Молодой Горький неизбежно попадал в сферу влияния народников. В «Моих университетах» он пишет, что его трогали «за-

боты о русском народе»: «Освежающим дождем падали на сердце мое речи народопоклонников, и очень помогла мне наивная литература о мрачном житии деревни, о великомученике-мужике», «я понимал, что вижу людей, которые готовятся изменить жизнь к лучшему», «и я относился к этим людям почти восторженно». После таких слов понятно, как охотно Горький вскоре принял предложение М. А. Ромаша поехать в деревню для пропаганды среди мужиков.

Но обаяние народничества не могло быть для Горького безраздельным. Ведь молодой Горький уже знал «народ»: «я видел плотников, грузчиков, каменщиков». И когда он наблюдал, что для народников «народ являлся воплощением мудрости, духовной красоты и добродетели, существом почти богоподобным и единосущным, вместилищем начал всего прекрасного, справедливого, величественного», — Горький начинал сопротивляться такому «народопоклонничеству»: «когда говорили о народе, я с изумлением и недоверием к себе чувствовал, что на эту тему не могу думать так, как думают эти люди».

Не могли думать по народническому шаблону и другие. Сам Горький упоминает, что «против народников еретически возражал ветеринар Лавров». Другим еретиком был Копытовский, которого тоже звал Горький, — офицер, из крепостных крестьян. Отлично зная подлинную крестьянскую жизнь, Копытовский был «очень трезвым реалистом», «он выделялся тогда в спорах как яркий противник чрезмерной идеализации русской деревни и теории «особых путей» экономического развития России и отсутствия почвы для капитализма у нас». Однажды Горький узнал, что «в городе ходила по рукам какая-то волнующая книжка, ее читали и ссорились». Тот же ветеринар Лавров устроил так, что Горький попал на тайное кружковое чтение этой «волнующей книжки». Она оказалась знаменитой, только что появившейся книжкой Г. В. Плеханова «Наши разногласия». «Мне нравились острые и задорные слова, легко и просто они укладываются в убедительные мысли» — записал Горький впечатление от этого ночного чтения Плеханова.

Именно на этом собрании Горький познакомился с Н. Е. Федосеевым, одним из пионеров революционного марксизма в России. Богатство тогдашней казанской революционной среды сказалось в том, что в Казани бывали или работали не только видные народовольцы, как Бах, или народники, как Анненский, но и видные представители раннего русского марксизма. О Федосееве В. И. Ленин сказал, что его роль для Поволжья «была в то время замечательно велика, и тогдашняя публика в своем повороте к марксизму несомненно испытала на себе в очень и очень больших размерах влияние этого необыкновенно талантливого и необыкновенно преданного своему делу революционера». Вместе с Н. Е. Федосеевым пропаганде марксизма в Казани сильно содействовал П. Н. Скворцов, тоже высоко ценимый Лениным; Скворцов влиял и на самого Федосеева.

О первом знакомстве с Федосеевым Горький вспоминает в «Моих университетах»: «Юноша, наклонясь с подоконника, спрашивает меня: «Вы — Пешков, булочник? Я — Федосеев. Нам надо бы познакомиться. Собственно, здесь делать нечего, шум этот — надолго, а пользы в нем мало. Идемте?» О Федосееве я уже слышал как об организаторе очень серьезного кружка молодежи, и мне понравилось его бледное, нервное лицо с глубокими глазами. Идя со мною поем, он спрашивал, есть ли у меня знакомства среди рабочих, что я читаю, много ли имею свободного времени и между прочим сказал: «Слышал я об этой булочной вашей, — странно, что вы занимаетесь чепухой. Зачем это вам?» С некоторой поры я и сам чувствовал, что мне это не нужно, о чем и сказал ему. Его обрадовали мои слова».

Трудно сказать, в связи ли с призывом Федосеева или по собственному побуждению, подчиняясь позыву поделиться накопленными в вольном университете мыслями и чувствами, Горький принял участие в пропаганде среди казанских рабочих. «Мною овладел нестерпимый зуд сеять «разумное, доброе, вечное». Человек общительный, я умел живо рассказывать, фантазия моя была возбуждена пережитым и перечитанным... У меня были знакомства с рабо-

чими фабрик Крестовникова и Алафузова, особенно близок был мне старик-ткач Никита Рубцов, человек, работавший почти на всех ткацких фабриках России, беспокойная, умная душа». Другим знакомым был слесарь с фабрики Крестовникова, Яков Шапошников, убежденный атеист. Горький снабжал их нелегальными брошюрами (напр. «Цар-голод»). «Было у меня еще несколько интересных знакомств. Нередко забегал я в пекарню Семенова к старым товарищам, они принимали меня радостно, слушали охотно». Пекарям Горький читал между прочим книгу Костомарова о Степане Разине.

Однако пропагандистские опыты Горького не были длительны и систематичны. Тому были и объективные причины. «80-ые и 90-ые годы, ознаменовавшиеся крупными стачками в главных промышленных центрах России, не встретили отклика в казанском рабочем. Казань чрезвычайно болезненно переживала период промышленного застоя... Казанский пролетариат тех десятилетий был в своей массе неквалифицированным, не порвал еще связи с землей» (М. К. Корбут). Даже более зрелые и убежденные марксисты-федосеевцы вяло развивали пропаганду среди рабочих.

Тем труднее было осуществлять ее такому еще неустоявшемуся юноше, как Горький.

В воспоминаниях П. Ф. Кудрявцева сохранился пересказ одного разговора его с Горьким: «Однажды я вел с ним речь у крыльца булочной (на М. Бассейной ул.) о том, что ему пора заняться систематической работой по организации агитации и пропаганды среди рабочих города Казани (летом в 1887 г.). Он с удивительным благородством и искренностью сказал мне: «Нет, П. Ф., я не способен к партийной систематической и планомерной работе. Я могу только помогать и содействовать». Я был удивлен и огорчен, но принял это как непреложный факт и больше с ним об этом не вел разговоров».

Таким образом здесь к тем объективным трудностям пропаганды среди казанских рабочих, о чем говорится выше, присоединялись и трудности субъективные.

8

Здесь закончим характеристику учебных лет Горького.

Ученые Горького продолжались и позже Казани. Из воспоминаний его самого нам известно, что в дальнейшем его самообразовании большую роль сыграл нижегородский общественный деятель А. И. Ланин. В Нижнем Горький вращался в таких же радикальных и революционных кругах, что и в Казани. И это было тем для него легче, что ведь большое количество казанских деятелей переехало именно в Нижний. В Нижнем оказались и Скворцов, и Федосеев, и Чекин, и Сомов, и Анненский, и другие видные казанские деятели, а также десятки казанских студентов, высланных сюда после волнений 1887 года.

Но Горький учился и позже Нижнего. Жадный к познанию мира, к изучению своей родины, к идеологическому охвату революционных и социальных движений, Горький учится и поныне. Эта неутомимая жажда знания ставит Горького в ряды передовых умов человечества.

Но учеба в более узком и точном значении слова началась и кончилась для Горького в Казани.

В вольном Казанском университете, где учился Горький, преподавали выдающиеся «профессора» и «доценты». Некоторые из них потом выдвинулись и в цеховой, академической науке. Таков напр. М. Д. Фокин, руководитель одного из лучших нелегальных кружков-семинаров: он был в позднейшее время профессором областного Московского клинического института. Таков другой кружковод, Казакин, бывший потом приват-доцентом физики в Казанском университете. Но в вольном университете преподавали и такие лица, которые потом отправились не на кафедру, а в тюрьмы и ссылку или под надзор полиции. Между тем их подлинно научное значение как зачинателей и пролагателей путей для единственного научного метода—марксистского — было огромно. Разумею П. Н. Скворцова и Н. Е. Федосеева. Были в вольном университете и другие деятели с иной иде-

ологической ориентацией, как «нигилист» Сомов, народник Березин. П. Ф. Кудрявцев, Гурий Плетнев; это были выдающиеся по уму и познаниям люди. В общем итоге они осложняли, обогащали идейное брожение и так или иначе способствовали созреванию сознания и насыщению познаниями вольнослушателей этого своеобразнейшего вольного университета.

Объем изучений в этом университете был необычайно обширен. Чтобы закрепить в памяти читателей представление об этих изучениях, я воспроизведу сейчас перечень только того, что изучал там сам Горький, что стало нам известно из достоверных документов. По литературе Горький штудировал (не говоря конечно о литературе художественной) критические статьи Добролюбова, Писарева. По истории — Костомарова «Бунт Степана Разина» и конечно другие его монографии, «Десять лет реформ» Головачева; сюда же можно отнести и «Исторические письма» Миртова-Лаврова, которые имеют, разумеется, и общесоциологическое значение. По философским вопросам — «Афоризмы и максимы» Шопенгауэра, «Современные учения о нравственности» Лаврова. По физиологии — «Рефлексы головного мозга» Сеченова. По политической экономике, помимо популярной книжки Баха «Царь-голод», «Политическую экономию» проф. Иванюкова, «Теорию экономической политики от А. Смита до настоящего времени» Иванюкова же, «Политическую экономию» А. Смита, «Примечания» Чернышевского к Д. С. Миллю и статьи Чернышевского из «Современника». Горький штудировал, как и другие вольнослушатели-кружковцы, народническую публицистику: статьи В. В. (т.е. Воронцова), Н. Ф. Анненского, Н. К. Михайловского, — это было в порядке вещей в восьмидесятых годах. Но поразительно, как много читали и штудировали в казанских кружках (Горький в том числе) марксистскую литературу: «Коммунистический манифест», работы Энгельса, первый том «Капитала» Маркса по русскому переводу и по изложению профессора Зибера. Только что появившаяся боевая работа Г. В. Плеханова «Наши разногласия» быстро стала пред-

метом дискуссии в казанских кружках. Я перечислил сейчас свыше двадцати имен и названий. Нечего и говорить, что я не исчерпал всего списка книг, прочтенных или проработанных Горьким. Скромный в своих воспоминаниях и даже, скажу, небрежный иногда в припоминаниях подробностей, Горький скупо помог биографам в этом собирании данных. Факты приходится выуживать отовсюду, часто — из случайных свидетельских показаний.

Но если бы приведенный список и был исчерпывающим, то он так богат, что годился бы для любого выдающегося университетского студента.

Итак, еще и еще раз повторяю: старую легенду о Горьком-недоучке или амоучке надо отбросить как никуда не одну ветвь. Надо раз навсегда усвоить, что в Казани Горький получил высшее образование по историческим и социальным наукам.

Горький приехал в Казань в 1884 году, уехал в 1888. Значит прожил там около четырех лет. В эти четыре года, среди невероятной нужды и изнуряющего физического труда, он прошел свой четырехлетний университетский курс.

Через четыре года, в 1892 году, Горький напечатал первое свое произведение («Макар Чудра»). А еще через шесть лет, в 1898, вышли из печати первые два тома его «Очерков и рассказов».

Первые читатели этих томов думали, что пред ними — писатель-юноша, писатель-недоучка или самоучка. И читатели делали сразу две грубейших ошибки. В год выпуска «Очерков и рассказов» Горькому было уже ровно тридцать лет. Это был зрелый человек, с таким богатым и сложным жизненным опытом, какого хватило бы на несколько рядовых писателей. И это был писатель с обширным и разнообразным образованием.

Читатели думали, что легенда о юноше-самоучке украшает, обогащает авто-

ра рассказов. На самом же деле она обкрадывает и писателя, и читателя. У писателя она отбирала его несомненное достоинство, его огромную заслугу: то, что он ценой невероятных усилий завоевал себе знание, науку. Читателей легенда одурачивала, заставляя снисходительно, по-барски, филантропически, поверхностно относиться к произведениям нового автора, улавливая в них всё «оригинальное», пряное, экзотическое, и глухо и слепо минув то глубинное, что крылось за пестрыми картинками, за внешней романтикой. Читатели восприняли из первых двух томов босяцкий, мещанский быт и типы. Но, относясь с готовым снисхождением к автору, они не воспринимали — в полную меру — его суда над своими героями, сложности и зрелости его мирозерцания.

Поразительно и печально, что и до наших дней не дано настоящего историко-социологического анализа раннего творчества Горького, — ни в книге Горькова, ни в обширной статье Беспалова. Разбирая ранние произведения Горького, оба они не обременяли себя изучением живого писателя и сложнейшей подлинной социальной среды, в которой он созрел. В результате — укороченное, выхолощенное понимание раннего творчества Максима Горького.

Этим подчеркивается научно-историческое значение изучений учебных лет М. Горького.

Но такое изучение имеет еще и особое значение для нашей живой современности. Ведь М. Горький тем нам и дорог, что он тесно, глубоко, всячески входит в нашу современность.

Он входит в нее и как живой пример. В настоящее время в литературу движутся новые колонны — сотни, тысячи, многие тысячи новичков, выдвиженцев, ударников. Все они овладевают, должны овладеть сложной и трудной учебой. Так вот: на их пути к знанию, в их штурме твердынь науки пусть им светит как маяк, как прожектор яркий живой пример Максима Горького.

2. „ГИДРОЦЕНТРАЛЬ“ М. ШАГИНЯН

Арк. Глаголев

От всякого художника, желающего дать нам подлинный художественно-конкретный показ строительства социализма, мы требуем широкого охвата действительности, диалектического подхода к таковой, требуем умения вскрыть основные тенденции развития этой действительности, требуем величайшего внимания ко всем «мелочам» и вместе с тем умения увидеть в частном всеобщее и большое. От автора производственного романа мы требуем отличного знания как технологии производства, так и его социологии.

Последний роман М. Шагинян, огромное литературно-общественное значение которого очевидно для всех, во многом отвечает этим требованиям.

Технике уделяется в романе Шагинян колоссальное внимание.

В этом — одно из специфических свойств романа. Техника поистине является одной из главных «героинь романа». Бетон, геология, постройка моста, технические проекты, река Мизинка, проблема гидроцентрали и т. п. — подлинные «действующие лица» произведения Шагинян: они поистине возведены «в перл создания». Вещи, технические термины, формулы и цифры — органическая часть повествования. Они становятся у Шагинян реальным художественным фактом. Многие страницы романа звучат подлинным художественным гимном машине, инженерии, технике. «На операцию изготовления бетона можно было смотреть часами. Фокин и приходил сюда смотреть из чистого удовольствия, как любят иные сумасшедшие люди смотреть на закат солнца». И следующий далее, любовно выписанный «портрет» «машины» по изготовлению бетона, как равно и иные соответствующие зарисовки, ясно указывают, как близок автор к энтузиасту бетона Фокину. А вместе с геологом Лазутиным автор в восторге от его «великолепных» коллекций «полезных ископаемых». Под пером Шагинян последние превращаются в живого участника повествования. И, далее, вместе с «главным инженером Мизингеса» ав-

тор глубоко «выносил и прочувствовал» «водную проблему Армении», заражая своим энтузиазмом и чатателя своего романа. Доклад главинжа о «водной проблеме» подлинно превращается в высокую поэзию, как равно и результаты раскопок «рыжего» в техническом архиве Гидростроя. Для М. Шагинян «технический инвентарь» действительно «подобен пригоршне драгоценных камней, которые перебираешь, не в силах насладиться досыта!» Роман М. Шагинян в этом отношении представляет собой примечательное явление в нашей литературе: здесь техника вводится в сферу подлинной художественной литературы.

Разумеется, роман Шагинян нельзя было бы назвать произведением революционного искусства, — искусства эпохи строящегося социализма, — если бы технология заслоняла в нем социологию. И в целом Шагинян весьма далека от узкого, абстрактного техницизма, от «американизма», от обожествления вещи.

Последняя не заслоняет человека, но рассматривается, как и Л. Леоновым в «Соти» (хотя между этими двумя произведениями и самими их авторами имеется ряд существенных различий), в тесной связи.

Борьба камня и бетона рассматривается М. Шагинян как борьба двух социальных миров. Социальные категории ведомы мышлению автора «Гидроцентрали». Устами «рыжего», этого идейного центра романа, Шагинян выражает в основном правильное понимание смысла социалистического строительства: «На каждой фабрике, на каждом строительстве, в каждом производстве, которое вы у нас сейчас посетите, выделяется или обрабатывается, или строится вещь плюс новое общество, вещь плюс профсоюз, плюс броня подростков, плюс клубная работа, плюс производственное совещание, плюс контроль, плюс учет, плюс план!»

М. Шагинян далека от технического фетишизма. Устами все того же «рыжего» Шагинян стремится отожествлять

ся от интеллигентски-спецовского возведения техники в некий надсоциальный абсолютизм: «Вы раскапываете пласты, находите окаменелости, возитесь с ними, определяете, классифицируете, но возьмите живые пласты, населенные живыми людьми, — разве нельзя мыслить их вместе с землей, воспринимать в целом? Мне думается: геология, подобно истории, повернется лицом вперед. Иначе мы не сумеем планировать. Это значит, и ей придется в некотором роде социологизироваться, включить в понятие земли еще маленькую добавку: земля, как населенный пункт, населенный живым обществом, а не окаменелостями... Почему это не дело геологин воспринимать район, местность не отвлеченно, а с населением, с людьми?» И в своем романе М. Шагинян обращает тщательное внимание на людей, на их социальные взаимоотношения.

Перед читателем проходит огромная масса участников строительства. Особое внимание автор уделяет технической интеллигенции. Автор стоит здесь на правильной методологической позиции, — он хорошо улавливает социальную дифференциацию последней — от союзников социалистического строительства до его врагов. Присмотримся к ним.

Первая группа — союзники и близкие к последним попутчики, представляемые наиболее ярко Арно Арэвьяном («рыжим»), учительницей Аннуш Малхазян, главинжем и др. Арэвьян («рыжий») — беспартийный интеллигент, «европеец и умный человек», в кармане которого лежит диплом «доктора философии», человек высокой культуры (его немецкий язык — «прекрасный язык, язык Зиммеля и филолога Чембелена, язык полный символической крепости, устоявшейся культуры мысли»). Этот «европеец» искренне восхищен строительством социализма, стремясь тесно и органически слиться с ним. Арэвьян пользуется особой симпатией автора романа, и его устами, как мы уже имели случай наблюдать, Шагинян выражает свои основные идейные воззрения, свое основное понимание смысла социалистического строительства.

Высказывания «рыжего», неизменно выдвигающие на первый план социальный момент, весьма наглядно показывают, что «европеец» Арэвьян — а вместе с ним и сама М. Шагинян — начинает успешно преодолевать свой специфический интеллигентский «европеизм»; эти высказывания показывают, что их (Арэвьяна и Шагинян) взгляд на социалистическую стройку является не взглядом со стороны, а, наоборот, взглядом изнутри, взглядом понимающего суть дела ближайшего участника социалистического строительства.

Энтузиаст Арэвьян бесконечно далек не только от чиновников, от слепого механического отношения к работе, объективно ведущего к вредительству, но и от всяких стремлений к сохранению интеллигентски-спецовской «нейтральности»: он стремится всюду и во всем найти социальный смысл. Архивариус Арэвьян не только безукоризненный технический работник, но и социолог, передовой человек нашего времени. В порученном ему старом архиве он видит не собрание «бумажек», подлежащих, как гласила канцелярская резолюция, «уничтожению за давностью и ненадобностью», а живые социальные документы, учащие понимать смысл нашей эпохи и укрепляющие энтузиазм всех борющихся за создание нового общества. В «кривой темпа устарения архивных бумаг» Арэвьян умеет найти кривую темпа социального омоложения человечества, кривую темпа роста нового общества, рожденного пролетарской революцией¹⁾.

¹⁾ «Только четыре года прошло... а куда мы скакнули, как быстро мчимся, взгляните только... Наш теперешний архив и этот Чигдымский архив — две разных эпохи («возьмите тогдашний бюджет, стоимость рабсилы, кустарное начало строительства, отсутствие плана, отсутствие экономических записок. Никаких в деле документов о загрузке, о потребителях энергии, никакого намека на кустованье... Это не входило в радиус постройки, радиус был короткий, не плановый, кустарный, дело рождалось одиночкой»). А если вы вздумаете сравнить их (архивы) с дореволюционными архивами, — разница будет другая. У нас архивы ежегодно стареют, а до революции они были неподвижны, они ужасают своей прочностью: за десяток лет ни условия, ни отношения, ни цены, ничто не менялось, время и быт стояли... Вот что может извлечь архивариус из своей работы».

Арэвьян не только участник борьбы за новое общество, его пламенный апологет,—он сам является объектом борьбы. Привлекая к себе яркую симпатию социалистических строителей, например Фокина и др., он вызывает бешеную ненависть людей старого мира в роде завканца Захара Петровича. Социалистический энтузиазм «рыжего» глубоко чужд людям «совслужеской психологии», он становится последним, что называется, буквально «поперек горла»... «Тут у нас люди из-за куска хлеба работают. Нехорошо, знаешь, между своими выдаваться... а ты, брат, видимо, не из-за хлеба стараешься. Это—как бы справедливей выразиться—для простого служащего человека обидно выходит...»

В энтузиастической работе Арэвьян чинуши могли увидеть только «злой умысел». Последние и Арэвьян—непримиримые враги. Энтузиазмом полна и учительница Аннуш Малхазян, стремящаяся повернуть школу лицом к социалистическому строительству.

Близость к пролетарской революции этих людей и их энтузиазм—несомненны и неподдельны, нельзя не заметить на их обликах печати некоей чудакостности (особенно на облике «большого ребенка»... старой учительницы Малхазян), одиночества («все это знал и любил рыжий... потому что он был одинок и неразделенное наслаждение природой получил в дар вместе с одиночеством»), дилетантизма («доктор философии» Арэвьян «специальностей перепробовал множество: и маляром был, и подметки пришивал, и калоши заливал, и парикмахером...»). Словом, черты уникальности, случайности, исключительности еще борются здесь—в образах «рыжего» и Малхазян—с чертами социальной типичности и в творческий плюс М. Шагинян занесены быть не могут.

Очень близок к «рыжему», к союзникам, и главный инженер Мизингэса. В его лице мы видим представителя лучших элементов старой технической интеллигенции высокой квалификации, отлично знающего и бесконечно любящего свое дело. Он вел большие дела. Несколько лет он работал по водному хозяйству в Армении... Водную пробле-

му Армении он выносил, он необычайно далек, подобно Арэвьяну, от чиновников в инженерских фуражках, от людей трафарета, от «ландскнехтов». Главинж увлечен широкими планами, он полон «мыслей, широких в работе найденных обобщений», он—творец. Он отчетливо осознает те величайшие возможности для технического творчества, для прогресса инженерии, кои открывает эпоха социалистического строительства, он глубоко увлечен «музыкой будущего». Не по-«ландскнехтски», а именно с этой точки зрения «видений будущего», с широкими перспективами подходит он к строительству Мизингэса: «...в целях получения равномерной гидроэнергии (получается необходимость) построить ряд станций... для того, чтобы уравновесить энергии южную и северную созданием хорошо разработанного, правильного армянского куста. Но так как не одна Армения, а и все Закавказье имеет районы сельскохозяйственные и высокогорные, имеет и оросительные и энергетические узлы, то армянский куст может организованно влиться в закавказский куст,—и тут всем нам: и техникам, и инженерам, и экономистам, и рабочим, и вам, дети, будущие строители, предстоит столько работы, что хватит на жизнь нескольких человеческих поколений... Кроме того... кустованье в пределах советской земли в рамках советского законодательства, дающего нам возможность строить связанный план целого хозяйства,—таковое кустованье увлекательно, интересно, совершенно еще не изучено, таит в себе колоссальные открытия по технической и экономической части и даст нам в руки силу, подобной которой ни у кого в старом мире не было. Стоит потрудиться для этого, а?.. Стоит взяться за Мизингэс, сорвать ветку для будущего куста, не правда ли?» И «лирический подьем» Главинжа, его искренний пафос строителя-творца, его энтузиазм несомненно помогут ему успешно, быстро и окончательно преодолеть последние остатки еще имеющегося у него «кастового чувства», остатки спецовской «цеховщины», с уничтожением коих Главинж станет подлинным и высокоценным союзником пролетарской революции, каковое прео-

доление своей «цеховщины» впрочем уже весьма удачно протекает на «наших глазах». Музыка будущего побеждает «старый такт». Говорившие про главинжа: «это — наш человек» — не ошибались.

К этому же слою союзников и попутчиков, близких к союзничеству, следует отнести и группу беспартийной интеллигентской технической молодежи. (Ареульский и другие).

Этому отряду технической интеллигенции, близкой строительству нового мира, противостоят «попутчики», застывшие на своей «нейтральной» позиции и неуклонно сползающие на пути врагов революции. Это по-преимуществу старые спецы. Таковы «начальник участка» Левон Давыдович, старый инженер Александр Александрович, инженеры-«ландскнехты».

В лице Левона Давыдовича мы видим тип специалиста, совершенно не смогшего перестроиться применительно к задачам и требованиям социалистического строительства. «Педантичный человек буквы», прикованный к «академическим учебникам», «европеец», привыкший к «тишайшим долинам Фландрии» и «меланхоличным рекам Фландрии», он, прекрасно изучивший «пейзаж» Фландрии, оказывается совершенно беспомощным в условиях советской социалистической стройки. Советский «пейзаж» не вызывает в нем никакого «чувства», кроме тайного страха. «Европеец» Левон Давыдович в этом отношении весьма отличен от «европейца» «рыжего». Подобный дифференцированный подход к «европеизму», еще раз на конкретном примере разоблачающем легенду о неких «единых», «европеистических» началах, надо поставить в особую заслугу именно Мариэтте Шагинян, в прошлом «европейстке». «Мы сами недавно из Европы, — исповедуется Левон Давыдович, — многое мне тут (в Советском Союзе) непонятно, многое пошло назад. Да, да, именно назад. Года за три до войны Россия начала боготворить и расти технически... Я работал тогда в Бельгии. Этот процесс был замечен из-за границы. Сейчас мы брошены лет на тридцать назад, есть что-то балканское, грубое, мелко-нахрапистое во всем этом,

как война босиком, именно по-балкански, по-черногорски. Ах, новые общественные формы!.. Не вижу я этих новых форм...» Вместо конкретного изучения порученного ему участка строительства, вместо сближения со всей массой строителей, вместо попыток преодоления трудностей стройки Левон Давыдович мог только «вспоминать Бельгию» и негодовать против «дикой, дичайшей, варварской манеры строить». Левон Давыдович не борец на фронте строительства, не активист, а «автомат», «грязничная кукла», оторванный от жизни, от живого коллектива строительства, презираемый и ненавидимый последним. «Руководство» начучастка характеризуетса рабочими стройки только как «самодурство чуждого и ненавистного большинству (строителей) инженера».

В результате своего отрыва от живых социальных сил современности Левон Давыдович и его методология строительства терпят позорный крах: Левон Давыдович привел строительство Мизингеса к прорыву. Гибель моста — детища Левона Давыдовича («... с бумаги, исчерченной его суховатой небольшой рукой, на берега Мизинки перенесся академический суррогат из учебника...») — знаменует гибель всей «Левон-Давыдовичевой системы». На долю Левона Давыдовича остается только «опьянение фладосхрастием опозоренности».

Столь же далек от современности, от социалистических методов строительства и старый инженер Александр Александрович. Старческой дряхлостью, глубоким равнодушием к стройке, неприязнью к ее энтузиастам веет от этого представителя наиболее отсталых, объективно враждебных социализму слоев старого инженерства. «Его рассеянный, совершенно равнодушный взгляд блуждал сейчас по туннелю, ватка служила защитой от слишком громкого, быстрого, горячего напора слов... Ему хотелось... выпить чаю и лечь спать до ужина» — вот характерный портрет этого инженера-обывателя. «Александр Александрович упорно не вынимал ватки из уха» — это звучит символически: «ватка» в ушах действительно наглухо отгораживает «Александр-Санюча» от

жизни. Автор романа дает нам и еще ряд зарисовок представителей технической интеллигенции, отчужденных от строительства нового мира «ландскнехтов».

Среди людей, чуждых революции, особенно выделяется «колоритная» фигура завканца Захара Петровича. Если у Левона Давыдовича еще имеется своя особая, профессионально-инженерская, цеховая, «особая фармацевтическая честность», если «ограниченный» ум его был «все же глубоко придиричив к себе», если прорыв на строительстве все же заставил его почувствовать себя опозоренным, то «колоритнейший» Захар Петрович абсолютно лишен всяких даже намеков и на подобную «фармацевтическую честность». Более того, «завканц» оказывается в гораздо большей степени враждебным революции, чем даже «ландскнехты»: их субъективная враждебность к новому миру носит все же достаточно аморфный, внутренне неорганизованный, пассивный характер, в некоторых из них все же еще сохраняются элементы попутичества, и в целом не исключена возможность их социально-общественной переделки, они все же, разумеется, при надлежащих условиях, под общественным контролем, могут не без пользы послужить для строительства. «Завканц» же — явный враг революции. В его вражде к новому миру нет ничего аморфного и несознательного, это — активный, воинствующий, внутренне организованный, чуждый всякого внутреннего «нейтралитета» — в отличие от пассивных, дряблых обывателей типа Александра Александровича — противник социализма. Противоборствуя против системы социалистического строительства, Захар Петрович выдвигает свою собственную систему. «У него была законченная идеология и «непогрешимая практика». «Пить-есть надо» — основа его философии, для осуществления которой им применяются самые разнообразные методы: «сложное дело черной лестницы, двойной бухгалтерии, своевременных умолчаний». «Завканц» — центр, формирующий вокруг себя все социально-отрицательные силы, это — средоточие бюрократизма, оппортунизма, классово чуждых революции «элементов».

Он действует разлагающе на всю стройку. «Таланты» и «качества» неутомимого «завканца» многогранны и разнообразны. Он яростно атакует ненавистных ему энтузиастов социалистической стройки — «рыжего» и других. Он под шумок «незаметно» смыкается с кулаками. Воюя против ненавистных ему энтузиастов, всячески выставляя их как «бузотеров», он с особым удовольствием поддерживает правоопортунистическое руководство стройкой в лице «товарища Манука Покрикова, в свою очередь чрезвычайно «уважаемого начканцем». В обществе Покрикова и Левона Давыдовича Захар Петрович чувствует себя, как рыба в воде. Политический оппортунизм Покрикова и технически-производственная никчемность Левона Давыдовича всецело льют воду на мельницу Захара Петровича, превращая последнего фактически в единоличного вершителя дел на строительстве Мизингса. Захару Петровичу была предоставлена полнейшая свобода действий, и он энергично «функционировал», обволакивая стройку затхлой атмосферой бюрократизма и тайного вредительства, ведя строительство к катастрофе. Захар Петрович действительно по праву мог заявить, что «вся система управления на участке, весь подготовительный» период работы шесть месяцев зиждидились на основании, «не одной Левон-Давыдычевой, а главным образом его, начканцевой, политической системы». И в дни ставшего начканцем». В обществе Покрикова и своей «системы», завканц Захар Петрович получил в лице секретаря ячейки надлежащую оценку: «Что же касается неправильности в организации, то пусть рабоче-крестьянская инспекция спросит бывшего начальника управления, кому на участке доверялось больше всего, кто с нашим инженером Левоном Давыдовичем единолично вершил дела и за завхоза, и за помнача, и за начканца... Да, повторяю, кто имел единоличную функцию на участке? Был ли это наш человек, из таких беспартийных, что, может, иного партийца в работе на два коня обгонит?.. Нет, товарищи, начканца Захара Петровича я называю тем, что он есть, — старым, дореволюционным, царского, барского времени

службистом. Такой человек есть враг революции и всему направлению нашей политики... Такие служаки, если им дать ходу, приводят к старой и недопустимой атмосфере, и последние мы были бы бараны или цыплята, если бы не крикнули такому факту в глаза: «не место тебе, старый факт, в новом мире!»

Достоинным дополнением к Захару Петровичу служит его дражайшая супруга, Клавочка, показательный образец мещанства и обывательщины.

Призраком старого мира встает перед нами «первая дама участка», «мадам», жена Левона Давыдовича. Трупным тленом веет от этой «светской» дамы, «чудом» занесенной на советскую стройку.

Таким образом, одна из важных и актуальных проблем наших дней — техническая интеллигенция и социалистическое строительство — в романе М. Шагинян получает достаточное освещение и определенное разрешение. Шагинян дает строго дифференцированный анализ интеллигенции, отличая союзников и врагов и указывая возможные пути превращения попутчиков либо в союзников, либо в противников революции. Следует добавить, что, разоблачая врагов, бичуя «ландскнехтов» и подчеркивая огромную ценность для социалистического строительства лучшей, энтузиастической части технической беспартийной мелкобуржуазной интеллигенции, М. Шагинян не забывает показать нам и новых молодых пролетарских специалистов.

В показе взаимоотношений Фокина и «рыжего» Шагинян намечает правильное разрешение проблемы взаимоотношений пролетарских специалистов и союзнических элементов технической интеллигенции.

Итак, обильно насыщая свое повествование вещами, «техническим инвентарем», М. Шагинян уделяет надлежащее внимание и людям. Выдвигая на первый план своего повествования, своего художественного показа техническую интеллигенцию, М. Шагинян не забывает, разумеется, и остальных участников стройки.

Перед нами обширной галереей проходят партийцы, комсомольцы, разнообразные группы рабочих. Живыми встают перед нами облики рабочих строительства — от мастера Лайтиса до плотника Шибко, от энтузиастов-комсомольцев до неживших мужицко-собственнических инстинктов Сукьянцев.

Повторяем: в техническом фетишизме автора «Гидроцентрали» упрекнуть трудно.

Уже и из показа Шагинян технической интеллигенции, из ее дифференцированного анализа последней видно, что, увлеченная, подобно главинжу стройки, будущей гидроцентралью, «давая волю лирическому подъему», вызываемому «видениями будущего», М. Шагинян весьма далека от беспочвенного, внесоциального, абстрактного утопизма, от перескока в будущее, минуя настоящее. Автор романа — как видно уже и из его показа интеллигенции — представляет себе конкретные, социальные условия стройки: от его взора не ускользает конкретная действительность, которую он старается познать диалектически.

Набрасывая перед читателем увлекательный план будущей гидроцентрали, рисуя широкие перспективы технической революции, Шагинян не забывает показать нам самое место стройки, ее «фон», ее окружение. Шагинян далека от абстрактного показа стройки; строительство Мизингэса не предстает перед нами изолированным от всей остальной страны. Шагинян например дает нам показ армянской деревни, крестьянства. Мы видим старое, древнее, нищее армянское бедняцко-средняцкое крестьянство, видим крестьянскую нищету, видим кулаков (месрой), наблюдаем и видим, как неизжитые собственные инстинкты, так и пути переделки старой «мужицкой» психо-идеологии под воздействием социалистического строительства (сцены общественного суда, женского собрания делегатов и др.). В многообразных зарисовках — города, биржи труда, железнодорожной станции, пирушки армянского буржуа и проч. — показывает нам М. Шагинян лицо родной страны, и Армения, ее пейзаж, ее население, ее эко-

номика и социология встают перед нами живой и яркой социально-художественной картиной.

Как художник-материалист, стремящийся познать действительность наиболее точно и объективно, Шагинян, ее творческий метод чужд упрощенчества и примитивизма. Она видит остатки старого, она не проходит мимо трудностей строительства нового мира, наоборот, последние стоят в центре ее внимания: ликвидация прорыва на стройке Мизингэса, вызванного оппортунистическим «руководством» Покриковых, строительной никчемностью Леонов Давыдовичей и вредительским бюрократизмом Захар Петровичей — один из главных моментов повествования. М. Шагинян не боится художественного, обращения к трудностям, ибо она видит и пути их преодоления, она видит рост социального энтузиазма, она видит могучий рост социального самосознания широких рабочих масс, подвергающихся общественной критике Леонов Давыдовичей (см. напр. места романа, посвященные показу критического обстрела рабочими «детища» Леонова Давыдовича — его злополучного моста). Художественный метод Шагинян в целом чужд статике. Люди и вещи даются в движении. Динамикой пронизан весь роман. Борьба старого и нового — основная тема романа. Мы видим, как растет и, преодолевая внешние и внутренние препятствия, неустанно крепнет строительство Мизингэса — этой первой основы будущей гидроцентрали, мы видим, как меняется лицо всей страны.

Итак, ценность романа М. Шагинян как одного из опытов глубокого художественного показа нашей конкретной действительности, практики социалистического строительства, — несомненна. Пафосом социалистического энтузиазма овеяны страницы «Гидроцентрали» и последняя — наглядный образец всем представителям интеллигентского сектора нашей литературы того, как, каким образом, каким путем может идти «их творческое освобождение» от «наследия» мелкобуржуазной психо-идеологии, от «наследия» специфической интеллигентщины.

В практике социалистического строи-

тельства, в самой гуще жизни, там, где закладываются будущие гидроцентрали, где идет борьба за бетон, за новую геологию, где происходит жесткая схватка Захар Петровичей и «рыжих», где героически побеждается слепая стихия природы и человеческой косности, где рождаются новые люди и новые вещи, где закладывается мощный фундамент социалистического общества, — там обретут творческое оздоровление и художественно-социальную мощь все те, кто еще доселе не освободился от гнета прошлого.

Вместе с этим шагиняновский показ социалистической стройки надо считать отличающимся от пролетарского, отличным от того показа, какой дал бы нам на месте Шагинян пролетарский художник. М. Шагинян входит в социалистическое строительство через иные «ворота»... Преодолеваемые Шагинян творческие трудности — иного рода, чем творческие трудности, стоящие на пути пролетарского писателя. Путь М. Шагинян, это — путь передового революционного интеллигента, окончательно сбрасывающего остатки ветхих одежд «интеллигентщины». Тот мост, по которому М. Шагинян быстро переходит с берега «попудничества» на берег нового мира, — прежде всего культурная революция, несомая социалистическим строительством. Оттенок известного «культурничества» можно усмотреть в мировоззрении автора «Гидроцентрали», в ее подходе к нашей эпохе. Уже сделанные в нашей критике некоторые соответствующие указания в этом отношении надо признать в целом не лишенными основания.

Именно вследствие этого обстоятельства на первом плане художественного изображения Шагинян строителей-энтузиастов оказываются интеллигенты, люди большой культуры — «рыжий», главинж и др. Именно отсюда-то мысли главинжа, одного из значительнейших образов романа, «о сумме опытов», могущих преодолеть «нищенскую жизнь», возвращаются прежде всего в сфере технико-экономической, культурной революции, уделяя недостаточное внимание классовой сути этого культурного переворота. В «сумме опытов»

главинжа главнейший — социальный — «опыт» проглядывает недостаточно ощутимо и широко. «Знанием, величаво встающим навстречу, глядела на него со дна Мизинки владычица этих мест — будущая Гидроцентраль». Эта коротенькая фраза характерно «выдает» налет культурничества на идеологии главинжа, ибо не только «знанием» в главинжевском, культурно-техничко-экономическом смысле глядят на нас грядущие «гидроцентраль», но прежде всего завершенной победой пролетарской революции, и не они, «гидроцентраль», истинные «владыки» преобразованных «мест», но новый человек, рожденный в Октябре, для коего «гидроцентраль» являются только его «служанками». Наконец и самый показ борьбы старого и нового миров, подаваемый М. Шагинян как борьба культуры и нищеты, энтузиазма и косности, творчества и бюрократизма, не свободен в известной степени от остатков «культурничества» и мог бы быть дан в более четком классовом освещении. Классовое содержание борьбы творцов-энтузиастов и «ландскнехтов» пролетарский художник несомненно выявил бы более остро, чем автор «Гидроцентраль»¹⁾.

Однако представленный в романе М. Шагинян материал в целом все же социально достаточно красноречив. Нет сомнения, что М. Шагинян быстро изживет остатки своего «культурничества», ибо весьма нередко Шагинян в «Гидроцентраль» проявляет себя, как указывалось нами выше, подлинно социальным художником, подлинным нашим современником, умеющим понять многое в нашей действительности и умеющим конкретно показать последнюю в ее социально характерном. Выдвижение Шагинян на первый план культурной революции надо рассматривать не как «бегство» от социальной, а как приближение к последней, как мост, по коему писатель проходит к берегу нового мира.

¹⁾ Конкретно следовало бы напр. более четко осмыслить классовую суть «фукционирования» Захара Петровича, его «службизма». В Фокине напр. энтузиаст бетона заслоняет пролетария. Фокин подан «взвезь призму «культурничества». К категории этих же фактов относятся и элементы случайности в образах «рыбжего» и др.

Следует особо отметить высокие художественные достоинства романа. Самый стиль последнего художественно чрезвычайно богат. Художественные средства Шагинян здесь очень разнообразны. Большие и значительные обобщения, материал высоко интеллектуального порядка сочетаются с большим «лирическим подъемом» и глубокой внутренней взволнованностью. Формулы и цифры сочетаются с богатой бытовой живописью и тонким юмором.

Жанровое мастерство с сюжетным... С точки зрения художественного мастерства очень хорошо например подан облик «колоритного» «завканца» Захара Петровича. «На людях Захар Петрович, как еж на иглах, чувствовал себя сокровенней и безопасней. Он имел свойство делать множество посторожных и успокаивающих зрителя движений: высмаркивался, за воротником тер носовым платком и долго потом глядел на платок; скоблил чем попало переносицу, а чаще рылся в карманах, щуря глаз на извлекаемые оттуда бумажки и бумажонки, будто бы никак не находя нужную. Мимо подобной занятости текли люди, воспринимая Захара Петровича, как в своем роде пустое место: читатель и по себе знает, стоя где-нибудь в очереди или в трамвайной коробке, сколь успокаивает его при разговоре подобная занятость соседа».

Совсем по-иному (в стилевом отношении) портретирует М. Шагинян главинжа Мизингаса. Упрекавшие Шагинян за художественное «бесчеловечие» в ее некоторых предшествующих работах могут увидеть, как психологически убедительно даже в сравнительно небольшой, полуэскизной зарисовке знает Шагинян углубленно-художественный и живой образ общественно-передового человека. Искусство психологического «портретирования» также не чуждо Шагинян, как и искусство гротеска.

Глубокий лиризм проявляется например в зарисовке школьной детворы, предводительствуемой милой, слегка чудаковатой Аннуш Малхазян. Далее в романе можно найти ряд отлично написанных жанровых сцен, великолепную бытопись. Праздник у Гнуни изображен с неменьшим стилевым блеском и

художественной яркостью, чем поэма о бетоне или о геологических коллекциях Лазутина... Мыслитель, экономист, технолог — и вместе энтузиаст, лирик — и вместе жанрист, пейзажист, портретист, М. Шагинян показывает себя и писателем, не забывающим важности композиционного и сюжетного мастерства. В «Гидроцентрали» — произведении мысли, высокого творчески-интеллектуального напряжения, произведении высокоидейного искусства — можно найти даже и элементы авантюрно-прикладной сюжетки («таинствен-

ное» внимание угрозыска к «парикмахеру» Арэзьяну).

Глубочайшее разнообразие художественного мастерства (от звучащих высокой идейной патетикой «видений будущего» главнижа до «видений» некоего подвыпившего старикашки на пиру Гнуни) однако объединено единой мыслью, пронизано единым желанием понять наше время и стать подлинным его гражданином, активным участником в борьбе за новый мир. И «Гидроцентральный» это субъективное в очень многом делает объективным.

3. О ПЛАКАТЕ И ЕГО РОЛИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Л. Зивельчинская

I

Между различными группами художников сейчас ведется ожесточенный спор о том, какая из этих групп владеет методом диалектического материализма. На практике же, в частности на плакатной практике, обнаруживается недостаточное проникновение в сущность марксизма-ленинизма всеми художественными группировками.

«Сейчас все дело в практике, наступил именно тот исторический момент, когда теория превращается в практику, оживает практикой, исправляется практикой, проверяется практикой». (Ленин.)

«Практика становится слепой, если она не освещает себе дорогу революционной теорией». (Сталин.)

«В партии сложилась традиция — изучать теорию, неустанно работать над ее углублением. Эта традиция особенно важна в моменты, когда движение идет колоссально вширь, когда практические идеи выпирают на первый план, требуют к себе громадного внимания. Традиция тесно увязывает теорию с практикой и практику с теорией дала нашей партии огромную силу. От этой традиции и в дальнейшем нельзя отступать ни на шаг».

«Агитация — разновидность пропаганды, разновидность, в которой теория особо тесно увязывается с практикой».

«Убеждать «показом», превращать факты в «показ»¹⁾.

Эти мысли, высказанные по другому поводу, целиком относятся к работе в области плаката.

Характерно, что именно в области плаката, больше, чем в отношении всех остальных видов изобразительного искусства, имеют место значительные ошибки. Аполитичность, беспартийность в плакате приводят к немедленным пагубным последствиям. В плакате беспартийность ничем нельзя замаскировать, а беспартийный плакат обречен на провал.

Плакат — один из видов массового искусства на ряду с кино и радио. Его огромное политическое значение подчеркивается постановлением ЦК ВКП(б) от 24 марта 1931 г.

Задача плаката, как и всех других видов советского искусства, — организовывать и зажигать многомиллионные массы энтузиазмом строительства социализма.

Плакат, как и все другие виды советского искусства, обязан выполнять требования Ленина к искусству:

«Искусство принадлежит народу.

Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу трудящихся масс.

Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, поднимать их.

Оно должно пробуждать в них художников и развивать их».

СССР — ударная бригада международного пролетариата по строительству социализма, и советский плакат должен

¹⁾ Н. К. Крупская. — «Правда».



Плакат художника Дени

стать ударным и образцовым для революционного плаката капиталистических стран.

Задача плаката (как и вообще пролетарского искусства) состоит в том, чтобы будить «глубокое сочувствие» и «нерушимую поддержку» (слова Сталина) в сердцах рабочих и крестьян всего мира к социалистическому строительству и ненависть к капиталистам-эксплоататорам.



Ленинградский плакат

Советские художники до сих пор еще недооценивают плакат и как вид изобразительного искусства, и как политического агитатора и организатора масс. Плакат может стать школой коммунизма для художника и зрителя. Художник плаката должен постоянно чувствовать живую связь с пролетарской и колхозной массой, с ее общественно-политическими и хозяйственными интересами. Плакат должен содержать близкую массам идею, способную взволновать пролетарского и колхозного зрителя. Художник должен быстро улавливать актуальные интересы дня и претворять их в плакате. Из этого однако не следует, что плакат есть однодневка, ради

которой не стоит работать. Некоторые плакаты Дени, например: «Под маской мира» или «Каждый удар молотом — удар по врагу», представляют ценность и сегодня. Или плакаты Моора: «Ты записался добровольцем?» Или плакат Дени: «Кто за Советы, кто против Советов?» Не устарел еще пока и «Хлебный паук» Дени.

Политическая острая однодневка имеет огромную историческую ценность. Призыв к восстанию, воззвание о стачке в капиталистических условиях, а в условиях советских обращение рабочих тульского завода, краснопутиловцев, декларация конференции планирования научной работы и т. д. — все это однодневки и в то же время крупные исторические события.

Художник-плакатист по характеру своей работы больше всего приближается к журналисту. В любом номере «Правды» большая часть статей, фельетонов и заметок посвящена вопросам строительства — состоянию работ на Магнитогорске, Кузнецкстрое, реконструкции Донбасса и т. д. Эта тематика знаменует собою переход пролетариата на рельсы непосредственного социалистического строительства, на завершение социалистического фундамента в условиях обострения классовой борьбы. Это особенно бросается в глаза при сравнении нашей советской прессы и коммунистической прессы капиталистических стран. В то время, как последняя заостряет внимание революционного пролетариата на борьбе за политическую власть, советская пресса передвинула центр внимания непосредственно к задачам строительства социализма. Борьба с оппортунизмом правым и «левым» ведется на основе хозяйственной и практической деятельности, а не только в теоретической дискуссии.

Этот поворот должен найти свое выражение и в плакате. Художникам следует призадуматься над тем, не влечет ли за собой поворот тематики и новые формальные композиционные и изобразительные приемы?

Отсюда вытекают три условия, необходимые для того, чтобы получился политически действенный пролетарский революционный плакат.

1. Художники-плакатисты должны быть политически грамотны. Тогда пре-

кратятся нелепые и изнурительные пререкания между редактором и художником.

II. Художники-плакатысты не должны противопоставлять правильность политической мысли художественному достоинству плаката. Низкое художественное качество плаката часто уничтожает политическое действие основного замысла.

III. Плакат не должен ограничиваться голым лозунгом, например: «Иди, товарищ, к нам в колхоз». Необходимо образно показать превосходство коллективного хозяйства над единоличным, рост посевной площади при коллективной обработке, рост дождей колхозников, рост механизации труда колхозников по сравнению с единоличниками и т. д. Необходимо показать, не впадая в делячество, огромные социальные перспективы колхоза. Необходимо, наряду с лозунговым призывным плакатом дать плакат инструктивный, не злоупотребляя ни текстом, ни диаграммами, давая лишь две, максимум три цифры для сравнения.

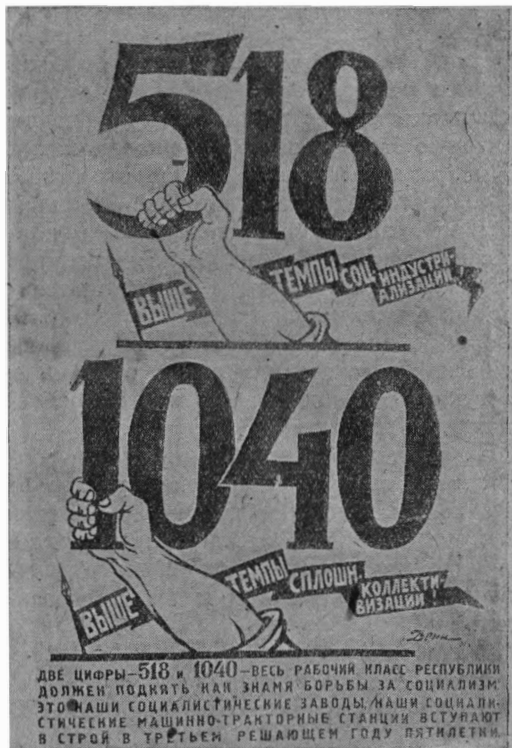
Плакат должен образно, а не только диаграммами демонстрировать наши достижения по различным областям народного хозяйства и культурного строительства. Такой плакат был бы лучшим средством агитации в пользу дальнейшей индустриализации Советского Союза и напряженной борьбы за осуществление пятилетки в 4 года и лучшим средством разоблачения всякого оппортунистического нытья и колебания.

Это не означает, что мы должны ограничиться только документальным фотомонтажным плакатом. Это была бы лефовская позиция фактографии, проникнутая вредным ползучим эмпиризмом. Мы должны показать в наших плакатах не только то, что есть, но и тенденцию развития нашей действительности. Разумеется, документальный плакат должен также занять видное, почетное место в плакатной продукции.

Плакат должен стать орудием организации наступления социализма по всему фронту.

«Существо большевистского наступления состоит прежде всего в том, чтобы мобилизовать классовую бдительность и революционную активность масс против капиталистических элементов нашей страны; мобилизовать творческую инициативу и самостоятельность масс против

бюрократизма наших учреждений и организаций, держащего под спудом колоссальные резервы, таящиеся в недрах нашего строя, и не дающего их использовать; организовать соревнование и трудовой подъем масс за поднятие производительности труда, за развертывание социалистического строительства»¹⁾.



Плакат художника Дени

Плакат должен отражать величие и мощь нашего строительства, организовать волю к труду и борьбе, вселять уверенность в победе и понимание перспектив нашего хозяйственного, политического и международного развития.

Плакат имеет своей прямой задачей ознакомить широчайшие массы с решениями XVI партийного съезда и постановлениями VI Всесоюзного съезда советов и июньского пленума ЦК ВКП(б) по завершению фундамента социализма и содействовать проведению их в жизнь.

Плакаты 1931 года должны образно иллюстрировать один из основных лозунгов пролетариата на ближайший

¹⁾ И. Сталин. — Политический отчет на XVI парт'езде.

исторический период — сталинский тезис «овладейте техникой». Для того, чтобы художники могли толково и убедительно иллюстрировать, образно претворить данный лозунг, они должны быть разделены на группы, прикрепленные к той или иной отрасли производства, и ознакомиться не только с процессами производства, но и с политическими мероприятиями и постановлениями, касающимися данной отрасли. Весьма полезно было бы для художников-плакатников включиться в повседневную работу какого-либо предприятия в избранной ими отрасли производства.

Плакаты должны привлекать пристальное внимание пролетарских и колхозных масс к борьбе за качественные показатели, за поднятие производительности труда и снижение себестоимости. Борьба с прогулами и всеми видами нарушения труддисциплины, с рвачами и летунами должна быть одной из основных тем плакатной продукции.

Плакаты должны агитировать за социальное соревнование и ударничество. Борьба за коллективизацию должна включить в круг своих тем сдельщину по трудодням в колхозах наряду с социальным соревнованием, ударничеством и агропропагандой.

Разоблачение и бичевание оппортунистов всех мастей не получило достаточного отражения в плакатной продукции.

Уровень политического и культурного развития города и деревни, или точнее фабрики и колхоза, в настоящее время все более и более сближается. «Противоположность между городом и деревней может существовать только в рамках частной собственности». (К. Маркс и Ф. Энгельс). Хотя советская фабрика — тип последовательно социалистической ведущей организации нашего народного хозяйства, а колхоз — форма социалистической передельки хозяйства, общественных отношений и сознания в сельском хозяйстве, все же громадное большинство плакатов фабричных и колхозных имеет одинаковую установку. Изменяется лишь конкретный материал. Плакаты по борьбе за социальное соревнование и ударничество, поднятие труддисциплины, производительности труда, снижение себестоимости, имея одинаковую целевую уста-

новку для фабрик, колхозов, совхозов и МТС, должны демонстрироваться на различном материале. Организация труда в колхозных плакатах должна занимать первое место.

Даже общеполитические плакаты, посвященные 1 мая, Октябрьской годовщине, 8 марта, МОПР, МЮД, должны дифференцировать свой материал, свою композицию, свои образы в зависимости от того, предназначен плакат для фабричного или колхозного зрителя.

Плакат должен отобразить хозяйственный подъем у нас и упадок производства в капиталистических странах.

Этот контраст в экономике Советского Союза и капиталистических стран плакат должен выявить и подчеркнуть.

Национальной политике партии и советской власти плакат совсем не отводит места. Между тем плакат должен выявить те громадные достижения в области национальной политики, которые являются завоеванием Октябрьской революции и упорного, неуклонного проведения генеральной линии партии в этом вопросе.

II

Плакат может выполнить эти общественно-политические задачи ему одному свойственными средствами. Плакат имеет свои особенности, вытекающие из его социально-художественной природы. Его задача — вызвать действие и его большой социальной значимости. Его воздействие должно быть быстрым, его восприятие — легким. Поэтому плакат не должен брать сразу несколько тем, но, взяв одну тему, разработать ее так, чтобы она обрела наибольшую политическую активность. Текст не должен быть многословен и расплывчат, но короткий и лаконичен. Без образа, как и без текста, не может быть плаката.

Плакат воспринимается в движении, поэтому он должен быть динамичным, если не хочет утратить своего крепкого действия.

До сих пор искусство пользовалось в композиции, стремящейся выразить движение, диагональю. Однако сомнительно, чтобы это было «вечным» законом, логической, а не исторической категорией. Едва ли стоит фетишизировать диагональ как принцип динамической композиции и следует искать новые композиционные принципы

ОКНО ИЗОГИЗА

ПЛАНЕТ-ГАЗЕТА №13

РЕШАЮЩИЙ ГОД АТАКУЕМ В УПОР МЫ
ДВИНЕМ В АТАКУ ВСТРЕЧНЫЕ НОРМЫ

5 ЛЕТНИЙ ПЛАН

*Помоги и
перемочи
Коллективиста
Стрелку*



1. ИРДА ВПЕРВЫЕ УСПЕХАМИ НА ЗАПАДЕ -
О СЛАВНОЙ ПОТЕРНЕ ШТУРМУЮЩИХ ЛЕТ -
СМЕЯЛОСЬ: «ПОТЯНУЛСЯ ДЫРЯВЫЕ ЛАПКИ
ЗА ЛАКОВЫМ БЕГОМ ФАБРИЧНЫХ ШТИБЛЕТ!»



2. НО ВОТ НЕ ПРОШЛО И 100 ДНЕЙ -
УДАРНИКИ ШАГИ ПЯТИДЕСЯТИ ГОРОШУГ.
С ПОЧТИТЕЛЬНЫМ СТРАХОМ ВЕШАЕТ О НЕЙ
УСАТЫЙ ПРОФЕССОР В ЕВРОПЕ.

5 в 4



3. ВПЕРВЫЕ РАБОЧИМ ВОЗВОДИТСЯ ЗДАНИЕ
СЕБЕ САМОМУ, А НЕ БАРИКУ. ВОТ,
ВОТ ПОЧЕМУ ТРУДОВЫЕ ЗАДАЧКИ
УДОБЕННОЙ ЦИФРОЙ ВСТРЕЧАЕТ ЗАВОД.



4. НО ЕЩЕ УСПРАВЛЯТЬСЯ НЕ СЛЕД:
РЕШАЮЩИЙ ГОД АТАКУЕМ В УПОР МЫ.
НАДО ЗА ВСТРЕЧНЫМ ПЛАНОМ ВСЛЕД
ДВИНУТЬ ВСТРЕЧНЫЕ НОРМЫ.

ПРОМОИЛАН



5. ТОМ ОТ СТАННА В ОМШНО И В ДВЕРИ
ПРИВЕТЛИВУРЕНЬЕ, БЕСЕДУ
УСЯ СМОЛО ЗА РАБОТОЙ ПРОВЕРЬ,
КАК ВНИГДЕ ОПАСНО ЗАПЕРЬ
ДМУНУТЬ ПРИНАЛЖАТЬ ПРЕДУ.



6. О УЖАСЕ СТЫМЕТ БУРЖУЕВО САМ-ЛЕ
ПРОМЬ ПРОБРАЕТ СЯКОЗЬ ЗАЛЕННИ НИМРА:
ПЯТЬ ЛЕТ ПУТИЛЕТЫ - ПЯТЬ ГИБЕЛЬНЫХ ПАЛЬЦЕВ
НА ПОЛНОМ ГОРЕ ГИЯЩЕГО МИРА.

«Окно-Изогиза» — плакат художника Котова

для пролетарского динамизма, который должен быть моментом диалектики.

Плоскостная трактовка предмета, как и диагональ, была до сих пор законом плаката. Она имеет свои серьезные основания в восприятии на дальнем расстоянии, которое скрадывает округлость, иллюзорную объемность.

Плакат должен быть исполнен небольшим числом красок, но подбор красок должен быть тщательно продуман.



Плакат Государственного научно-технического издательства

Рисунок должен быть отчетлив. При этом необходимо прежде всего избегать штампа.

Образ и текст в плакате должны быть между собой органически связаны не только идейно, но и композиционно, и технически.

Установлено с помощью экспериментальных данных, что художественный плакат усваивается быстрее и запоминается прочнее, нежели плакат низкого художественного качества. Поэтому политически важный и актуальный плакат должен быть непременно художественно исполнен. С помощью тех же экспе-

риментальных испытаний установлено, что плакат с небольшим стихотворным текстом усваивается быстро и запоминается крепко. Ряд опытов показал, что из плаката прочнее всего запоминается образ, а не текст. Из этого однако не следует, что можно оставить плакат совсем без текста. Однако образ должен быть проработан так, чтобы, во-первых, он был понятен и без текста, во-вторых, чтобы его смысл без текста не превратился в свою противоположность. Бывали такие случаи, когда советский плакат, будучи лишен текста, превращался в антисоветский.

Плакаты необходимо делить по месту их назначения: на внешний и внутренний, т.-е. уличный и развешивающийся внутри помещения. Композиция и сочетание красок на тех и других плакатах совершенно различны. Броскость и яркость красок и динамическая композиция внешних плакатов может уступить место более уравновешенной композиции и спокойным краскам внутренних плакатов.

Под внутренним помещением нужно разуметь не только клубы и избы-читальни, но также вагоны железной дороги, пароходы, трамваи, столовые, школы, учреждения и фабричные цехи.

Немецкое руководство по плакату за 1928 год выдвигает десять заповедей оформления плаката. Основные из них заключаются в следующем:

1) «Реклама имеет много путей. Если ты хочешь быстроты действия и минимальных расходов в отношении распространения, то прибегай к плакату».

2) «Стена, где наклеивают плакат, — не зад для чтения, поэтому плакат должен действовать наиболее выразительными средствами».

Немаловажен и практический вопрос о том, как и где гнать плакаты. Ясно, что плакат должен вывешиваться на таком месте, где он будет легко бросаться в глаза. Для того, чтобы продлить его воздействие, полезно переменить место, так как тогда он производит до известной степени новое впечатление. Не нужно нагромождать большое количество плакатов на пространстве, охватываемом одним взглядом. Если же плакат в силу внешней необходимости помещается среди других плакатов, то он должен резко отличаться от остальных.



Плакат художников Бабиченко и Кудряшова

Плакат как вид изобразительного искусства имеет свои стили и жанры. Во время господства импрессионизма в Западной Европе существовал соответствующий ему стиль в плакате (работы Шере и его последователей, Муха и Грассе, Тулуз-Лотрека и др.). В кратковременный период преобладания экспрессионизма им был проникнут и плакат, например работы Пехштейна и Феликса Мюллера. Конструктивизм имеет своим представителем в плакате Касандра.

Эти стили — продукты буржуазной идеологии, и советскому плакату заимствовать их не следует. В советском ис-

кусстве еще нет единого стиля, но присутствуют элементы различных стилей. Только после постановления ЦК ВКП(б) о плакате намечается перелом в сторону создания нового советского стиля плаката.

Плакат не может быть беспредметным, так как только предметный образ может иметь подлинную политическую активность. Образ в плакате, также как и во всех других видах советского изобразительного искусства, должен быть синтетическим воспроизведением предметов природы и культуры, проникнутым ясной социально-политической пролетарской идеей.

4. ИЗ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Роман о тетках Салли и о стрелах духа

Евг. Ланн

Обзор новинок английской литературы и литературных событий надлежит, нам думается, начать ознакомлением нашего читателя с романом Ричарда Ольдингтона. Об этом романе читатель наш ничего не знает, хотя книга

вышла около двух лет назад и появление ее было литературным событием. Для нас книга интересна вдвойне, ибо Ольдингтон — крупная фигура в современной английской литературе, и те пути и перемены, какими он шел в рома-

не, чтобы в конце концов очутиться в тупике, помогут нам познакомиться ближе с процессом расхождения буржуазной английской интеллигенции.

Среди современных английских поэтов Ричард Ольдингтон занимает почетное место. Его и м а ж и н и з м не эпатирует читателя, и теоретические его концепции не угашают подлинного поэтического дарования и художественного вкуса. Стихи Ольдингтона, собранные в 1928 году в книгу «Collected poems», предназначены не для читателей magazine'ов и обнаруживают высокую поэтическую культуру. О том же — о культуре поэта — читатель серьезных литературных журналов знает и по статьям Ольдингтона о французах: о Вийоне, Скарроне, Виньи, Мериме, французских сатириках. Статьи эти вышли отдельным изданием в 1926 году, и в том же году английский читатель нашел в книжных магазинах монографию поэта о Вольтере.

Через три года, в 1929 году, поэт, литературный исследователь и эссеист Ольдингтон дебютировал романом. Роман этот — «Смерть героя». Почти немедленно во Франции, Германии, Швеции и Испании приступили к переводу его. Двести отзывов явились ответом критики на «Смерть героя»: в Англии и Америке.

Читатель ошибается, если, бегло перелистав книгу, решит, что «Смерть героя» — военный роман, тысяча первая книга о войне четырнадцатого года. «Смерть героя» — роман не о войне, а об английских «старых Винтербуорнах» до войны и во время войны, об английской буржуазии. О «великой английской приземистой буржуазии, этой страшной приземистой опоре нации», — если воспользоваться формулой Ольдингтона.

Автор охотно соглашается с одним из своих критиков, звавших его поэму «Дурак в жесу» поэзией джаз. И предлагает называть свой роман романом джаз по аналогии. Теория литературы пока не знает такого жанра, литературоведы едва ли согласятся с таким определением, но станут в тупик, когда потребуется отнести «Смерть героя» в одну из рубрик соответствующего раздела. Ибо Ольдингтон, ни с чем не счи-

таясь, написал роман, вобравший в себя элементы разнообразных жанров вплоть до дидактического. Вслед за страницами, чисто агитационными, следуют эскизурсы в область психологического романа, а бытовые сцены соседствуют с великолепной, темпераментной риторикой.

Неопытностью либо оригинальничаньем объяснить эту особенность книги нельзя. Объяснение надлежит искать в другом направлении.

Когда читаешь роман и осмысливаешь характерные его особенности, создаются все необходимые предпосылки для того, чтобы в памяти всплыл литературный аналог Ольдингтона — Свифт. Ибо у Ольдингтона — свифтовская ненависть, свифтовская желчь, озлобленность и какое-то воспаленное презрение к «приземистой опоре нации». Не неопытность и не формальные искания ломают границы жанров, но тот эмоциональный запал, которому некогда было справляться с руководствами по теории литературы. Обнаженность эмоциональной стихии Ольдингтона, окрасившей страницы книги такой ненавистью, местами поражает. Эту ненависть охлаждает только злоба. Устойчивая и умная; но через полдесятька страниц она снова взрывается, расцвеченная всеми цветами стилистического мастерства Ольдингтона и его художественной культуры.

Лихорадочный тонус «Смерти героя» предрасполагает, казалось бы, к сближению романа со свифтовскими памфлетами. Но такого сближения не происходит: Ольдингтон кончается там, где начинается Свифт. Ибо Ольдингтон лишен дара насмешки — орудия более эффективного, чем моральное возмущение. Для издевки и смертоносной иронии необходимо отойти от объекта на какое-то расстояние, чтобы разглядеть в нем самый уязвимый пункт. Ольдингтон не хочет это делать, вернее не умеет. Ненависть к «викторианству» в английской жизни захлестывает его в такой мере, что он теряет перспективу, не улавливая в «опоре нации» пунктов наиболее уязвимых, тех мест, которые Маклей называл «местечко около самого сердца», позволяет себе не замечать в буржуазии качеств более отвратительных, чем те, на какие обрушивает свою злобу. Не умея увидеть смешное и не умея через

это смешное показать ничтожность, Ольдингтон — не сатирик. Его ненависть в строе большого серьеза, и его книга — не сатирический памфлет, а патетическое «J'accuse!»

В этом документе, обратившем на себя внимание всей Англии, задыхается от презрения к английскому буржуа сын того буржуа. Сын не щадит своих родителей и «проклятое викторианство» в жизни современной Англии обнажает широким жестом, не заботясь о том что тетки Салли» потрясены будут открытым цинизмом.

Интеллигент-художник Джордж Винтербуорн, не выдержав обстановки тыла юющей Англии, пошел на фронт. И там незадолго до перемирия встал во весь рост в окопе. Через минуту «тетки Салли» имели возможность соприкоснуться к лику героев. Такова тема романа. О жизни и смерти Джорджа, одного из миллионов героев, «павших на поле славы», рассказал Ольдингтон и подвел к своей концовке: в эпоху четырнадцатого года Винтербуорнам не было выхода. «Смерть героя! Какая насмешка, какое жестокое лицемерие! Отвратительное, гнусное лицемерие! Для меня смерть Джорджа — символ всей этой отвратительной, жестокой катастрофы, проклятой, нелепой катастрофы и пытки». Ольдингтон отказался заклеить своих отцов, настигнув их в эпоху империалистической войны. Он задумал прощупать тот гнойник, испарение которого убило в тылу немало Джорджей Винтербуорнов. Ибо молодые «герои» Винтербуорны убиты были не в окопах, но в тылу, — убиты были своими отцами.

Вот о чем кричит роман Ольдингтона.

Они убиты были «проклятым викторианством». Приземистая буржуазия, «защищенная британской броней носорога — невежеством, самоуверенностью и самодовольством», калечила своих детей с колыбели, калечила в семье, в школе, в общественной жизни. Она представляла нацию моряков и спортсменов. А эта нация, — горько и зло бросает Ольдингтон, — «естественно должна преуспевать в двух родах искусства: в умении бежать с тонущего судна и бить лежачего». Эта нация позволяла и продолжает позволять, чтобы викторианцы управляли ею, сколь ни уродли-

вы и отвратительны «тетки Салли» обоих полов.

Формирование викторианской «философии жизни» Ольдингтон наметил в первом разделе книги и убедительно показал, что викторианство — не историческая категория. Оно протянуло щупальцы из середины прошлого века и тяготело над поколением войны, — над «героями» и «отцами», абсолютно беспомощными перед лицом живой жизни, ибо «британская броня носорога» защищала их от понимания своего ничтожества и предельной тупости. Дети викторианцев — «герои» — могли серьезно вещать: «Я не верю в республику. Можете себе представить, президенты с утра разгуливают в смокингах!» И это обстоятельство определяло их политические симпатии. В литературных салонах, где «считается слишком быть болваном», они до сей поры «устрашены судьбой Оскара» и пресмыкаются перед «живыми ступеньками социальной лестницы», — перед теми тетками, утонченность которых и попытка делать, «что полагается», вызывает отвращение у всех, кто не является «интеллектуальным бандитом».

Джорджа Винтербуорна семья и школа калечили как и всех других сынов приземистой буржуазии. Но он был мужественен, ибо, по Ольдингтону, «подлинно мужественны те, у кого есть искра и кто отказывается ее угасить, те, что знают: истинные ценности — ценности жизненные, а не фунты-шиллинги-пенсы, не получение теплого местечка и не ценность седалища империи, получающего пинки». Джордж был не с Ивэнсами, коих возмущал смокинг президента республики: и в семье и в школе он боролся с обманом, узостью, изношенными формулами. «Он пытался разумно подойти к жизни вместо того, чтобы слепо следовать инстинктам и подчиняться коллективной тупости веков, воплощенной в социальном и юридическом кодексе». «У него не было ни малейшего желания стать одним из позвонков какой бы то ни было проклятой империи, и еще меньше хотелось ему быть кусочком ее седалища, получающего пинки. Словом, он плюнул на «теток Салли» и на собственных своих родителей и попытался построить свою жизнь не по

изношенным формулам». Построить ему удалось только свою личную жизнь: лицемерие флер-д'оранжа и колокольного звона ему казалось отвратительным, он пренебрег и флер-д'оранжем и разрешением из магистратуры. Ему казалось отвратительным лишение свободы в браке, — он дал свободу любимой девушке и попытался взять себе. Но дальше этих реформ, — если не считать откровенного пренебрежения буржуазными правилами делать, «что полагается», — он не пошел. Ибо пойти не мог: ему не к у д а было идти. На каждом шагу он наткнулся на изношенные формулы, на ханжество и лицемерие, на подхалимство и на проповеди о фунтах-шиллингх-пенсах. Викторианство очертило вокруг него магический круг и позволяло проклинать себя и произносить грозные филиппики.

Ольдингтон, проклиная вместе с Джорджем ложь, фарисейство и тупость викторианской буржуазии современной Англии, сам недостаточно ясно понимает что лозунг «Проклятие викторианству!» есть негативная программа. С такой программой Джорджи Винтербуорны разорвать магического круга не сумели и не сумеют, поскольку проклинают и борются с «тетками Салли» внутри этого круга и не решаются рассечь пуповину, соединяющую их с викторианским чревом. Но, не понимая этой простой истины, Ольдингтон крайне убедительно показал, что викторианство отравило и Джорджей Винтербуорнов, несмотря на их восстание против социальных и политических кодексов, — отравило беспомощностью. Ибо, разметав формулы, Джорджи Винтербуорны потеряли направление, а затем остались мирно сожительствовать в общественной жизни с «проклятыми тетками», крайне нечувствительными к «стрелам духа», которыми осыпали их молодые повстанцы.

Последние на большее были неспособны. Роман Ольдингтона дает почувствовать не только гигантскую силу сопротивления, какая заложена в вековых традициях английской буржуазии сегоднешнего дня, защищенной броней носорога. Роман учит, что бессилие буржуазных интеллигентов, Джорджей Винтербуорнов, обусловлено огромной разрушительной силой викторианской кос-

ности, которой не страшны вылетевшие из буржуазного гнезда птенцы, ибо броня носорога не чувствительна ни к слабым клювам этих птенцов, ни к «стрелам духа». Роман наконец помогает осознать простую истину: картонному мечу Джорджей Винтербуорнов — презрению и ламентациям, патетическому негодованию и грозным филиппикам — место на той же свалке, куда Ольдингтон рекомендует выбросить «теток Салли».

Ольдингтон, как Винтербуорн, не понимал этой самоочевидной истины, когда рассказывал о единоборстве своего «героя» с носорогом в условиях мирного времени. Подведя Винтербуорна к четырнадцатому году, он продолжал не понимать. В западной литературе о войне мало найдется страниц, отмеченных такой великолепной гадливостью к буржуазии и ее интеллигенции, окопавшейся в глубоком тылу и благословлявшей на подвиги безыменных «героев». В западной литературе о войне не встретишь такой обнаженной взволнованности в социально-политических оценках катастрофы четырнадцатого года. Ольдингтон знал цену военному лозунгу империалистов: «Война во имя прекращения всех войн». Найдется ли такой осел, который этому поверит? Как и Винтербуорн, Ольдингтон знал виновников бойни. Но против кого были они по существу? Кто их настоящие враги? С горечью нашел он (Винтербуорн) неизбежный ответ: «Их врагами — врагами и немцев и англичан — были те, которые послали их убивать друг друга, вместо того, чтобы оказывать друг другу помощь... Вожди — вот кто плох; вожди не военного, а мирного времени. Народы управляли, опираясь на вздорную болтовню, приносили их в жертву ложным идеалам и дурацким идеям». Ольдингтон находил нужные слова для характеристики этих страшных лет: «Человеческий мозг не может постигнуть, память не может запечатлеть, перо — описать то беспредельное лицемерие, заблуждения и иступления, какие правила миром в течение этих четырех лет». Обращаясь к роли вождей мирного времени и «патриотов» в организации войны, он правильно раскрывал их социальную природу: «Это был трагический, кульминационный пункт викторианского ли-

цемерия, ибо в конце концов викторианцы все еще процветали в 1914 году и удерживали в своих руках власть». Подлость и преступность этих поджигателей войны слишком были для него очевидны: «Один из самых цивилизованных народов мира они (Викторианцы. — Е. Л.) называли «гуннами». Они создали фабрики трупов; они утверждали, что народ, который на протяжении веков славился своей добротой, состоит из детоубийц, насилует женщин, распинает пленных... Они говорили, что сражаются за свободу во всем мире, а теперь свободы стало меньше... И считали, что эти преступные декламаторы пребывали на лучезарных высотах патриотизма». Викторианцы четырнадцатого года вызывали в нем омерзение: «Потрясающая драма разыгрывалась у них перед носом, а они даже не заметили ее. Они беспокоились только о своих пайках». Ольдингтон знал, что страна расплачивается за преступление Винтербуорнов-отцов: «Трагедия Англии в том, что война ничему не научила ее Винтербуорнов, и управляла страной гротески... «Cott strafe England», — эта молитва была услышана: Англию постигло безумие; старые Винтербуорны остались гротесками и утверждают, будто они — живые люди. А мы попрежнему миримся с этим, и нет у нас сил бросить гротескных английских «теток Салли» в кучу старого хлама, где им место.

Ольдингтоны — Винтербуорны не обрели силы и после того, как осознали свою слабость. Они видели виновников бойни и проклинали их, они не шли на приманку патриотических лозунгов, ибо «войну он (Винтербуорн. — Е. Л.) ненавидел не меньше, чем раньше ненавидел разглагольствование о ней, с глубоким недоверием относился он к доводам сторонников войны и ненавидел армию». Но шли добровольцами на фронт.

Этот трагический парадокс, стоивший жизни многим представителям «Молодой Англии», находил свое объяснение в свете интеллигентской психологии. Вместо того, чтобы бросить в кучу старого хлама «теток Салли» и озонировать воздух, в котором нельзя было жить, сыны викторианцев переводили в этический план проблему своего участия в общем безумии. «Как-то должны мы

искупить вину перед мертвыми — мертвыми, убитыми, насильственной смертью преданными солдатами». Сколь знаком этот долг искупления! Буржуазная интеллигенция всех стран, — та, которой не по пути было с «патриотами», принимала на себя этот долг, служила образцом «героизма», а в результате такой этической постановки проблемы новые и новые горы трупов вырастали по обе стороны боевых фронтов. Какое преступное недомыслие сказалось в этой концепции жертвенности! Моральное самоудовлетворение шедших на фронт Винтербуорнов мало интересовало викторианцев всех национальностей. Когда Винтербуорн «считал, что должен остаться рядовым на передовых позициях, исполнять тяжелую и унизительную работу, разделить судьбу простых смертных», «вожди» и тыловые патриоты едва ли испытывали что-нибудь, кроме радости. Ибо противник превращался в союзника, — логика фактов никогда не считалась с субъективными мотивами.

Едва ли нужно подчеркивать нашему читателю, что проблема «тетки Салли» Винтербуорнами не может быть разрешена. Бессилие их слишком очевидно. И столь же очевидны две основные ошибки Ольдингтона. Первая из них вытекает с необходимостью из постановки проблемы. Интеллигенту «молодой Англии» Ольдингтону, отказавшемуся бороться с викторианством в рядах класса, кажется, будто вопрос об уходе с социально-политической арены викторианцев разрешится мобилизацией сыновей «против отцов». Подменяя борьбу классов борьбой «возрастов» в пределах одного господствующего класса, Ольдингтон надеется на поражение «дурацких идей» и их носителей. Чтобы осознать наивность таких иллюзий, не требовалось даже проходить через испытание четырнадцатого года. Но Ольдингтон прошел и тем не менее со своей иллюзией не расстался. И вспоминается фраза, брошенная им по адресу викторианцев: «Старых Винтербуорнов, как и Бурбонов, война ничему не научила, и ничего они не забыли». Не научила война и молодых Винтербуорнов.

Второй ошибкой Ольдингтона является очевидная переоценка им сексуальной проблемы в социальной жизни. «Я

показал — с некоторой, вполне оправданной жестокостью, — как дьявольски и губительно влиял старый режим лицемерия на сексуальные отношения людей и на всю их жизнь, нравы и на жизнь их детей». Надлежит знать условия жизни английского буржуа, чтобы не удивляться той страстности, с какой Ольдингтон обнажает уродство конвенционных норм в области половых отношений, — уродство, отразившееся на всем буржуазном английском быте. «Молодая Англия» не могла, разумеется, пройти мимо этой стороны английской жизни, и критика этих норм должна была играть не последнюю роль в развернутом наступлении. «сынов» на старых Винтербуорнов. Ольдингтон мастерски, с большой злобой и темпераментом совлек защитные маски не только с любителей флер-д'оранжа, но и с поклонников «свободной любви», фарисействующих менее откровенно; но, анализируя английский буржуазный быт, он явно потерял перспективу. отвел сексуальной проблематике не соответствующее ей в социальной жизни место.

Безупречно он разработал в плане задания боковые темы романа: его критика английской школы, его портреты духовно выхолащенных участников литературных салонов, описание сложных отношений Винтербуорна с двумя женщинами, анализ детской психологии об-

наруживают уверенность опытного романиста. Но особенного внимания заслуживает та манера, в какой он изобразил фронт. Эмоциональная взволнованность, характерная для всего романа, могла обернуться в описаниях фронта своеобразной сентиментальностью. Ольдингтон вытравил эту взволнованность бесследно. Художественный эффект оправдал перевод стиля на другой регистр: эти страницы о пребывании Винтербуорна в окопах, отмеченные исключительной скупостью в пользовании образительными средствами и умышленной сухостью описания, — лучшие образцы английской «военной» прозы.

Мы не знаем найдет ли Ольдингтон более подходящее оружие для британской брони носорога, а вместе с этим и выход из тупика, куда он загнал Винтербуорна. С разрешением вопроса медлить нельзя, это понимает и сам Ольдингтон и все те, буржуазные интеллигенты, от имени которых он говорит. Они не могут не понимать, что встает в окопе под пулеметным огнем — не выход, а дышать воздухом капиталистической Англии нет сил. Настало на Западе такое время, когда Ольдингтоны должны решать немедленно. «Смерть героя» является знаком того, что Ольдингтоны подошли к разрешению вопроса вплотную. Сумеют ли они его разрешить, покажет недалекое будущее.

5. „...БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ВЕТРИЛ..“

(Новинки французского романа)

Авг. Рашковская

«При теперешнем положении дел литература может стать попросту одним из видов спорта, на ряду с теннисом или гольфом» — эту фразу обронил где-то на своих страницах мэтр современной классики — Поль Валери. И не без основания. Бесперывные состязания в оригинальности, в новизне, в изобретательности («Обновиться или исчезнуть» — постулировал Поль Моран, другой *arbiter elegantiarum* литературного Парижа), бесперывные испытания литературной ловкости происходят на арене французского слова. И все это на величественном фоне по-

исков абсолютных ценностей. Но переоценки этих сомнительных ценностей совершаются с такой быстротой, что школы и направления сменяются, успев проявить себя только вступительной и обычно широковещательной декларацией (за исключением двух-трех основных и основательных, в роде унаследованных, существующих, правда без блеска, уже лет 27. Устойчивость обнаруживает и сюрреализм). Накатывает и исчезает волна литературных мод и увлечений. Вкус к спорту, о котором с мелянхрическим презрением говорит Валери, породил спортивную литературу.

Писатели стали различаться по видам спорта: Монтерлан — футбол, Доминик Брага — атлетизм (борьба). Авиация — Ж. Кессель, Дюртэн — автомобилизм, Ж. Р. Блох — парусный спорт, бокс — Тристан Брага, фехтование — Жан Прево и т. д. Спорт конечно породил целую школу, взгляд на мир и метафизику спорта. Затем на смену «спортсменам» пришли рационалисты — «жидовцы» и интеллектуалисты — «валерианцы». Неокатолики пререкаются с неомистиками. Поклонники активного действия — с приверженцами интроспекции. Реализм, который никогда не умирал, принимает формы и выражение популизма.

И все-таки дело не в смене, — дело в постоянстве. И все-таки нигде так не устойчивы традиции, контуры литературных типов и стабилизация тематики, как во французской литературе. Разочарованный и тщеславный молодой интеллигент, вечно ищущий, занятый только собой; но полагающий себя на службе у человечества, разыгрывающий всегда роль и все же не лишенный искренности, — этот излюбленный герой французского классического романа, которого вы встретите и у Стендаля в лице Жюльена Сореля и Фабриция дель Донго, который у Бальзака осит имя Растиньяка или Рюбампре, которого вы узнаете в бесцветном Андре Мариоле Мопассана («Notre Dame»); этот герой, прошедший через уки Додэ (Поль Астье) и изученный бурже в его «Disciple», оказывается, как вольтеровская девственница, свежим и почти нетронутым. И таковым вы его встретите на страницах нового романа Жана Жироду («Aventures de Jerome Zardini») или у Марселя Орлана («Ordre»); таким его принял и признал Жан Прево, сделав из него журналиста («Nous marchons sur la mer»). И это не только облик «героя», — часто это лицо и самого автора. Этот «тип» (и герой, и автор) сейчас в связи с социальными брожениями современности особенно томим томлением духа и ищет выхода из создавшегося положения. Отсюда мистицизм и l'action brutale, неокатолицизм и религиозный культ спорта. Именно культ, потому что современный европеец в своем инстинктив-

ном противоборстве всякой материалистической системе готов дойти до тотемизма: «Que celui qui ne sent pas qu'une religion nouvelle emplit le monde évite de s'approcher de casques magiques. Qu'il n'arrache pas comme relique pour s'impregner de sa divinite manie la toile, qui recouvrait l'avion de Lindbergh. Mais celui qui sent l'attraction de la mentalité primitive et magique du monde et une terreur totemique devant les choses, qu'il rend un culte aux casques surnaturels du motorisme. Après tant d'années de l'humanité nous sommes revenus au point transcendantal de la vie. La magie homeopathique»¹).

Вот примерный стиль теоретиков спортомании, охватившей западную буржуазию. Каждый хочет быть пророком. Меньше, чем «новой религией», дезориентированный буржуа удовлетвориться никак не может.

Современный буржуазный писатель осужден быть только собой и только с собой. Он вне действия и почти вне жизни. Техника, машина, вещь каждый день доказывают ему, что он никому не нужен. Вот почему другим выходом из положения оказалось «бегство» («evasion») и опрощение. Это самое «evasion» определяет почти весь послевоенный период французской литературы. Париж в географии французского романа потерял свое исключительное положение центра и стал только точкой отправления, вокзалом мира.

Восток, Америка, СССР стали Меккой и Мединой этих новых пилигримов, этих затравленных туристов, исповедующих веру в «перемену мест» и ищущих спасения от самих себя.

Но примитив страны, не тронутый цивилизацией, или «земля, не прикрытая

¹) Пусть тот, кто не чувствует, что новая религия наполняет мир, не приближается к волшебным каскеткам (спортивным шапочкам). Пусть он не срывает как реликвию для того, чтобы приобщиться к божественной мании, полотна, которые выброшены на аэроплан Линдберга (знаменитый американский летчик). Но тот, кто чувствует приближение магических и примитивных сил земли и тотемический ужас перед вещью, пусть он создаст культ перед сверхестественными каскетками моторизма. После стольких лет гуманизма мы возвращаемся к трансцендентальной точке зрения на мир. Гомеопатическая магия».

асфальтом» (в просторечии — деревня), хотя и влекут с неодолимой силой изысканных бродяг Парижа, но в литературе останутся лишь страницей высокомерного снобизма и элегантно-экзотички. Ведь если бытие даже пролетарской литературы Франции скорее похоже на небожие, то о крестьянской и помина нет.

Но повидимому этому эстетическому status quo наконец суждено измениться. И это, несмотря на то, что внешне ничего не переменялось. Тема бегства трактуется в последнем романе Жана Жироду «Aventures de Jérôme Bardini» и в новом романе Жана Прево «Nous marchons sur la mer». Тема примитива и опрошения дана в новой вещи Жана Жионо «Regain» («Отава») и в романе Филиппа Супо «Le grand homme». Внук молодого человека, о котором была речь выше, неизменно присутствует на страницах романа. Так в чем же дело? Лишь в том, что тема романа Жироду скорее «возвращение», чем «уход», что в «Regain» Жионо есть зерно понимания материалистических законов бытия, что «негр из джазбанда» в романе Супо — человек, а не экзотика, и что есть политическая «изюминка» (не преувеличивая брожения, ею вызванного) в жалобах разочарованного репортера — героя Жана Прево.

Возвращение Жерома Бардини, или вернее Жана Жироду, знаменательно. В тех переломных настроениях, которые охватывают сейчас мелкобуржуазную интеллигенцию Запада, Жан Жироду, самый блестящий писатель современной Франции, автор приправленных злой сатирой «Беллы» и «Зигфрид и Лимузен», предпочитает придерживаться иллюзорного нейтралитета, что для Жироду равняется решительному поправению. Кстати в «дополнении» к нашумевшему роману «Suzanne et le Pacifique» (у нас переведенного под заглавием «Сюзанна-островитянка»), напечатанному в «La Revue nouvelle» (февраль, 1931), и где Жироду изящно-иронически объясняет, как у него возникла «идея» романа, Жироду изобретает новое доказательство существования бога и очень аристократически толкует «изюминку религиозного чувства, вложенного в заглавие романа: «Si Dieu existe, — го-

ворит Сюзанна (Жироду?), — qui peut bien lui importer ce, que les hommes pensent de lui? Ne préfère-t-il pas être un secret à être une divulgation. Je n'avouerais jamais qu' à Dieu, que Dieu existe. La croyance en Dieu est l'éternel debut d'un amour, c'est à dire une silence... le que l'on appelle l'équilibre est l'équilibre accordé a l'homme quand il a pour contrepoids ce Dieu, qu'il ne discute et ne divulgue pas»¹⁾.

По отношению к католическому правоверию, в котором пребывают многие писатели Франции, это конечно ересь, но для скептика Жироду — шаг вправо.

В «Приключениях Жерома Бардини» оживают и действуют люди «Беллы». Зачем? Эта вещь полна музыкальных очарований, лирических великолений, легчайшей иронии и сентиментальной меланхолии (и это себе может позволить только Жироду); но в ней нет и намек на сатирическую установку и политическую заостренность «Беллы».

Жером Бардини, герой романа Жироду, не удовлетворен, разочарован, скучает. Он мученик обыденности; он принадлежит к породе тех, кто способен застрелиться только потому, что каждое утро нужно тем же движением завязать галстук. К тому же он женат, и это удваивает его скуку. В нем зреет решение «уйти», оставить жену, дом, ребенка, уйти, чтобы обновиться. «Обновиться или исчезнуть». И он отправляется в Соединенные Штаты после эффектного прощания при лунном свете с могилой Беллы. Что делать, как не бежать? В Нью-Йорке он попадает в среду богатых, давно осевших немецких эмигрантов. Жироду с аппетитом изображает полуфантастические детали пошловатой и сентиментальной роскоши этих германо-американцев, наслаждающихся например весною пением механического соловья, спрятанного в цветах. Здесь он встречает Стефи. Уверенное мастерство Жироду особенно чув-

¹⁾ «Если бог существует, что ему до того, что о нем думают люди? Он конечно предпочитает тайну вульгаризации. Я признаюсь только богу в том, что бог существует. Вера в бога, это — вечная любовь, значит — молчание. То, что называют равновесием, есть равновесие, свойственное человеку, который имеет своим противником бога, существование которого он не оспаривает и не разглашает».

ствуется в том, как он создает физическое бытие своих людей.

Любовная игра Стефи и Жерома построена на сплошных психологических «тонкостях». Психологические особенности Жерома Бардини (и Жироду это делает, сам того не сознавая) раскрываются в его классовом происхождении. Его обостренная эмоциональность принимает формы вырождения. Для него одинаково важны человеческая жизнь и полет птицы. Испорченный пейзаж волнует его больше, чем уход любимой женщины. Его психическая организация приспособлена к уловлению бесчисленных оттенков и тонкостей, но простейшие жизненные явления ускользают от его восприятия. Любовь не удается ему. Стефи уходит. Она возвращается в свою семью, к своим четырем женихам, миллионам и механическому соловью, ко всему этому реальному миру, который она покинула ради призрака. Жером, почти не заметив ее отсутствия, продолжает свои скитанья. Он хочет управлять событиями, выбирать свои пути. Напрасная иллюзия. Пассивность, бездейственность лежит не в нем только, она лежит в социальной природе той промежуточной группы, к которой принадлежит Бардини. Этого-то не договаривает Жироду. И вот стареющий Бардини постигает свою жизненную ошибку: «Il a cherché dans la fuite un secret, qu'il ne trouvera plus. Quand on attendu, pense-t-il plus de 35 ans après sa naissance pour se déclarer ennemi de la vie c'est qu'on est fait pour elle»¹).

И он возвращается домой. И то, что Жером Бардини «возвращается», и то, что после этого возвращения больше так же неудобно будет писать об уходах, как после Дон-Кихота стало неудобно писать правоверный рыцарский роман, — есть в общественном смысле явление, скорее реакционное, так как «бегство» героев французского романа было все же подобием протеста против общественного строя. «Возврат» Жерома Бардини — это примиринческое «до-

ма лучше», облеченное в самые поэтические формы. К тому же, как и все книги Жироду, «Приключения Жерома Бардини» — приключения вне времени и пространства, и это-то и создает ту особенную атмосферу, которой эти книги дышат. О Жироду принято говорить: «виртуозный», «блестящий», «изысканный», «чарующий» Жироду, между тем он просто один из самых умных писателей, охотно маскирующий свой ум блеском или туманностями, виртуозностью или чем угодно. Вероятно это удобно.

Но если Жан Жироду призывает странствующих и путешествующих, блуждающих и заблудших «домой», если ему нравится роль апостола благорастойности, то, с другой стороны, наблюдаются и некоторые сдвиги влево. Об этом например свидетельствует третья по счету книга Жана Жионо «Regain» («Отава»).¹ Хотя конечно все три книги Жионо: «Colline», «Un de Baumugue» и «Regain» — книги о крестьянах — не есть крестьянская («народная», как говорят французы) литература, которую с натяжкой представляет старый Рамюз. Между тем проблема «областничества» («régionalisme») сейчас на повестке дня либеральной части французской мелкобуржуазной интеллигенции, ставящей «областничество» против национализма. Один из наиболее ярких писателей современной Франции Андре Шамсон — воинствующий пацифист и областник — утверждает всем своим далеко не заурядным творчеством власть земли, притягательную и вечную силу первобытной связи с природой, которая для него олицетворяется в крестьянстве. «Histoires de Tabusse», его последняя книга, — это искусственный эпос, так же, как и «Regain» Жионо, призывающий к примитиву. Но тогда как Жионо эволюционирует, Шамсон остается на своих позициях неизменно.

Первая книга Жионо «Colline» — это поэма дикой земли, скомпонованная в мистической тональности и проникнутая поэтической верой в таинственные силы, управляющие миром. Деревня в «Colline» — галлюцинирующая деревня. Крестьяне «Colline» — это обреченные, не пытающиеся сопротивляться. Уже в

¹ «Он искал в бегстве тайну, которой не нашел. Когда ожидаешь 35 лет со дня своего рождения, чтобы объявить себя врагом жизни, это значит, что вы созданы именно для жизни».

следующем романе «Un de Baumugue» Жионо отказывается от поэтизации тайных сил и магических откровений и вглядывается в лицо реальной действительности. Но никакой борьбы, никаких столкновений, порождаемых диалектикой жизни, нет и здесь.

И вот недавно вышедшая в свет «Regain», что означает буквально отаву (вторую после покоса траву), а в переносном — возврат молодости, показывает, что Жионо стремится к материалистическому пониманию действительности, хотя далек еще до достижения. «Regain» — это история провансальской девишки, откуда город вытянул всех обитателей. В умирающем селении остается только один житель — браконьер Пантураль. Он ведет существование дикаря. Но вот он встречает женщину и уводит ее к себе. Своей любовью, своей волей, своим трудом эта пара как бы заново создает мироздание. Они возделывают землю, сеют, жнут и любят. Страницы чувственной силы посвящены весеннему возрождению, первобытной любви этих людей и их труду. Жионо показывает все стадии экономического развития и перехода от первобытного сельского хозяйства к более сложным формам. Труд побеждает призраки опустошенной местности. Труд побеждает сопротивление косной природы. В деревню возвращаются люди. Она возрождается. Но если Жионо силен в изображении примитивных переживаний и экономических стадий, дальнейшее развитие сюжета и толкование крестьянства как не расслоенного монолита, противопоставленного городу, не соответствует действительному положению вещей. Типы крестьян, несмотря на мастерство Жионо, вследствие коренной ошибки не вполне жизненны. Жионо не совсем чужд наивного морализирования, и оттого густые краски мопассановской гаммы разбавлены жорж-зандовской «розовой». Однако язык «Regain» обладает исключительной выразительностью, так как Жионо умело разнообразит нарочито суховатую речевую ткань основного повествования пестрым *ratois* (местный говор) и тщательно изученным фольклором. Его язык, так же как и сюжет, и философия, стремится к примитиву. Фраза построена на самых бед-

ных конструктивных началах: «Il y a», «il avait», «comme ça», «c'est pour ça», «elle a dit», «ils sont partis» — вот типичная для него языковая фактура. Вопрос в том, насколько подлинна простота этого стиля? Не является ли она лишь другой стороной изоцированной литературности? Впрочем французская пресса утверждает за «Regain» ценность лингвистического документа. Не берусь оспаривать это, но все же очевидно, что этот бесспорно талантливый роман — лишь очередной искусственный примитив мелкобуржуазного производства, играющий роль средства от новой «болезни века», а не серьезное и давно просроченное разрешение социальной крестьянской проблемы.

Эту проблему ставит и Андре Шамсон в своем романе «Histoires de Tabusse». Андре Шамсон занимает довольно определенное и значительное место в современной литературе, — писатель, обладающий политическими взглядами, что стало во Франции литературно-музейным раритетом. Шамсон исповедует регионализм (самоопределение национальных меньшинств). Он воинствующий пацифист. Его «Roux le bandit» — это панегирик дезертиру войны. Его «Tyrol», ставящий политическую проблему южного Тироля, аннексированного фашистской Италией, — обвинение против фашизма. Его крестьянские эпопеи утверждают, настаивают, убеждают в существовании крестьянской проблемы. Какая разница однако с нашей! У нас коллективизация и индустриализация деревни — один из основных базисов государственного строительства. Для француза деревня — это своего рода нравственно-духовный курорт. Крестьянин для француза — это Антей современности, черпающий свою силу в непосредственной связи с землей и сохраняющий благодаря этому живую душу. «Histoires de Tabusse» — искусственный эпос, современная легенда о крестьянском парне Табюссе. Простак, силач, сорви-голова и «доброе сердце», великан с курчавой головой — таков этот новый герой. Шамсон рисует его без идеализации. Табюсс хитростью заводит туристов в дебри, которые сам великолепно знает, и получает потом крупные «пурбуары» за «спасение». Его вы-

гоняют палками из дома богатого деревенского буржуа за то, что он осмеливается свататься к его дочери. Он способен целый день проблуждать в снежной буре со своей тачкой, распевая песни и распивая бутылочку. Рассорившись с поселянами, он заводит трех громадных собак, чтобы обеспечить себе одиночество, но три зверя чуть не растерзали его самого, когда снежная буря забаррикадировала дверь его хижины.

Таковы непритязательные похождения этого «Иванушки» по-французски.

Но Табюсс — вечен. В Табюссе — спасение. Такова мораль этой книги, которая могла бы быть прекрасной, если бы не эта мораль. Ряд романов, менее значительных, трактует эту же тему и эту же тенденцию.

«La Sabatière» Мориса Куртуа Сюффи рассказывает о «бегстве» одной парижанки — «femme moderne» — в деревню. Ибо только так и только там можно избежать исхоженных тропинок жизни, предназначенных в этом мире женщине.

К примитиву и возрождению через примитив призывает в своем новом романе «Le grand homme» Филипп Супо, опростившийся эксцентрик французской литературы. Негр из джазбанда, достаточно скользкий и истасканный персонаж современных романов, у Супо приобретает черты подлинной человечности. Он жизнеспособен, несмотря на то, что он в романе играет малоубедительную роль носителя элементарных и целостных эмоций. Женщина Клоди Гавард следует за ним. Впервые через него она прикасается к подлинному бытию, возвращается к первобытным инстинктам, и вот перед нами, как и в «Regain», пара, символизирующая юность мироздания.

В поисках твердой почвы под ногами, — так можно характеризовать идейное ядро всех этих книг. Жан Прево, автор нашумевшего романа «Братья Буке и Кан» (о котором мы говорили уже на страницах «Нового мира»), назвал свою новую вещь «Nous marchons sur la mer».

— Est-ce que vous croyez, que c'est ridicule à dire, — говорит герой романа, — ou que c'est un secret à garder; ou, bien est-ce une découverte, que j'ai

fait. Nous ne marchons pas sur la terre ferme, ni nous, ni personne. En réalité nous marchons sur la mer¹⁾.

Однако автор, касаясь вопросов почти политических и почти злободневных, почти разоблачая бессмыслицу и ложь буржуазной прессы, склонен недостатки, фальш, ложь — все очень конкретные дефекты общественного строя — сводить чуть ли не к космическим причинам.

Расстриженный репортер Жана Прево берет слово для обвинения:

«Если два года назад я был, как все, более чем, как все, так как этого требовало ремесло — репортер. Вы знаете, что это такое. Не работа и не отдых. Набрасывать галопом на белую бумагу болтовню в кафе и выдумки полицейских фантазеров. Главное — быть в курсе. Бездельное занятие всех сортов подслушивающих порте. Ночью я наблюдал работу наборщиков с чувством унижения. Видеть свое вранье закрепленным в этом блестящем и твердом свинце мне было стыдно... Парижские ночи, эти ночи в барах, ресторанах, кабаре, где приходишь в содрогание не от порока, но от отсутствия жизни, веселья, страсти и желания, эти парижские ночи мертвецов, эти мало прикрытые женщины...»

* Ночи в редакциях, бешеные темпы мировых сенсаций, перехваченных по радио безжизненными автоматами журнализма, — все это показывается как иллюстрация тезиса «nous marchons sur la mer» и доказательство чувства ирреальности существования вообще, охватившего капиталистический мир.

Современный французский философ-материалист, революционно настроенный Эммуэль Берль в своем труде «Mort de la moral bourgeoise» (1930), вскрывая причины современного мистического идеализма, говорит между прочим: «Obscurement l'univers l'inquiète par les virtualité de crimes, de révolutions, de désastres, qu'il recèle. Tant d'états! Cinq continents! Paris même ne lui est pas familier. Inconnu de la Bourse de la diplo-

¹⁾ «Вы не думаете ведь, что это смешно сказать, или секрет или открытие, которое я сделал. Мы не имеем твердой почвы под ногами, — ни мы, ни другие. В действительности под ногами вода».

matie secrète. Et on dit, que tout aux portes de la ville il existe une «Zone» où des hommes étranges s'entassent dans des sortes de clapiers. Quelle peut être pour lui la nouvelle la meilleure? C'est que le monde n'existe pas¹⁾.

Жан Прево в своем романе анализирует не факты, а их преломление в психике журналиста. К фактам он относится иронически, к психологии—серьезно.

Репортер продолжает:

«Вам случалось вероятно взглянуть на привычную вещь — женщину, пейзаж — «новыми» глазами? Так вот однажды я прочитал газету, в которой работал. Этот день решил мою карьеру: отвращение и негодование сжали мне горло».

Но здесь почти на пороге обвинительного акта против общественного строя, рупором которого служит (и это отлично знает Прево) пресса, наш автор расплывается в философско-эстетическом «неприятии» прессы и цивилизации вообще:

«Есть нечто ужасное в быстроте распространения новостей, в однообразии страстей и переживаний, ими вызываемых. Я не говорю вовсе о ложных, вы-

¹⁾ Тайно вселенная беспокоит его (буржуа) всеми скрытыми возможностями преступлений, катастрофой, революцией. Сколько государств! Пять материков! Даже Париж в сущности мало известен. Биржа, секретная дипломатия, странный сброд, скопившийся, как говорят, у застав города — как в западне. Какая новость для него (буржуа) будет более всего душе? Та, что мир не существует».

думанных сенсациях, — даже подлинные сомнительны в своей сущности».

И вот, разочарованный журналист распродает свое имущество (современный вариант евангельской раздачи бедным). Je vendis à des collègues mes meubles, mes vêtements, mon linge et mon bail» и «уходит», чтобы познать самого себя. (Mon but n'était que la possession de mon esprit).

Так актуальная общественная тема, как будто найденная, в сущности ускользает из рук писателя, оставляя лишь схему, слишком узкую, чтобы быть обязательной, слишком широкую, чтобы быть острой. А ведь Жан Прево — человек левых настроений, завсегдатай левых журналов. И это характеризует парижскую «левизну».

Вероятно даже самые решительные из литературных бунтарей все еще не перешли из стран фантазии в страну действительности, и всеми течениями, направлениями, группировками исповедуется искусство, утишающее и утешающее.

Над всем искусством Запада еще тяготееет слово Ренана: «La poésie est faite pour nous consoler de la vie par la rêve, non bien pour deteindre sur la vie».

Мудрое слово человека, облаченного в халат и твердо сидящего в своем кресле.

Ленинград.
Июль 1931 г.

За рубежом

1. Е. ГНЕДИН. — Лето 1931. 2. С. ГАЛЬПЕРИН. — Подвиги генерала Урибуру.

1. ЛЕТО 1931

Е. Гнедин

Мир трещит по всем швам

МЫ привыкли быть свидетелями великих исторических событий. Этим объясняется вероятно тот факт, что события, происходящие за советским рубежом в настоящее время, еще не оценены по достоинству в широких слоях рабочего класса нашей страны.

Мы не знаем определенно, что произойдет в капиталистической Европе предстоящей осенью или зимой. Мы не можем утверждать, что какой-либо из месяцев 1931 г. обязательно окажется Октябрем для буржуазии той или другой европейской страны. Мы не можем наконец категорически заявить, что нынешний мировой экономический кризис уже не сменится хотя бы некоторым улучшением конъюнктуры и что он обязательно закончится социальным взрывом, который выкопечет сокрушит расшатанное здание капитализма. Но мы можем твердо сказать, что лето 1931 г. и предстоящая зима являются переломным моментом в процессе загнивания послевоенного капитализма.

Как наиболее проникательные представители буржуазии так и многочисленные рядовые политики, ученые и публицисты несомненно отдают себе отчет в том, что нынешний мировой экономический кризис не только вскрыл раны, нанесенные капиталистической системе мировой войной, и чуть-чуть залеченные в послевоенный период, но причинил новые смертельные удары капитализму. Из этого конечно отнюдь не следует, что буржуазия готова сложить оружие в борьбе за свое существование. Подобно тяжелобольному, во время особо острого припадка болезни понимающему, что его жизнь находится под угрозой, и тем не менее продолжающему надеяться на выздоровление и прибегающему ко всем средствам лечения до самой последней минуты, — буржуазия будет лихорадочно пытаться отдалить роковой час и обольщаться в случае временного улучшения конъюнктуры. Как банда преступников, окру-

женная преобладающей, многочисленной силой, капиталисты будут бороться за свои интересы и наносить своему классовому врагу слепые и порой чудовищно-жесткие удары. Но это отчаянное сопротивление уже не может спасти капитализм.

Лето 1931 года наглядно показало, как беспомощна буржуазия в борьбе с разрастающимся кризисом капитализма. Об этом свидетельствуют прежде всего факты. Но беспомощность буржуазии перед лицом развивающихся исторических событий прекрасно иллюстрирует и слова ее виднейших представителей.

Приведем лишь один пример.

12 июля самоуверенный рыцарь современного капитализма, глава фашистской Италии, Муссолини, восхваляя в большой статье американского президента за то, что он «явился во-время» со своим предложением, заявил:

«До сих пор для нас явилась предупреждением безнадежная и тяжелая зима. Еще одна подобная зима нищеты, и катастрофа нас проглотит... Не будет пессимистическим преувеличением сказать: если бы ничего не случилось и если мы должны были бы перенести еще одну зиму, полную нужды, то мы оказались бы перед катастрофой, при которой большевизм проник бы через Вислу на Запад. Никто не может сказать, где бы он остановился. Весь цивилизованный мир был бы потрясен, и Америка не могла бы избежать удара. Более чем двадцать миллионов человек только в индустриальных странах не имеют работы, многие народы уже находятся на краю пропасти. Во всякий момент может треснуть по всем швам государственная организация, и политическая и социальная паника распространится по всему миру».

Муссолини высказал все эти мрачные предсказания в условной форме: если бы ни чего не случилось. Что же случилось, по его мнению? По мнению Муссолини, спасение должно было принести предложение американского президента Гугера отсрочить на год платежи по междугосударст-

венным долгам и репарациям. Но теперь общеизвестно, что принятие плана Гувера не привело к тем результатам, которых ожидал капиталистический мир. Ни один буржуазный политик теперь уже не осматривает, что план Гувера не оправдал связанных с ним надежд, что мировой экономический кризис продолжает обостряться, что Европе и Соед. Штатам предстоит пережить новую зиму тяжелой нужды и бедствий. В таком случае отпадает условная форма в приведенном заявлении Муссолини и приобретает полную силу его в высшей степени пессимистическое для буржуазии предсказание приближающихся тяжелых потрясений и катастроф.

На страницах одной из самых старых и солидных буржуазных газет европейского континента «Нойе цюрихе цейтунг», издающейся в маленькой и относительно благополучной Швейцарии, мы находим прямой ответ на слова Муссолини. Через две недели после того, как Муссолини предупредил, что организация капиталистического мира «может треснуть по всем швам», 2 августа мы читаем в «Нойе цюрихе цейтунг»:

«Мир трещит по всем швам,—таким во всяком случае в настоящее время представляется положение в экономической области. К германскому финансовому кризису, который вследствие экономических и политических промахов внутри и вне Германии может вырасти в серьезную угрозу для всего народного хозяйства, в течение последних двух недель присоединились тревожные затруднения лондонского денежного рынка; тяжелое положение Австрии сегодня не находится в центре мирового внимания, но оно тем не менее ничуть не смягчилось; Венгрия также подает финансовые сигналы бедствия, проводя вклинивающиеся в денежный оборот срочные мероприятия. Между тем в Испании с каждым днем обнаруживаются все яснее и все тревожнее те опасные вопросы и тенденции развития, которые обусловлены революцией в политической, социальной и хозяйственной областях. Заокеанские страны страдают между тем все в такой же острой степени под тяжким давлением падения мировой конъюнктуры на рынке сырья и предметов продовольствия; в последнее время этот фактор нанес новые политические удары в различных местах, и Соединенные Штаты вынуждены разочарованно и смущенно констатировать, что, несмотря на проведение в жизнь гуверовского предложения, общее экономическое положение по ту и другую сторону Атлантического океана не только не улучшилось, но, наоборот, наблюдается весьма беспокойное обострение ситуации. Решение Форда закрыть свои предприятия в Детройте и этим летом снова на несколько недель,—хотя оно и облечено в форму перерыва в работах «в це-

лях подсчета и обновления машинного парка»,—освещает лучше, чем всякие статистические цифры тот факт, что и Америка еще весьма далека от того, чтобы возвратиться к «процветанию», которое еще 2 года назад объявлялось несокрушимым»).

Таким образом относительно спокойный и трезвый наблюдатель с тревогой указывает на всеобщее и повсеместное ухудшение положения в капиталистическом мире.

Попытки приостановить развитие катастрофы не удаются. Не следует забывать, что в течение июля были пулены в ход одни из самых сальдо действующих средств, к каким вообще способна буржуазия: па год отсрочены все междугосударственные платежи; была сделана попытка найти компромисс между двумя европейскими странами, интересы которых наиболее остро сталкивались в течение последних десятилетий,—между Францией и Германией; состоялась международная конференция, на которой присутствовали не только представители правительств, но и влиятельнейших финансовых групп всего мира; совместными усилиями руководящих финансовых кругов приостановлен отлив иностранных кредитов из Германии. Право, буржуазии нельзя обвинить в недостатке маневренных способностей и даже решительности в попытке провести различные мероприятия, трудно осуществимые в условиях капиталистической анархии и борьбы всех против всех.

И тем не менее «мир трещит по всем швам». Капитализм идет навстречу новым и еще более серьезным экономическим потрясениям.

Мы попробуем обрисовать некоторые этапы этого процесса на примере страны, представляющей одно из самых слабых звеньев капитализма,—Германии.

Неудавшаяся попытка восстановить германский империализм на костях рабочего класса

Основная политическая линия германской буржуазии в течение послевоенных лет может быть охарактеризована примерно следующим образом: ликвидация последствий поражения в мировой войне и послевоенного кризиса за счет интересов трудящихся и на ряду с этим напряженная борьба за германские экономические позиции на мировом рынке.

Период инфляции, сопровождавшийся тяжелейшими бедствиями для рабочих, падением заработной платы и голодом, характеризовался одновременно расширением производственного аппарата германской промышленности, усиленной концентрацией в основных промышленных отраслях и увеличением вывоза товаров, приносившего благодаря обесценению маржи высокие прибыли предпринимателям.

1) Подчеркнуто нами.—Е. Г.

Время, последовавшее за принятием плана Дауэса в 1925 г., германская буржуазия использовала для перестройки налоговой системы в целях перенесения бремени репараций на трудящихся и для «рационализации» германской промышленности. Одновременно значительно укрепили свое положение крупнейшие германские банки, — твердыни финансового капитала. Усилившаяся германская промышленность стала завоевывать потерянные ею мировые рынки.

Налоговая реформа, проведенная после принятия плана Дауэса, резко изменила соотношение в государственном бюджете между налогами на собственность и массовыми налогами. Именно в 1924—25 г. налоги на собственность составили 27,4 проц. всего налогов обложения, между тем как в предыдущем году они составляли 50,4 проц.; обратное явление наблюдалось в отношении массовых налогов, они составляли в 1924—25 г. 73,6 проц. всего налогового обложения, между тем как в предыдущем году эти налоги, падающие на трудящихся, составляли только 49,6 проц.

Бесспорно, что это мероприятие германской буржуазии сильнейшим образом ударило по интересам рабочего класса. Тем интереснее и показательнее тот факт, что этот перелом в налоговом обложении, которого добилась буржуазия после принятия плана Дауэса, отстает на второй план по сравнению с теми мероприятиями, которые были проведены в Германии после принятия плана Юнга.

Положение, сложившееся после принятия плана Юнга, резко отличалось от периода, последовавшего за проведением в жизнь плана Дауэса. Если, с одной стороны, уже недостаточно было налоговых мероприятий для балансирования государственного бюджета за счет трудящихся, и буржуазия начала сокращение так называемых «социальных расходов» (страхование от безработицы и болезни, пенсии инвалидам и т. п.), то, с другой стороны, германский капитализм уже был лишен целебного притока иностранных кредитов, при помощи которых орудовала германская буржуазия в дауэсовский период. Ослабление притока иностранных кредитов создавало дополнительный стимул для попыток германской буржуазии увеличить внутри страны «капиталонакопление» за счет доходов трудящихся. Это «внутреннее капиталонакопление», ограбление рабочего класса, осуществлялось при помощи фактической финансовой диктатуры монополистического капитала в лице германского правительства.

В 1925 году германский финансовый капитал имел возможность провести необходимые ему законы в жизнь при помощи парламентского механизма. Законы, значительно увеличившие налоговое бремя, падающее на трудящихся, были самым благоприятным и «нормальным» образом утверждены рейхстагом. Совершенно иначе обстояло дело в 1929—30 г. Буржуазия была

вынуждена максимально ограничить парламентскую возню и осуществила свои классовые мероприятия в порядке диктаторских чрезвычайных законов. Все финансовые мероприятия послеюгговского периода имели своим опорным пунктом, своим источником пресловутый параграф 48 германской конституции, дающий президенту право в исключительных случаях проводить закон помимо парламента.

Впервые параграф 48 был применен в 1930 г. для того, чтобы повысить налоги, падающие тяжким бременем на массы (на 846 млн. марок), сократить ассигнования на пособия от болезни (на 300 млн. марок), повысить взносы на страхование по безработице (на 220 млн. марок) и обложить служащих дополнительным налогом (в 300 млн. марок). В дальнейшем диктаторское правительство Брюнинга при полной поддержке социал-фашистов провело целый ряд чрезвычайных законов, которые предусматривали сокращение оплаты государственных служащих, повышение целого ряда косвенных налогов и снижение заработной платы рурским горнякам. Действие последнего постановления фактически отнюдь не ограничивалось Рурской областью; насильственное снижение заработной платы рабочих Рура послужило толчком для генерального наступления предпринимателей на заработную плату рабочих.

Зима 1930—31 г. характеризуется, с одной стороны, неуклонным ростом безработицы и ростом дороговизны, в частности в результате аграрной политики правительства Брюнинга, с другой стороны — непрерывным сокращением пособий по безработице и снижением заработной платы. Таким образом два процесса развивались одновременно: и расширялось действие экономического кризиса, и усиливалось наступление буржуазии, множились число ударов, наносимых рабочему классу и всем трудящимся, с одной стороны, действием кризиса, с другой — классовой политикой финансового капитала.

Чрезвычайно показательно сравнение между обстановкой, в которой происходил пересмотр плана Дауэса, и кризисом плана Юнга, нашедшим свое внешнее выражение в прекращении репарационных платежей на основе плана Гувера.

Если кризис плана Дауэса был в основном обусловлен трудностью перевода за границу репарационных платежей, то кризис плана Юнга уже был вызван невозможностью мобилизовать соответствующие средства внутри самой Германии, независимо от трудности перевода денег за границу (трансфера).

Основным политическим моментом при пересмотре плана Дауэса являлась тенденция германской буржуазии использовать свое укрепившееся международно-политическое положение для уменьшения репарационного бремени, а введение плана Юнга — для нового экономического

наступления на рабочий класс. Между тем кризис плана Юнга уже характеризуется ослаблением политического положения Германии, уже сопровождается признаками германской политической калитулляции и сочетается вместе с тем с крайним обострением внутривнутриполитической борьбы в Германии.

Положение Германии во время пересмотра плана Дауаса в 1928 году и в момент кризиса плана Юнга в 1931 году настолько же различно, насколько отличается положение путника, еще верящего в свои силы и останавливающегося для того, чтобы перед новым подъемом сбросить часть своего груза, и судьба человека, который уже не может продолжать свой путь, потому что он не в состоянии больше нести взваленную на него тяжесть.

Но особенно важно, что при составлении плана Юнга в 1929 г. не было и не могло быть учтено наступление мирового экономического кризиса. Крах американского «процветания», катастрофическое падение цен на мировом рынке, небывалый рост безработицы и в САСШ, и в Англии, и в Германии, экономический кризис и рост национального освободительного движения в колониях выбили капиталистический мир из того состояния неустойчивого равновесия, которое, казалось, было достигнуто в период относительной стабилизации. В изменившихся условиях, в обстановке бурного кризиса не мог конечно работать механизм плана Юнга.

Вот тогда события в Германии и стали разворачиваться в ускоренном темпе. Уже в течение 1929 года и начале 1930 г. наблюдалось сокращение иностранных кредитов Германии, и уже в течение 1929-30 г. развивалось внутривнутриполитическое наступление германской буржуазии и обострялась классовая борьба. Но обострение экономического кризиса резко изменило темп развития событий. Фильм, изображающий борьбу германской буржуазии за существование, история пустила с увеличенной скоростью, и те самые события, которые развивались в относительно медленном темпе, замелькали на экране истории с лихорадочной быстротой, нагоняя одно другое. Кризис САСШ сказывался все сильнее, и все быстрее обнаруживались отрицательные последствия этого кризиса для Германии. Кризис сбыта обострялся с каждым днем, и тем быстрее развивались события внутри Германии: закрывались фабрики, росла безработица, и нищета все глубже проникала в рабочие кварталы германских городов. Хозяйственное положение Германии становилось все хуже, и тем быстрее развивался процесс ликвидации остатков «буржуазной демократии», тем быстрее шла буржуазия по пути к фактической диктатуре, тем быстрее нарастали революционные настроения среди рабочих, отчаяние и озлобленность среди мелкой буржуазии и крестьянства.

Начало зимы 1930 г. ознаменовалось выборами в рейхстаг, показавшими, что в

среде германской крупной и мелкой буржуазии растут фашистские тенденции, а в рядах пролетариата крепнет революционный авангард, руководимый коммунистической партией. Всю зиму германская буржуазия провела как на вулкане, в обстановке возрастающего недоверия со стороны иностранных кредиторов. К концу зимы перед германским капитализмом уже встала во весь рост угроза экономической катастрофы.

Орган германских социал-фашистов «Форвертс», изо дня в день лгавший германским рабочим и утверждавший, что жертвы, приносимые пролетариатом, ведут к облегчению кризиса, 22 июля, когда катастрофа уже совершилась, сделал любопытное признание. В статье «Легенды должны быть разрушены», пытаясь снять ответственность с социал-демократии за происшедшие события «Форвертс» говорит:

«Теперьшняя катастрофа началась довольно точно 15 мая, когда в Германии ожидалось понижение учетного процента, но оно оказалось невозможным вследствие начавшегося затребования заграничных кредитов. Именно 15 мая определенные круги внутри страны и скоро определенные круги за границей узнали об опасном положении северного текстильного концерна; так как северный текстильный концерн сильно задолжал за границей, а эта задолженность была сделана через Дармштадтский и Национальный банк (Данатбанк), сделалось неизбежным проявление экономического кризиса доверия со стороны иностранных государств к Германии.

То, что произошло с мая до середины июля, было собственно только выражением того положения, которое в Германии наступило в середине мая».

Подлая газета германских социал-фашистов не говорит о том, что она в течение всего этого периода скрывала от трудящихся истинное положение и близость финансовой катастрофы. Орган социал-фашистов не говорит также о том, какими мероприятиями германской буржуазии был заполнен весь этот период от мая до июля, когда «получило свое выражение» сложившееся тяжелое положение. Между тем этот период характеризуется новым грабеджом рабочих буржуазным государством в порядке чрезвычайных декретов, новыми попытками германской буржуазии перенести на трудящихся бремя кризиса.

Мы знаем теперь из заявления «Форвертса», что «в осведомленных кругах» — руководство социал-демократической партии несомненно принадлежит к этим «кругам» — еще 15 мая поняли, что Германия стоит накануне финансовой катастрофы. Но мы знаем также, — и это теперь признает вся немецкая пресса, — что германское правительство и германский государственный банк проявили поразительную пассивность в получении дополнительных иностранных

кредитов тогда, когда это еще было возможно.

Германский финансовый капитал не торопился принимать на себя новые международные обязательства, неизбежные перед лицом надвигающейся катастрофы, но зато поспешил с новыми мероприятиями, которые должны были бы облегчить положение государственной казны за счет кармана трудящихся.

15 мая началась утечка иностранных кредитов, и посвященные круги узнали о предстоящем крахе северного текстильного концерна, а 5 июня уже был издан новый чрезвычайный закон, в такой чрезвычайной мере бьющий по интересам широких слоев трудового населения, что даже часть буржуазной прессы всполошилась. Этот новый диктаторский закон правительства Брюнинга устанавливал следующие мероприятия: новое сокращение заработной платы низших служащих и рабочих государственных и коммунальных предприятий на 356 млн. марок, новое сокращение размеров пособий безработным на 5 проц., лишение права на получение пособий по безработице всех молодых рабочих до 21 года, установление так называемого кризисного налога, который разработан таким образом, что рабочий платит значительный процент своего заработка, а крупные капиталисты и помещики — ничтожные суммы, ряд косвенных налогов, которые в конечном счете падают на трудящихся, сокращение фонда по выдаче пособий инвалидам, повышение квартирных налогов. Чрезвычайный закон от 5 июня несомненно представляет собою завершение той системы финансовых классовых мероприятий, которая, начавшись налоговой реформой после принятия плана Дауэса в 1925 г. приняла в 1930 г. такие чудовищные размеры.

В порядке государственных мероприятий германская буржуазия уже вряд ли сумеет сочинить что-либо новое. Закон от 5 июня воистину представляет собою последнее слово «финансовой техники» буржуазии. Теперь может идти речь только о дальнейшем непосредственном снижении заработной платы и всего жизненного уровня рабочих. Как мы увидим в дальнейшем, буржуазия предполагает идти именно по этому пути. Но сейчас мы обратимся к обрисованию событий, последовавших после проведения в жизнь последнего чрезвычайного закона Брюнинга.

В течение буквально одной недели выяснилось, что чрезвычайный закон, как, собственно и следовало ожидать, не может дать желательного эффекта. Трудящиеся Германии в буквальном смысле этого слова не в состоянии нести возложенное на них финансовое бремя, и самый жестокий грабег трудящихся не может облегчить финансовый кризис.

Между тем иностранные кредиторы Германии сделали свои выводы из обострения внутригерманского кризиса. Началась усиленная утечка валюты, отлив краткосрочных кредитов, бегство капиталов из Германии. К середине июня германские банки и германская промышленность, а вместе с ними германское государство оказались на грани полного банкротства. Начались закулисные переговоры о международной помощи Германии. Пока шли эти переговоры, утечка валюты продолжалась в возрастающем темпе.

Но вот 20 июня «случилось чудо»: американский президент Гувер выступил со своим предложением об отсрочке на год междугосударственных платежей и взноса репараций.

Но не только «чудо святого Гувера», ничто уже не могло спасти от банкротства послевоенную политику германской буржуазии.

Вместо золотого клада — горсть пепла

Гувер вероятно войдет в историю в качестве «бездарного оптимиста». Мы этим не хотим сказать, что персонально Гувер — человек, мало одаренный; его бездарный оптимизм является выражением не личных качеств, а слепоты того класса, который он представляет. Но Гувер сделал свою политическую карьеру и стал президентом Соединенных Штатов в качестве одного из апостолов знаменитого американского «процветания». Когда наступил кризис, Гувер оказался не в состоянии изменить методы работы и способ оценки событий. Поэтому он и опозорил себя тем, что долгие месяцы не хотел признать ту горькую истину, что американское процветание рухнуло, и систематически заверял американскую публику, что кризиса нет, что происходит «небольшая заминка» и процветание скоро возобновится. Но процветание отнюдь не возвращалось, действие кризиса расширяется и не только в САСШ, но и во всем мире, и оптимизм американского президента уже перестал быть добродетельно, а, наоборот, сделался его несчастьем.

Мы говорим об этом потому, что знаменитый проект Гувера также явился выражением его необоснованного оптимизма. Гувер предполагал, что, совершив такой необычайный в условиях капиталистического оборота шаг, как объявление годичного мораториума по междугосударственным платежам, он, во-первых, действительно «спасет» прежде всего Германию от финансового кризиса, во-вторых, благодаря смягчению кризиса в Германии и во всей Европе откроет новые пути для американского экспорта, в-третьих, — спасет американские капиталы, вложенные в Европе, в-четвертых, — увеличит свой собственный политический капитал, в-пятых, — подымет международный престиж САСШ, в-шестых, — отвлечет внимание обездолженных фермеров и мелкой

буржуазии от внутри-политических неурядиц САСШ и т. д., и т. д. И наконец самое главное, напуганный известиями о росте революционных настроений среди германского пролетариата, Гувер предполагал, что, протягивая «руку помощи» германской буржуазии, он приостановит нарастающее революционной волны в Германии.

Мы знаем теперь, что проведение в жизнь плана Гувера буквально ничего не дало или во всяком случае не предотвратило до углубления кризиса. Гувер был жертвой своего оптимизма. Тем любопытнее, что американские правительственные круги во главе с Гувером несомненно рассматривали предложение мораториума как совершенно исключительное средство, вызванное чрезвычайными обстоятельствами. Об этом свидетельствует история самого выступления Гувера. Вот как об этом рассказывает вашингтонский корреспондент весьма солидной германской газеты «Кельнишце и Цейтунг» (сообщение приведено в международном обзоре, опубликованном 12 июля).

«Мелон (американский министр финансов) взял в Лондоне трубку и связался по телефону с Гувером, который находился в западных штатах Северной Америки, для того, чтобы сообщить ему о катастрофическом обострении положения в Центральной Европе. Гувер велел ускорить свое возвращение в Вашингтон и вернулся туда на 40 минут раньше, нежели полагалось по плану. Через час Гувер уже совещался со Стимсоном (министр иностранных дел), а на следующий день в Белый дом (резиденция президента) уже спешно явились все сенаторы и члены конгресса, которых можно было немедленно заполучить. Вечером того же дня уже появилось официальное сообщение о том, что президент и руководители партии обсуждали вопрос о том, как можно облегчить положение Европы в целом и положение Германии в особенности. Это выдержанное в общих фразах оповещение о новой политике должно было быть конкретизировано примерно в течение недели.

Но не прошло и 24 часов, как представители прессы были снова приглашены в Белый дом, и многие навсегда запомнят этот момент. Прием произошел с опозданием на полтора часа, и Гувер наконец появился в сопровождении министра иностранных дел Стимсона, товарища министра финансов Огдена-Милса, с которыми Гувер спешным образом обсуждал текст своего заявления. Со времени объявления войны еще ни разу в Вашингтоне не было подобного возбуждения и лихорадки, потому что было известно, что для этих внезапных действий имелись особо существенные основания».

Само собой разумеется, что приведенное описание дает лишь внешнюю картину событий, самым непосредственным образом предшествовавших выступлению Гувера. Объяснить американское выступление мож-

но было бы, только проанализировав развитие кризиса за последнее время не только в САСШ, но и в странах Европы. Наша задача в данный момент заключалась лишь в том, чтобы показать, в какой лихорадочной обстановке, в какой спешке было подготовлено выступление о мораториуме, какое серьезнейшее значение ему придавали американские политики, находившиеся все время в тесном контакте не только со своими представителями в Европе, но и с рядом европейских государственных деятелей. И все же «чудо Гувера» отнюдь не оказалось чудом: проведение в жизнь американского плана застопорилось в результате французского саботажа, его запоздалое осуществление не принесло ожидавшихся спасительных результатов. Подарок Гувера оказался не золотым кладом, а горстью пепла.

Что же происходило тем временем в Германии? С 20 июня, когда Гувер сделал свое заявление, по 4 июля, когда в Париже было достигнуто соглашение о проведении в жизнь плана Гувера, финансовый кризис в Германии принял совершенно катастрофические размеры. Сопоставление двух цифр ярко показывает, как американский мораториум был сведен к нулю ходом финансового кризиса. Благодаря отсрочке репарационных платежей Германия была освобождена от перевода за границу в течение 1931 года 1.750 млн. марок; между тем, по вычислениям германской биржевой газеты «Берлинер берзен курьер», Германия была вынуждена за май и июнь возратить за границе полученные кредиты на сумму до 3 млрд. марок; таким образом за два месяца германское народное хозяйство заплатило за границе в два раза больше, чем оно должно было бы заплатить по плану Юнга в течение года.

Но утечка валюты из Германии продолжалась в усугубленном темпе и после окончательного принятия плана Гувера в Париже. В течение же этого периода не только заколебалась резко германская валюта, но заколебались командные высоты германского финансового капитала. Вслед за банкротством северного текстильного концерна последовал ряд других банкротств, и наконец 13 июля наступил крах крупнейшего германского банка — Дармштадтского и Национального, так называемого Данатбанка.

Значение банкротства Данатбанка выходит за пределы германской хозяйственной жизни. Банкротство Данатбанка не только поставило под угрозу существование ряда германских промышленных и хозяйственных предприятий, не только обусловило банкротство принадлежавших Данатбанку финансовых предприятий в других странах, в частности в Австрии и Голландии, — банкротство Данатбанка означало сильнейший удар по английской банковской системе. Английские финансовые круги, и до того напряженно борющиеся с надвигающимся финансовым кризисом и утечкой валюты

во Францию, теперь оказались непосредственно лицом к лицу с угрозой такого же финансового кризиса, какой уже разразилась в Германии.

В жаркие летние месяцы 1931 года гроза разразилась над Германией. Но буря не пощадила ни одного участка капиталистического мира. Финансовая катастрофа в Германии, как вспышка молнии во время грозы, мгновенным светом озарила лучину, которая может поглотить не только Германию, но и другие капиталистические страны. Тесная взаимная зависимость, существующая между отдельными капиталистическими странами, обнаружилась, летом текущего года в полной мере. Крах американского «процветания» и дальнейшее расширение американского кризиса привели к резкому обострению кризиса в Европе. Но вместе с тем возможность полного банкротства германского хозяйства представляется колоссальной угрозой для САСШ. Зависимость Германии от неустойчивых иностранных краткосрочных кредитов сыграла не малую роль в развитии германского кризиса. Но одновременно кредиторы, и в первую очередь английские банки, настолько тесно связали свое финансовое благополучие с германским рынком, что серьезное потрясение в Германии крайне поколебало равновесие на английском финансовом рынке.

Позиции Франции несколько выгоднее, чем положение ее капиталистических партнеров. Но и Франция находится в сетях кризиса, охватывающего весь мир капитала. Выступление САСШ с проектом моратория ударило по экономическим интересам Франции; Франция от прекращения платежей по междугосударственным долгам теряет, а не выигрывает, так как ей причитается от должников и в первую очередь Германии больше, чем она платит САСШ.

Таким образом «спасительное чудо» Гувера явилось для Франции несчастьем.

Присоединившаяся к этим экономическим невыгодам угроза политической изоляции побудила Францию после выступления Гувера проявить значительную энергию для зрыва попыток смягчить финансовый кризис. Франция оттянула проведение в жизнь плана Гувера и тем значительно обострила кризис в Германии и осложнила положение правительства и банков САСШ. Франция сумела поколебать курс английского фунта, выкачивая золото из Англии, и этим усилила действие кризиса в Англии. Зависимость Франции от мирового хозяйства парадоксальным образом выразилось в том, что французский империализм сыграл роль рока для Германии и Англии, оказывающих во власти финансового кризиса.

Но не попадет ли Франция в положение охотника, который, увлекшись погоней за дичью, заблудился в лесу?

Франция не находится вне воздействия кризиса, волны уже захлестывают и наряду французского корабля; об этом свидетельствует и явное сокращение продукции во

французской металлургии, и финансовые затруднения французских железных дорог, и происходившие несколько раз в течение лета подозрительные колебания курсов на парижской бирже.

Однако в наши задачи не входит описание развития кризиса летом 1931 г. в отдельных странах. Мы хотели бы показать общий ход событий за истекшее лето, оставляя в центре внимания Германию. Поэтому, указав на связь событий в Германии с кризисом в других капиталистических странах, мы обратимся к более подробному освещению значения банкротства Данатбанка, судьба которого является в некотором роде символом судьбы германского капитализма.

История величия и падения одного банка

История Данатбанка начинается в 1853 г., когда был создан Дармштадтский торгово-промышленный банк. Он был создан в момент, когда германская промышленность начала свое восходящее движение для того, чтобы стать костяком германского империализма. Годы колониальной политики еще находились в будущем. Борьба германского капитализма за мировые рынки еще находилась в зачаточном состоянии. В это время талантливый делец Мевиссен и основал свой банк, перед которым он поставил специальную задачу: способствовать развитию германской промышленности.

Программа действий Дармштадтского банка была с паразитической ясностью и целеустремленностью изложена в докладе, опубликованном в 1853 г. Мы приведем выдержку из этого доклада:

«Банк несколько не имеет своей задачей участвовать в акциотации и вкладывать капиталы в непродуктивную игру на бирже. Банк предназначен для того, чтобы при помощи своих собственных средств и вложения капиталов, которые будут ему доверены, воодушевлять большие и солидные предприятия и по мере своих сил в полном понимании общего положения германской промышленности содействовать направлению предпринимательского духа и капиталов по тем путям, которые отвечают требованиям эпохи. Его внутренние и заграничные органы должны будут служить посредниками между всеми отраслями деятельности германской промышленности и рынком капиталов. Банк будет иметь право и обязанность направлять капиталы, в которых данный промышленник не имеет нужды, другому, который в них нуждается, и путем такого постоянного обмена исправлять и увеличивать промышленную деятельность. Банк равным образом создан для того, чтобы участвовать в эмиссии государств, в больших государственных предприятиях, равно как в больших предприятиях частной промышленности, и облегчать в этой области размещение иностранных капиталов».

Так деловым и сухим языком 80 лет назад германский делец декларировал пра-

ва и обязанности уверенного в своих силах банкира. Программа действия Дармштадтского торгового-промышленного банка, это—программа деятельности нарождающегося финансового капитала. Вся эта программа пронизана мыслью о том, что банковский капитал должен явиться не только регулятором, но и руководителем промышленной деятельности, должен развивать свои финансовые операции в соответствии с промышленным развитием страны, содействовать экспансии промышленного капитала внутри страны и за ее пределами, не выпуская при этом из рук того мощного регулятора, каким является банковский кредит.

Дармштадтский банк быстро окреп и уверенно шел по тому пути, который предназначал его создатель и вдохновитель. В условиях еще необъединенной Германии, когда существование нескольких десятков отдельных самостоятельных королевств и княжеств создавало рогаки для свободно-капиталистического оборота, когда промышленная буржуазия еще не разорвала цепей феодального строя, в этих условиях Дармштадтский банк сумел распространить свою деятельность на самые различные местности Германии, вернее будущей Германии. В течение сравнительно короткого срока банк открыл свои отделения в Майнце, Франкфурте, Берлине, Бреславле, Лейпциге, Гамбурге, Штуттгарте и др. городах. В 1855 г. уже были созданы «дочерни общества»—банки в Вене и Нью-Йорке и большой банк в Южной Германии. В 1856 году Дармштадтский банк уже являлся самым крупным германским банковским предприятием.

Основатель и руководитель банка был полон великих надежд и выступил подлинным глашатаям растущей германской буржуазии, когда в 1856 г. писал: «Германия, которая на целые столетия отстала в банковской области от Франции и Англии, обогнала в течение нескольких лет другие страны по числу и значению банковских предприятий, и все это—благодаря мощному толчку, который был дан Дармштадтским банком».

Бурный рост Дармштадтского банка, который в полном соответствии со своими первоначальными планами стал одним из руководящих банков германского финансового капитала, одним из оплотов германского империализма, неуклонно продолжался вплоть до начала мировой войны. Правда, к этому времени Дармштадтский банк уже не занимал самого первого места среди германских банков (развитие германского империализма привело к созданию мощной банковской сети и ряда крупнейших банков), но тем не менее Дармштадтский банк принадлежал к числу четырех самых крупных германских банков.

После окончания войны Дармштадтский банк использовал период инфляции для скупки более слабых предприятий, погло-

тил Национальный банк и Гольдштейн-банк.

К моменту стабилизации марки Дармштадтский банк снова оказывается в первых рядах среди других представителей германского финансового капитала. В новых условиях банк продолжает проводить в жизнь программу действий, выработанную в 1853 г.; и после того, как германский империализм проиграл мировую войну и был оттеснен с международной арены своими соперниками, Дармштадтский банк пытается «воодушевлять большие и солидные предприятия», «участвовать в эмиссии государства» и «облегчать размещение иностранных капиталов». Дармштадтский и Национальный банк, теперь уже носящий сокращенное название Данатбанка, участвует в создании сильнейшего германского металлургического треста «Ферейнингте шталверке», содействует объединению крупнейших цементных предприятий, участвует в объединении самых больших германских пароходных компаний. Наконец Данатбанк захватывает в свои руки большую часть наследства знаменитого концерна Стинеса. В 1926 г., когда все германские банки развили особо оживленную деятельность, операции Данатбанка увеличились на 40 проц; за этот год он произвел 77 операций колоссального размаха, в роде тех, которые мы только что перечислили. Одновременно Данатбанк сильно расширил свои международные связи. Он субсидировал германскую торговлю в Южной Америке, установил тесный финансовый контакт с английскими банками.

В основном Данатбанк был в 20-х годах нынешнего столетия тем же, чем он являлся в середине прошлого века;—крупнейшим банком германской промышленности. В нынешних условиях это означало в частности, что в руках Данатбанка сосредоточился контроль над громадным количеством промышленных предприятий и трестов; 5 главных руководителей банка занимали 250 мест в наблюдательных советах различных предприятий Германии; фактически руководитель Данатбанка, циничный и очень искусный делец Якоб Гольдшмидт являлся фактическим диктатором в целом ряде отраслей германской промышленности. Не преминул Данатбанк установить тесные связи и с агентурой крупного капитала—социал-демократией. Известно, что автор «Финансового капатала» Гильфердинг, ныне ярый социал-фашист, находится в тесной дружбе с одним из тузов финансового капитала Якобом Гольдшмидтом.

Однако дружба с социал-демократами отнюдь не мешала руководителю Данатбанка при всех удобных случаях объявлять о своем совершенно презрительном отношении к убогодочным социал-демократическим проектам государственного капитализма и провозглашать в соответствии с «традицией своего дома» первенство и непорочность частной финансовой, инициа-

В отчете о деятельности Данатбанка за 1930 г. его руководители, констатируя наличие кризиса германской экономики, заявляли: «Слишком сильно проникли сегодня в капиталистический порядок элементы коллективистической организации, бездушной и плоской, потому что скверно понимаемая демократизация вторглась в жизнь во вред индивидуальности, полной предпринимательской инициативы и уверенного чувства ответственности». В доказательство того, что руководители Данатбанка представляли собою образец «индивидуума», верящего в свои силы, отчет Данатбанка, изданный в марте 1931 г., гордо заявляет: «Благодаря прибыльности нашего хозяйства, благодаря низкому уровню себестоимости, который может конкурировать с другими странами, мы привлекаем достаточно чужих капиталов и завоевываем новое место на мировом товарном рынке. Таким образом мы придем к порядку и укреплению внутренних отношений и только этим путем мы сумеем убедить мир за рубежом, что он принесет самому себе пользу, если устраним неполадки, вытекающие из несправильного отношения к Германии». Надо признать, что Якоб Гольдшмидт отличается значительно менее ясным стилем, нежели его далекий предшественник Мевиссен. Тем не менее смысл приведенной фразы из отчета Данатбанка нетрудно понять: его руководители твердо верили в живучесть сил германского неомпериализма и утверждали, что мир должен будет посчитаться с этой силой.

Так был настроен Якоб Гольдшмидт, глава Данатбанка, в марте 1931 г., и всего через каких-нибудь 3-4 месяца—13 июля того же года Данатбанк должен был закрыть свои двери, не будучи в состоянии расплатиться с кредиторами.

Нет необходимости углубляться в подробное объяснение того, почему именно Данатбанк оказался первой жертвой кризиса из числа крупнейших банков Германии. Несомненно, что некоторую роль сыграли специфические особенности его деятельности. Данатбанк под влиянием темперамента и «предпринимательского духа» такого «индивидуума», как Якоб Гольдшмидт, пускался зачастую в более рискованные предприятия, нежели другие банки, и нарушил обычную пропорцию между чужими капиталами, пущенными в оборот, и размером собственного основного капитала.

Тем не менее крах Данатбанка был обусловлен не промахами его руководителей, а действительным финансовым кризисом. Банкротство Данатбанка стало неустрашимым после того, как обанкротился северный текстильный концерн, в предприятия которого Данатбанк вложил круглую сумму в 42 млн. марок, составляющую две трети его основного капитала. Данатбанк был осужден на банкротство потому, что кризис сбыта, мировой экономической кризис и острый внутригерманский экономический кризис вели к свертыванию деятельности германской промышленности, и, как это

теперь часто говорится, капиталы Данатбанка были «заморожены».

И все-таки повидимому можно было избежать публичного банкротства, явной всем известной катастрофы, если бы не вошли в игру специфические внутрикапиталистические противоречия. Как теперь выяснилось с достаточной достоверностью, накануне 13 июля уже существовала договоренность о том, чтобы государственная казна и группа крупнейших банков оказали помощь Данатбанку и этим предупредили его формальное банкротство. Это мероприятие было сорвано крупнейшим и давнишним соперником Данатбанка—самым крупным германским банком «Дейче унд дисканто банк». Этот банк счел момент подходящим для того, чтобы столкнуть своего конкурента в пропасть финансовой катастрофы. Но через несколько дней после банкротства Данатбанка и «Дейче унд дисканто банк» должен был позорно закрыть свои двери хотя бы на время, так как не мог удовлетворить требования всех своих вкладчиков.

Якоб Гольдшмидт мог утешиться этим обстоятельством, и недаром он в день своего банкротства весело заявил газетным репортерам: мы являемся только первой жертвой, положение других не лучше...

История Данатбанка и его банкротства—это история германского капитализма. 80 лет назад он начал свою деятельность полным надежд на будущее, идя в ногу с историческим развитием. 1913 год он встретил значительно выросшим и окрепшим в боях за мировую гегемонию. Послевоенный период он использовал для попытки перестроить свои силы и сумел достигнуть больших успехов. В 1931 году мировой экономический кризис и финансовая катастрофа потрясли до основания 80-летнее здание финансового капитала.

Данатбанк как предприятие пытаются восстановить. Те промышленные концерны, которые остались должны крупнейшие суммы Данатбанку и явились косвенной причиной его банкротства, теперь пытаются захватить остатки той финансовой крепости, какой являлся Данатбанк. Но эти попытки можно уподобить попыткам жителей города, потрясенного землетрясением, скрыться от непогоды под остатками крыши и даже устроить себе жилище в разрушенном здании, несколько его обновляя. История Дармштадтского банка для торговли и промышленности закончена.

На примере Данатбанка мы видим, как события лета 1931 г. довершили то, что было сделано мировой войной и кризисом первых послевоенных лет. На примере Данатбанка мы видим, как лето 1931 г. оказалось роковым для таких твердых финансового капитала, которые не только выдержали потрясения войны, но даже сумели укрепиться в период относительной стабилизации. Ударам нынешнего небывалого кризиса эти финансовые твердыни не сумели противостоять.

Однако эти слова относятся не только к Данатбанку и не только к германскому капитализму, но и ко всей капиталистической системе в целом.

Историческое банкротство капиталистической системы

Лето 1931 г. явилось грозным уроком для всего капиталистического мира. Недаром борьба с разрастающимся финансовым кризисом в Германии понималась английскими, французскими и американскими политиками как борьба против угрозы наступления аналогичного кризиса в других капиталистических странах. Английская либеральная газета «Ньюс хроникл» непосредственно после того, как 4 июля был достигнут франко-американский компромисс введении в действие плана Гувера, писала следующее: «Если ничего не будет сделано для того, чтобы предупредить экономическую катастрофу в Германии, то повторится история 1923 года, и при этом влияние подобной катастрофы во всем мире будет значительно серьезнее, ибо мир настолько сильно потрясен, что вряд ли сумеет выдержать дополнительный удар».

Американская печать, пытающаяся сохранить «принципиальный оптимизм», высказывалась менее определенно. Однако всему миру известно, что финансовые круги Соединенных Штатов были крайне озабочены развитием германского кризиса. Отозвание американских краткосрочных кредитов из Германии явилось лишь финансово-техническим выражением этих пессимистических настроений. Недаром социал-фашистский «Форвертс», тоже «принципиальный» оптимист, когда речь идет об устойчивости капитализма, 8 июля объяснял появление плана Гувера следующим образом: «Чувство неуверенности лежит бременем на американском народном хозяйстве и препятствует продуктивному применению капитала. Эта неуверенность не может быть устранена собственными силами... Конечно не только положение Германии определяет хозяйственную депрессию во всем мире и в особенности в Америке. Но Германия кажется теперь тем слабым звеном цепи, распад которого угрожает разбить всю цепь взаимной хозяйственной зависимости. Эти соображения и привели к выводу: нужно помочь Германии, чтобы содействовать преодолению американского кризиса».

И вот «помогли» Германии. В течение года Германия не будет платить репарационной дани; отозвание иностранных краткосрочных кредитов после Лондонской конференции прекращено (правда, не вполне). «Героические» меры были приняты. И тем не менее не только положение Германии, но и более благополучных капиталистиче-

ских стран продолжает оставаться в высшей степени неустойчивым.

Не успела пожарная команда международного финансового капитала чуть-чуть локализовать бедствие, вспыхнувшее в Германии, как раздались тревожные сигналы из Англии. «Колесания английского фунта явились ударом колокола, который призвал пожарных спешно направиться на место события... Необходимы общие усилия, чтобы предупредить мировое банкротство» (французская газета «Матэн» во второй половине июля).

После длительных переговоров «общие усилия» были пущены в ход, и Англия получила франко-американский кредит в размере 50 млн. фунтов стерлингов (500 млн. руб.). Тем не менее пожар вовсе не потушен. Положение в Англии становится все более напряженным, и уже в начале августа лондонская пресса снова бьет тревогу. Газета «Манчестер гардиен» заявляет 9 августа: «Англия переоценивала свою международную финансовую мощь и попала в тиски жесточайшего кризиса». Другой влиятельный орган английской буржуазии «Обсервер» примерно в эти же дни писал: «Фунт стерлингов сейчас является предметом сомнений, подозрений и боязни для всех финансистов мира... Сити всегда чрезвычайно преувеличивал мощь Лондона как мировой финансовой силы. Мы сейчас оказались перед лицом таких грозных международных финансовых проблем, перед какими мир не стоял уже в течение многих поколений».

Весьма показательным является, что в Англии во многих отношениях повторяются те же события, какие происходили в Германии. Бурно растет безработица, увеличивается число банкротств (обанкротилась например крупнейшая в мире пароходная компания), колеблется валюта, и усиливаются стремления буржуазии при помощи жестокого ограбления трудящихся найти выход из кризиса¹⁾.

И в Соединенных Штатах после стольких «решительных» мероприятий, «благородных жестов», настоячивых выступлений положение ничуть не улучшилось. Начало августа ознаменовалось рядом новых крупнейших банкротств, новым падением цен на продукты сельского хозяйства и следовательно дальнейшим обнищанием фермерской массы, сокращением производства на крупнейших предприятиях и следовательно ростом безработицы.

Наконец чрезвычайной сенсацией явилось закрытие всех предприятий Форда, о котором уже упоминалось в начале статьи. Знаменитый гений рационализации, идол всех предпринимателей мира, Форд пал жертвой кризиса.

Соединенные Штаты, служившие в течение ряда лет «образцом» капиталистического процветания, дали вместе с тем яркий

¹⁾ Написано еще до смены правительства в Англии, образования «национального кабинета» и разработки бюджета Сноудена.

пример бесплодности попыток ослабить размах капиталистического кризиса. Как известно, в Соединенных Штатах аграрный кризис проявил свое губительное действие еще до того, как развернулся во всей широте нынешний экономический кризис. Около двух лет американские правительственные круги, твердо веря в мощь монополитического капитала, при помощи сложной системы мероприятий боролись с падением цен на сельскохозяйственные продукты; для этой цели был создан специальный правительственный орган, так наз. сельскохозяйственный департамент.

Лето 1931 г. явилось роковым и для этого капиталистического предприятия. После этого ряда неудачных попыток как-либо облегчить положение фермерских районов Соединенных Штатов, где в настоящий момент голодают чуть ли не целые штаты, сельскохозяйственный департамент выступил с предложением, которое нельзя назвать иначе, как жестом отчаяния. 12 августа сельскохозяйственный департамент официально и открыто предложил уничтожить одну треть урожая хлопка 1931 года.

Нет необходимости разъяснять смысл этого действительно потрясающего факта. Недаром американская буржуазная печать в связи с выступлением сельскохозяйственного департамента заговорила совершенно необычным для нее языком. Читатели реакционнойнейшей «Вашингтон пост» вероятно подумали, что наступил час светопредставления, когда они в своей солидной консервативной, сверхкапиталистической газете прочитали следующие слова: «Унизительным комментарием современного умственного состояния Америки и ее производительных сил, позорным крахом системы регулирования потребления и распределения является такое положение, когда при сверхизобилии, с одной стороны, и сильной нужде, с другой, необходимо уничтожить ценные продукты. Что произошло с производительными силами Америки, когда пшеницу и хлопок нужно сжигать или оставлять гнить на полях, в то время как миллионы граждан нуждаются в том и другом». Надо признать, что вашингтонская капиталистическая газета сумела сформулировать достаточно ярко вопиющее противоречие капиталистической системы. Однако «Вашингтон пост» могла бы уже давно сделать это признание, если бы хотела. Все дело заключается в том, что порок капиталистической системы, обрекающей ее на гибель, в настоящий момент, в условиях нынешнего кризиса летом 1931 г., имеет настолько вопиющие последствия, что даже буржуазная пресса вынуждена «выразить свои чувства» по этому поводу.

Можно сомневаться, понимают ли буржуазные публицисты, что они пишут и до чего договариваются. Крупнейшая американская газета «Нью-Йорк таймс» например отозвалась следующим образом на предложение американского сельскохозяйственного департамента: «Это — безумнейшее пред-

ложение из всех когда-либо исходивших от официальной организации. По всеобщему мнению, это предложение является окончательным доказательством отмирания сельскохозяйственного департамента, и нужно эту смерть как можно быстрее ускорить».

Но мы ведь знаем, что проект уничтожения третьей части американского урожая хлопка представляет собой лишь особо яркое выражение исторических противоречий, заложенных в капиталистической системе. Положение, сложившееся в величайшей капиталистической стране, поистине является «окончательным доказательством отмирания» капиталистической системы. И несомненно, что эту смерть нужно как можно быстрее ускорить.

Мы уже указывали, что не ставим своей задачей обрисовать развитие кризиса в его нынешней стадии в отдельных капиталистических странах. Приведенные факты лишь должны показать, что меры, принятые для «спасения Германии во имя интересов всего мира», и пожарные мероприятия для облегчения положения Англии, ни в какой степени не приостановили поступательного хода мирового экономического кризиса, и те удары, которые были нанесены событиями истекшего года капиталистической системе во всех крупнейших странах мира, явились толчками грандиозного землетрясения, сокрушительное действие которого продолжается.

Умиравший капитализм готовится к схватке со своим могильщиком

Тот факт, что действие катастрофы отнюдь не приостановлено, особенно остро ощущается в Германии. После краха Данатбанка, принципиальное значение которого мы обрисовали, германское правительство провело самые разнообразные мероприятия для того, чтобы избежать новых катастроф. Долгое время банки и сберегательные кассы были закрыты, потом их снова открыли, ограничив однако размер выдачи вкладов. В момент, когда угрожало полное банкротство еще одного банковского гиганта, «Дрезднер банк», руководители германской политики, наученные горьким опытом, поторопились скрыть фактическое банкротство «Дрезднер банка» тем, что государство скупило большую часть его акций. После того, как на Лондонской конференции было решено «рекомендовать» международному финансовому миру приостановить отозвание кредитов из Германии, германское правительство приняло свои меры, установив ряд жестких ограничений для вывоза валюты.

Но борьба с финансовым кризисом не принесла и не могла принести действительного успокоения.

Финансовый кризис явился лишь одним из наиболее острых, наиболее тревожных проявлений общего экономического кризиса в Германии. Уже по этой одной причине меры, предупреждающие возмож-

ность полного финансового банкротства, не могут приостановить поступательного хода общего экономического кризиса. Но мало того, финансовый кризис лета 1931 г. еще только скажется в жизни Германии. Если летом иностранные кредиторы германских банков забирали свои деньги из Германии и тем нанесли серьезный удар германскому хозяйству, то осенью германские кредиторы германской промышленности забирают обратно свои деньги, и во всяком случае прекращают или ограничивают предоставление кредитов. В результате только теперь волна финансового кризиса, перехлестнув через банки, докатилась до промышленности.

Финансовый кризис истекшего лета—это только одна из страниц книги кризиса. Теперь открывается новая, еще более мрачная страница: осень, а затем грозная зима.

По истечении месяца со времени финансовой катастрофы, 15 августа, глава германского правительства Брюнинг сделал следующее, в высшей степени пессимистическое признание: «Наступающая зима будет самой тяжелой зимой для Европы за сто лет. На Германии это отразится самым жестоким образом. Германии приходится считаться с тем, что число безработных возрастет до 7 млн., содержание этих безработных представит весьма трудную проблему для германского государства и городов. К этому надо прибавить и то, что непрочность нашего финансового положения подорвет финансовую устойчивость также и соседних государств, а этот фактор в свою очередь будет иметь обратное воздействие на наше положение, толкая нас в трясину, из которой мы начинаем пошемному выбираться».

Такое тревожное заявление обычно весьма сдержанного германского рейхскампфера связано не только с перспективами экономического развития Германии, но и с политическими заботами немецких капиталистов. Пример Германии показывает, в каком направлении развивается экономический кризис. Он перерастает в кризис политический. Неизбежность этого процесса была указана т. Сталиным еще на XVI съезде партии.

Лето 1931 г. и в этом отношении явилось переломным моментом. В ряде стран обострение экономического кризиса привело к острым политическим конфликтам. Не всюду этот процесс уже окончательно оформился. В странах юго-восточной Европы, например в Венгрии, Румынии, несомненно еще только предстоят события, в которых выразится напряженность политической атмосферы, острота социальных противоречий, обусловленная тем, что углубление кризиса летом 1931 г. частично парализовало хозяйственную жизнь в этих странах и поставило массы перед угрозой полной нищеты.

В Германии расширение и углубление политического кризиса получило свое наиболее яркое выражение в событиях, предшествовавших и последовавших за народным голосованием Пруссии, состоявшемся 9 августа. Напомним, что плебисцит в Пруссии был посвящен вопросу о досрочном роспуске прусского ландтага. Успех голосования означал бы падение прусского правительства, возглавляемого социал-фашистами. Кампанию за досрочный роспуск ландтага начала военизированная организация крупного капитала—«Стальной шлем».

Однако в начале июля германская коммунистическая партия призвала своих сторонников использовать народное голосование 9 августа для того, чтобы провести в парламентескую мобилизацию масс под революционными лозунгами единого фронта всех трудящихся против эксплуататоров, единого пролетарского фронта против фашизма.

Активность коммунистической партии сильно смутила реакционных инициаторов народного голосования в Пруссии. Перед самым 9 августа уже начались закулисные переговоры об отмене народного голосования. Но остановить ход событий уже было трудно. 9 августа состоялось красное народное голосование против социал-фашистского правительства в Пруссии.

Вся буржуазная печать не только Германии, но Англии, Франции и Соединенных Штатов объявила, что голосование 9 августа явится испытанием для нынешнего режима не только в Пруссии, но и во всей Германии. Исход голосования, не давшего требуемое количество голосов для досрочного роспуска нынешнего прусского парламента, казалось, должен был вызвать удовлетворение среди тех буржуазных политиков, которые с таким волнением ждали 9 августа. Между тем настроением буржуазной печати было отнюдь не восторженным. Более того, попытки социал-демократических газет, выступавших в данном случае не только в качестве слуг финансового капитала, но и в качестве рупора определенной правящей буржуазной клики—провозгласить 9 августа днем победы буржуазной республики,—встретили решительный отпор со стороны более трезвых буржуазных газет. Орган умеренного крыла народной партии «Кельнские цейтунг» заявил например с брезгливостью 11 августа: «Самая крупная социал-демократическая газета повиновалась совсем потеряла чувство меры и чувство достоинства. Она испускает истерические крики триумфа». Между тем оснований для триумфа вовсе нет. Оценка, данная голосованию 9 августа международной буржуазией, достаточно ясно выразилась в поведении парижской биржи: в момент получения известий о том, что народное голосование не привело к падению социал-фашистского прусского правительства, курсы на парижской бирже несколько поднялись, но после получения более

подробных сведений акции в Париже снова упали.

Чем же объясняется тот факт, что формальная неудача народного голосования 9 августа не вызвала прилива бодрости в лагере буржуазии? Это объясняется тем, что, несмотря на полицейский террор, несмотря на сложность маневра, предпринятого коммунистической партией, несмотря на закрытие коммунистических газет, 9 августа было днем красного народного голосования; 9 августа показало, что компартия уже обладает значительной организационной силой, что в промышленных центрах компартия может мобилизовать значительнейшие массы рабочих, что во всей стране популярность коммунистической партии растет. Кампания по подготовке всенародного голосования в Пруссии и самое голосование, как это признает и буржуазная печать, представляли собой действительно внепарламентскую мобилизацию масс под революционными лозунгами коммунистов. Капиталистический мир увидел, что германская коммунистическая партия представляет собой грозную силу, за которой стоят подлинныи массы.

Тотчас же после подведения итогов народного голосования начались жесточайшие правительственные репрессии против коммунистической партии. Орган компартии «Роте фане» был закрыт на 10 дней; здание ЦК компартии захвачено полицией; ряд работников коммунистической партии посажен в тюрьму. Вся германская буржуазная печать от национал-социалистов до социал-фашистов повела ожесточеннейшую травлю коммунистической партии. Прусское социал-фашистское правительство поставило вопрос о запрещении коммунистической партии, и вся буржуазная печать подхватила это требование. Примерно за две недели до народного голосования вождь германской коммунистической партии тов. Тельман заявил, что, по имеющимся достоверным сведениям, между германскими и иностранными правительственными кругами ведутся переговоры о запрещении коммунистической партии. Это разоблачение подтвердилось на практике после 9 августа.

В разгаре потрясений лета 1931 года крупный германский политик проф. Гетча писал (в статье от 1 июля в «Нойе цюрихе цейтунг»):

«Шаг Гувера—это борьба против большевистской опасности в Германии. Не нужно забывать, каковы глубокие внутренние причины волнующих событий сегодняшнего дня; эти причины следующие: длительность и неслыханный размах экономического кризиса, напряженное социальное положение и сознательность масс, слабость, беспомощность капиталистического хозяйства, сеть международной золотой, кредитной и долговой зависимости, возмущительно медленное развитие международного сотрудничества, трудность приспособления к новой народнохозяйственной

ситуации нынешнего высокоразвитого капитализма и наконец и прежде всего влияние на настроение сведений, идущих из России, психологическое воздействие самой мысли о возможности успеха пятилетнего плана».

Ход событий в течение июля и августа и в частности 9 августа, день народного голосования в Пруссии, показали, что ни шаг Гувера, ни все прочие меры по борьбе с кризисом не приостановили действия тех факторов, которые были перечислены в статье проф. Гетча. Буржуазия вынуждена считаться с дальнейшим «психологическим» влиянием известий об успехе социалистического строительства в СССР, с растущим революционным подъемом международного пролетариата и в особенности германского рабочего класса.

Между тем все более ухудшающееся экономическое положение Германии и фактическая неудача международных мероприятий «по спасению Германии» предопределяют стремление германской буржуазии еще раз сделать отчаянную попытку отыграться на интересах рабочего класса. Германский финансовый капитал и его союзники и кредиторы за пределами Германии считают насущной задачей германского правительства организацию широкого наступления на материальное положение широких масс трудящихся. Буквально вся германская буржуазная печать, вплоть до «научных» экономических журналов, заявляет, что единственный выход из положения, это—сужение потребления масс, уменьшение прожиточного минимума населения Германии, сокращение заработной платы. «Строительство национального государства на основе жесткого ограничения потребностей»—так сформулировал лозунг дня германской буржуазии экономический журнал «Виртшафсдинст». Смысл ближайших экономических мероприятий германской буржуазии расшифрован до конца газетой верхнесилезских промышленников «Шлезисхе цейтунг», которая высказалась следующим образом: «Предпосылкой для успешного проведения «национальной самопомощи» является в первую очередь объединение всех национальных сил в Германии. Враг стоит не за рубежом, он находится внутри страны. И этот внутренний враг должен быть уничтожен всеми средствами».

Внутренний враг должен быть уничтожен,—говорит германский промышленный капитал, когда выдвигает на первый план проект национальной самопомощи. Уничтожьте внутреннего врага,—требуют иностранные кредиторы Германии, когда они заявляют, что Германия должна «установить порядок в собственном доме» и, как выразился Макдональд, «найти внутренние силы» для борьбы с кризисом. Бейте коммунистов, смелей пускайте в ход огнестрельное оружие,—требуют от правительства германские фашисты. И социал-фа-

пистолетный министр внутренних дел Зевринг отдает приказ по полиции, требующий более свободного и смелого применения боевых патронов против рабочих демонстраций.

Классовые противоречия встали в Германии во весь рост. Террор против рабочего класса принимает все более разнузданные формы. Пролетариат отвечает на них контр-наступлением. Если первые летние месяцы ознаменовались крупными экономическими потрясениями, то в августе уже полыхают зарницы новых жестоких социальных конфликтов.

Но это наблюдается не в одной Германии. Уже в Англии тоже обсуждается проект «национальной самопомощи», построенный на тех же принципах, что и германский. Если в Германии Брюнинг пытается создать единый фронт от социал-фашистов до националистов включительно, то в Англии Макдональд созывает совещание лидеров всех трех буржуазных партий для разработки единой программы, той самой, о которой лебористский министр финансов Сноуден сказал, что она должна содержать «неприятные меры», требующие «жертв от рабочих»¹⁾.

В катастрофических событиях лета 1931 года полностью сказались основные внутренние противоречия капиталистической системы. Разрушительные силы экономического кризиса прорвались наружу и нанесли тяжкие удары капиталистической системе. Но действие этих сил ведет к накоплению новых взрывчатых веществ, и это обуславливает угрозу новых потрясений уже в социальной области. Повинуясь неизбежным историческим законам, буржуазия сама идет навстречу своей гибели. Кризис капитализма в результате об-

острения социальных конфликтов не смягчится, а, наоборот, еще более обострится.

Ни план Гувера, ни международные финансовые конференции, ни международные кредитные операции, ни проекты «национальной самопомощи», ни наступление на трудящихся в отдельных странах, ни продолжающаяся подготовка капиталистической интервенции в СССР, ни террор против отдельных коммунистических партий, ни политика экономической блокады против Социалистического Советского Союза — ни одна из этих затей буржуазии не может приостановить углубление кризиса капитализма, о котором столь грозно сигнализирует лето 1931 года.

В июле газета германской правительственной католической партии, лидером которой является рейхсканцлер Брюнинг, устами автора передовой статьи спрашивала: «Исключительный размах, равно как необычайная глубина нынешней экономической депрессии не только у нас, но и во всем мире, побуждает поставить вопрос — имеем ли мы дело только с кризисом нынешних капиталистических форм хозяйства или речь идет о том кризисе, который означает вообще конец капиталистической системы?»

Да, речь идет именно о том кризисе, который означает исторический конец капиталистической системы. События лета 1931 года это показали с полной очевидностью

Середина августа 1931 года.

2. ПОДВИГИ ГЕНЕРАЛА УРИБУРУ

С. Гальперин

Южноамериканские революции и экономический кризис

В малограмотном официальном сообщении о полицейском налете на правление Южамторга правительство аргентинского диктатора генерала Урибуру пыталось оправдать свои разбойничьи действия ссылкой на то, что Южамторг проводил пресловутый «демпинг» и тем самым содействовал усилению экономического кризиса в Аргентине и других республиках Южной Америки. В этой экзотической фактистике верно лишь то, что между экономическим кризисом в Южной Америке и налетом на Южамторг существует известная связь; но связь эта прямо обратна той, которая устанавливается в сообщении ар-

гентинского правительства: не Южамторг довел Южную Америку до кризиса, а, наоборот, экономический кризис в южноамериканских республиках и в частности в Аргентине был отправной точкой тех событий, которые завершились разгромом Южамторга молодцами генерала Урибуру.

Постараемся восстановить цепь событий.

С середины прошлого года в странах Латинской Америки произошел ряд революционных переворотов, серия которых не закончилась и в настоящее время: август текущего года ознаменовался восстаниями в Бразилии, Перу и Кубе. Уже после первых этих переворотов, еще в сентябре прошлого года английская газета «Manchester Guardian» писала:

«Революции, которые смели сперва д-ра Силеса, диктатора Боливии, затем перуанского президента Легюя и наконец старого Ирригойена, диктатора Аргентины, — все

¹⁾ Образование «национального правительства» явилось ярким выражением отмеченных нами тенденций.

имели экономическую основу, и во всех этих случаях не на президенте лежала главная вина за плохое экономическое положение в стране. Южная Америка целиком зависит от своего экспорта: Боливия живет вывозом меди и олова, Перу вывозит сахар, шерсть и нефть, Аргентина является житницей целого ряда стран. Падение мировых цен, за которые злополучные президенты не могут нести ответственности, отозвалось на этих странах очень тяжело. Население этих стран неграмотно и невежественно и видит виновников бедствия в главах государства... Самая природа американских конституций приводит к тому, что недовольство правительством приводит к революции. Ибо президент с момента избрания обладает правами почти монарха: он назначает министров, ведет внешние сношения, он — начальник всех военных сил, он несомненно до конца своих полномочий. В Сев.-Амер. Соединенных Штатах власть президента умеряется культурностью народа и наличием организованных партий. В южноамериканских республиках этого нет» («Manchester Guardian» 8 сент. 1930 г.).

В основном «Manchester Guardian» права. Часто приводится фраза, что революция, это — просто особая форма президентских выборов в республиках Латинской Америки. Разница однако в том, что южноамериканские революции не всегда совпадают со сроками смены президентов. И по существу причину этих революционных смен правительства надо искать в экономической области. Недаром в Америке приводят в качестве исключительного примера «гватемальского царя» Кабрера, который сумел выдержать не только такое испытание, как сильное землетрясение, но и падение цен на кофе.

Экономические потрясения, которые пришлось пережить южноамериканским республикам за два последние года, по своим последствиям превосходят любое землетрясение. Аграрный кризис в странах Южной Америки начался даже раньше кризиса в САСШ. Цены на кофе уже к августу-сентябрю 1929 г. упали на одну треть по сравнению с концом 1928 г.: с 90 до 60—65 пфен. по курсу гамбургской биржи. Для Бразилии и Колумбии это означало разорение. Падение цен на сахар уже лет 5 подрывает экономическое благосостояние Кубы и британской Вест-Индии. Падение цен на хлеб, первые признаки которого наблюдались уже с 1927 г., катастрофически действовало на народное хозяйство Аргентины и Уругвая.

Положение еще обострилось после окт. 1929 г., когда крах на нью-йоркской бирже громогласно возвестил начало величайшего кризиса капитализма. Уже через месяц после этого краха цены на кофе упали до 35—40 пфеннигов, т.е. понизились более чем вдвое по сравнению с концом 1928 г. Но и по этим низким ценам продукция почти не находила сбыта, и владельцы плантаций в отчаянии принялись за массо-

вое истребление кофе в надежде этим путем добиться повышения цен.

В отчаянном положении очутилась и Боливия. Резкое сокращение автомобильного производства в САСШ вызвали сокращение спроса на олово, которое составляет одну из важнейших статей в экспорте этой республики. Мексика пострадала вследствие резкого падения цен на серебро. Наконец принявшее с конца 1929 г. катастрофический характер падение цен на хлеб привело к значительному ухудшению торгового баланса Аргентины и Уругвая и к уменьшению золотых запасов Аргентины.

По данным американского журнала «Annalist», оборот внешней торговли республик Латинской Америки сократился с 4 млрд. долларов в 1929 г. до 2 млрд. долларов в 1930 г. А между тем активный торговый баланс является неременным условием устойчивости финансовой системы этих стран. Только превышение экспорта над импортом обеспечивает уплату по внешним долгам и процентов по иностранным капиталовложениям.

По данным того же «Annalist», внешняя задолженность латиноамериканских республик составляет в настоящее время свыше $3\frac{1}{2}$ млрд. долларов, а ежегодные платежи по ним достигают 225 млн. долл. в год. Вместе с уплатой процентов по иностранным капиталовложениям в Латинской Америке общая сумма ее валютных платежей достигает 709 млн. долларов в год. Все же в расчетном балансе латиноамериканских республик 1929 г. эта сумма была перекрыта активным сальдо по внешней торговле, составившим 760 млн. долларов. Но уже в 1930 г. расчетный баланс дал пассивное сальдо в 184 млн. долларов, ибо активность торгового баланса упала до 525 млн. долл.

В итоге Перу, Боливия, Чили уже очутились в положении банкротов, отказавшись платить по своим долгам. Недалека от этого и Аргентина, хотя правительство Урибуру и опубликовало составленное в высокопарных выражениях опровержение слухов о том, что оно намерено требовать, чтобы гуверовское предложение о годичном моратории по государственным внешним долгам было распротранено и на долги латиноамериканских республик.

«Annalist» считает, что финансовый кризис в республиках Латинской Америки хотя и представляется менее острым, чем в Германии, но имеет более глубокий, затяжной характер. Падение цен на товары колониального характера приводит и к свертыванию той, пока еще слабой промышленности, которая занимается переработкой на месте сельскохозяйственного и технического сырья. В Бразилии наблюдается даже тенденция к переходу на потребительские культуры вместо экспортных, т.е. в сущности к восстановлению натурального хозяйства. Все эти явления, наблюдавшиеся уже в течение последних трех-четырех лет, еще обострились, как мы уже указывали,

со времени кризиса в Соединенных Штатах, которые являлись основными потребителями экспортной продукции республик Латинской Америки.

Вашингтонские и лондонские дирижеры южноамериканских революций

В цитированной выше статье «Manchester Guardian» пишет: «Доктрина Монро была той формулой, при помощи которой Северная Америка подчиняла южноамериканские республики своему экономическому контролю. Теперь Южная Америка начинает смотреть на дельцов САСШ как на главную причину всех своих несчастий, а так как эти дельцы вели дело с существовавшими в южноамериканских республиках правительствами, то недовольство американским влиянием перекладывалось и на эти правительства».

Либеральный английский орган с скрытым удовольствием отмечает этот направленный против САСШ оттенок южноамериканских революций и дает поэтому «демократическое» отпущение революционных грехов отсталому населению Перу и Боливии, которое в силу особенностей конституции не имеет другого средства, кроме восстания, для смены непопулярных президентов. Но отношение «Manchester Guardian» резко меняется, как только речь заходит о перевороте в Аргентине.

«Так как Аргентина является наиболее цивилизованным государством в Южной Америке, то военный переворот в этой стране является более неблагоприятным и деморализующим событием, чем восстания в Перу и Боливии. Но именно потому, что оно является там менее естественным, можно надеяться, что оно будет и менее длительным».

Недовольство английской газеты милитаристическим характером восстаний, в результате которого вместо прежнего «радикального» президента д-ра Ирригойена пришел к власти генерал Урибуру, имеет однако под собой вовсе не демократическую основу. Причина лежит в другом: свергнутый аргентинский президент Ирригойен был наиболее яростным противником североамериканской гегемонии и поддерживал с Англией тесные торговые сношения. Аргентина была тем плацдармом, на котором английский капитал не без успеха боролся с финансовым капиталом САСШ.

Это соперничество английского и североамериканского империализма необходимо всегда принимать во внимание при рассмотрении борьбы политических партий или, лучше сказать, группировок и течений, объединяющихся вокруг тех или иных кандидатов в президенты. Правда, в очень многих республиках Южной Америки Англия недостаточно влиятельна, чтобы непосредственно воздействовать на ход и исход «революций» — там работают почти исключительно вашингтонские дирижеры, велико-

лепно умеющие обрабатывать всех президентов, в том числе и тех, которые парадируют перед массами в роли борцов против «империализма янки». Но в Мексике, Аргентине и Бразилии борьба между английским и североамериканским влияниями ведется не только в области финансово-коммерческой, но и непосредственным образом отражается на характере государственной власти этих республик.

Примером вашингтонской обработки южноамериканских переворотов может служить свержение перуанского диктатора Легюя полковником Санчеэ Церро. Легюя четыре раза был президентом Перу, два раза спасался бегством, но потом приходил к власти благодаря поддержке САСШ, по отношению к которым он был фактическим комиссионером. Естественно, что и борьба против президента Легюя носила антиамериканский характер. Но в Вашингтоне быстро учли непопулярность Легюя, который держался только террором. Не получив займа, о котором он хлопотал в САСШ, Легюя повидимому стал маневрировать в сторону соглашения с Англией. Тем временем его свергла военщина, недовольная сбавкой жалованья командному составу. Руководитель военного мятежа полковник Церро пытался первое время носить маску «левого» и противника североамериканского империализма, но скоро пошел по проторенной его предшественником дорожке. Сейчас Легюя содержится в казематах одиночной тюрьмы на острове Сан-Лоренцо в ожидании суда по обвинению в незаконном обогащении во время своего президентства, а его преемник расстреливает бастующих рабочих на рудниках американских концессионеров.

Революция в Боливии была направлена против другого ставленника САСШ д-ра Силеса. Силес был типичным демагогом фашистского типа, не останавливавшимся перед всякого рода поборами буржуазии (в форме принудительных займов), и врагом крупных землевладельцев. Американские дельцы тем не менее поддерживали его, так как нажим Силеса на «отечественных» промышленников усиливал позиции североамериканского капитала. Силес оказал САСШ и другую услугу, отклонив предложения аграрных кругов об экспортной пошлине на олово, являющееся главным предметом боливийского экспорта в Соединенные Штаты. Когда начался экономический кризис, приведший к падению цен на олово ниже его себестоимости на рудниках Боливии и к росту безработицы, против Силеса началось массовое восстание, в котором принимали участие и пролетарские элементы. Восстание было успешным, но плоды его использовала оппозиционная военщина, представителем которой генерал Галиндо занял пост нового главы правительства. Новый диктатор немедленно сговорился с Вашингтоном.

Бразилия была классической страной, где борьба партий была тесно связана с внешней экономической политикой. Стоящая последние годы у власти консервативная

партия, отражавшая интересы плантаторов, сделала гвоздем своей политики искусственное поддержание цен на кофе на высоком уровне путем регулирования сбыта (так называемая политика валоризации). Против валоризации выступали либералы, которых условно можно назвать партией городской буржуазии, хотя к ним примыкала и часть землевладельцев скотоводческих районов. Консерваторов поддерживала Англия, так как повышение цен на кофе было по карману североамериканских потребителей бразильского кофе.

Соединенные штаты естественно были опорой либералов, не выступая однако открыто против консервативного правительства. Но когда политика валоризации кончилась полным провалом и либералам удалось свергнуть консервативного президента Лукаса, нью-йоркские банки поспешили извести захватившего власть либерального кандидата в президенты, что они готовы предоставить в распоряжение образованного им правительства заем на любую сумму.

Бразилия — отсталая земледельческая страна. Но в Рио-де-Жанейро и в штате Сан-Паоло имеется уже и промышленный пролетариат. «Бразильское восстание знаменательно тем, что в нем в качестве третьей силы с самостоятельными классовыми лозунгами впервые выступал пролетариат, руководимый нелегальной компартией. Новому диктатору пришлось с пулеметами и аэробомбами разбивать рабочие баррикады в Сан-Паоло и Рио-де-Жанейро. Рабочие 25 октября штурмовали в Сан-Паоло тюрьму Камбучи и освободили политзаключенных. От бразильской Бастилии остались одни обгорелые стены. Подавленное восстание пролетариата было только первой стычкой. Колоссальная южноамериканская страна только вступает в полосу не менее колоссальных классовых битв». Так пишет в своей недавно вышедшей книге «Южная Америка» С. Севин.

Во время революций в Перу, Боливии и Бразилии дирижерская палочка полностью находилась в руках Соединенных Штатов. Англия лишь пассивно поддерживала консервативного кандидата в президенты Бразилии Престеса. Более резко англо-американское соперничество обнаружилось в связи с революционным переворотом в Аргентине.

Как мы уже говорили, Аргентина является плацдармом английского влияния в Южной Америке. До войны английский экспорт во всю Латинскую Америку значительно превосходил североамериканский. В частности в Аргентину было ввезено в 1912 г. товаров из Англии на сумму 23.789 тыс. ф. стерлингов, а из САСШ — только на 11.823 т. ф. Но уже в 1926 г. Соединенным Штатам удалось несколько обогнать Англию, которая ввезла в Аргентину на сумму 23.649 т. ф., тогда как экспорт из САСШ достиг цифры в 28.145 т. ф. стерлингов. Англия однако продолжала борьбу и не без успеха: так, в 1930 г. вложение английских капиталов в страны Южной Америки

достигли суммы в 22,3 млн. ф. ст. против 15,3 млн. ф. ст. в 1929 г. В 1929 г. Аргентину посетила специальная торговая миссия лорда д'Эбернона, а в 1930 г. в качестве комми-вожера английского империализма в Аргентине выступил сам принц Уэльский.

Успеху английского влияния содействовал рост городской буржуазии, объединившейся вокруг партии радикалов. Городская буржуазия была настроена против господства американского капитала, видя в нем своего конкурента. Проникновение английского капитала представлялось ей менее опасным, ибо у Англии не было тенденции политически подчинить себе весь американский континент, на что претендовали Соединенные Штаты Сев. Америки.

С 1853 г. по 1916 г. власть в стране принадлежала помещичьей консервативной партии. Но в 1916 г. радикалам после победоносного восстания удалось провести на пост президента своего кандидата Ирригойена. От большинства южноамериканских президентов Ирригойен отличался личной честностью, внешним демократизмом и был несомненно одним из популярнейших диктаторов в странах Латинской Америки. Он ревниво стоял на защите независимости внешней политики Аргентины и вопреки нажиму САСШ отказался участвовать в войне против Германии и затем в блокаде Советской России.

Но в то же время он был типичным диктатором и своим «своевластием в конце концов довел радикальную партию до раскола, причем за одной фракцией сохранилось название персоналистов (т.е. личных сторонников Ирригойена), а за другой — антиперсоналистов. В 1922 г., когда истек срок полномочий Ирригойена, антиперсоналистам удалось провести на пост президента своего кандидата Альвеара. Но тенденция последнего к восстановлению экономического застоя землевладельцев имела своим результатом поднятие престижа персоналистов с Ирригойеном во главе.

В 1928 г., когда состоялись новые президентские выборы, Ирригойен, будучи уже 75-летним стариком, был выбран в президенты большинством 87 проц. голосов, причем он не вел никакой избирательной кампании, не выступал с речами и не выдвигал никакой программы. Его победа объяснялась его личной популярностью в кругах интеллигенции, мелкой и средней буржуазии. Поддерживали его и «социалистические» организации Аргентины.

Став решительно во время своего второго президентства на путь соглашения с Англией, он довел отношения между Аргентиной и Соединенными Штатами до крайнего обострения, и это было одной из причин его гибели.

По указке Вашингтона

В кругах аргентинской буржуазии эта антиамериканская позиция имела успех, но все же популярность Ирригойена сильно потускнела в связи с теми бедствиями на-

селения, которые постигли Аргентину в эпоху экономического кризиса. При закулисной поддержке Валпингтона против Ирригойена образовался блок, в который вошли как консерваторы, так и радикалы-антиперсоналисты.

Трудное финансовое положение заставило Ирригойена, несмотря на все его американофобство, заключить в апреле 1930 г. краткосрочный заем в нью-йоркском банке «Четэм Феникс Корпорэшен» на сумму в 50 млн. долл. Срок этому займу истекал 1 окт., и Ирригойен вел переговоры с разными банками о его возобновлении. Вопрос об этом займе был повидимому той осью, вокруг которой разыгралась революция. В то время, как Ирригойен стремился заключить заем у английских банков, его противники, получив повидимому финансовую поддержку заинтересованных нью-йоркских банков, перешли в решительное наступление, и 6 сент., за 24 дня до заключения нового займа, произошло военное восстание, в результате которого Ирригойен был свергнут и власть перешла в руки генерала Урибуру.

Этот последний сразу выступил как ставленник Вашингтона. Он заявил, что одной из важнейших его задач является тесное сотрудничество с САСШ и активное участие в пан-американском союзе. Он дал понять, что новый заем будет заключен в Соединенных Штатах и отказался ратифицировать торговое соглашение с Англией, заключенное во время посещения Аргентины миссии лорда д'Эберна.

Полученный генералом Урибуру заем в 50 млн. долл. сильно укрепил его положение. Но он не мог предотвратить катастрофических последствий мирового кризиса. Цены на пшеницу на мировом рынке продолжали падать, достигнув к середине 1931 г. рекордно низких цифр. А это означало и огромное снижение ценности аргентинского экспорта. Недовольство охватило самые различные слои аргентинского населения. Те самые организации, которые поддерживали Урибуру во время произведенного им переворота, вскоре перешли в оппозицию. На выборах в провинции Буэнос-Айрес, несмотря на все давление диктатуры Урибуру, персоналисты (ирригойенисты) собрали большинство голосов. Началось брожение среди рабочих и голодающих арендаторов.

Власть нового диктатора оказалась очень ненадежной. Его опорой являлась политика террора да поддержка его американских покровителей.

Как и все непопулярные правители, Урибуру попытался отыграть на борьбе с красной опасностью. Компартия была загнана в подполье, в обращение был пущен ассортимент антисоветских фальшивок.

Увенчанием этой политики явился сделанный в угоду его американским покровителям налет на Южамторг. Необходимо констатировать, что это уже второй случай, когда под давлением САСШ республики Латинской Америки выступают против торговли с Советским Союзом. Когда в Мексике послу САСШ Двайту Морроу удалось до-

биться соглашения с правительством Кайеса, то непосредственным следствием этого соглашения явилось не только отдача Мексики на откуп североамериканским нефтяникам, но и совершенно ничем не мотивированный разрыв дипломатических сношений с Советским Союзом.

С Аргентиной у нас не было дипломатических отношений, но для ведения торговых операций была создана акционерная компания, известная под именем Южамторга. Именно против нее и направил свой удар генерал Урибуру, желая выслужиться перед своими вашингтонскими хозяевами. 31 июля совершен был налет на контору Южамторга, и все 160 сотрудников его были арестованы. Полиция действовала при этом с грубостью, присущей тем бандитам, которыми окружают себя все диктаторы типа Урибуру, могущие держаться лишь штыками (пока они ему повинуются) и американским золотом.

Бессмысленность этого налета была в глаза. Правительство всячески муссировало фантастические бредни об опасностях, которые грозят Аргентине со стороны «красной торговли». Но никакие произведения полицейского творчества не могли затушевать того факта, что наши закупки в Аргентине в несколько раз превышают сумму нашего экспорта в эту страну. Удар по Южамторгу был равносильен удару по аргентинскому экспорту в СССР. Нелепый сам по себе, этот удар был еще более бессмыслен, когда падение аргентинского экспорта поставило эту республику перед угрозой самого острого финансового кризиса.

Антисоветская выходка Урибуру кончилась полным провалом. Срыв экспортных операций Южамторга вызвал недовольство среди экспортеров Буэнос-Айреса, и уже через несколько дней полиция попыталась заставить сотрудников Южамторга под конвоем продолжать работу и пригласила председателя Южамторга т. Минкина, находившегося в момент налета в Монтевидео (столица республики Уругвай), приехать в Буэнос-Айрес для переговоров, гарантируя ему свободный выезд из Аргентины.

Все эти полицейские уловки кончились, газумеется, провалом, а собрание акционеров Южамторга постановило перенести свои закупочные операции из Аргентины в Уругвай. Кампания всяких полицейских «разоблачений» также провалилась, и к середине августа полиция оказалась вынужденной выпустить на свободу всех арестованных сотрудников Южамторга.

Интересы СССР в конечном счете от всей этой истории не пострадали. Этого нельзя сказать об инициаторах налета на Южамторг. Принимая во внимание общий рост недовольства диктаторским режимом американского ставленника Урибуру, можно думать, что совершенный им налет явится для него таким же «предсмертным» подвигом, каким был налет на Аркос для правительства Болдуина в Англии.

Книжное обозрение

1. **ВАСИЛИЙ КУДАШЕВ** „Кому светит солнце“. Т. Николаева.— 2. **Б. ЛЕВИН** „Жили два товарища“. Т. Николаева.— 3. а) **И. РУДИН** „Галагай“, б) его же „Дикое“. Д. Гельман.— 4. **СЕРГЕЙ ТРЕТЬЯКОВ** „Месяц в деревне“. Арк. Глаголев.— 5. **АНАТОЛИЙ КУДРЕЙКО** „Сердце мира“, И. Поступальский.— 6. **И. ФЕФЕР** „Сборник стихов“. К. Локс.— 7. **ВААН ТОТОВЕНЦ** „Изъезд на древнеримской дороге“. К. Локс.— 8. **М. А. ЦВЕТКОВ** „Книга воспоминаний о Пушкине“. И. Сергеевский.— 9. **В. А. СОЛОГУБ** „Воспоминания“. И. Сергеевский

Василий Кудашев.— «Кому светит солнце». «Московское творчество писателей». 1931 г. Стр. 262. Ц. 1 р. 80 к.

Пассивное принятие жизни, чувство примирности, стремление замкнуться в узком мире личных переживаний, своеобразный гуманизм, склонность к фиксации моментов физического распада (смерть, самоубийство)— вот что является характерным для мироощущения Кудашева, питающегося настроениями «Вишневого сада» и элегических раздумий Буннина.

Особенно показателен для писателя рассказ «Вукол». В центре рассказа — деревня, но деревня, данная не в процессе интенсивной социалистической перестройки, а деревня—вне времени и пространства: автор прошел мимо важнейших общественных сдвигов, происходящих сейчас в советской деревне.

Для автора характерно то, что социальная природа его героев совершенно не дифференцирована. Классовый человек заменен человеком с большой буквы. Аполитизм Кудашева, его неумение понять язык современности, красной нитью проходит через всю книгу (исключение «Юг на север» — очерк, совершенно случайно попавший в сборник).

В повести «Кому светит солнце» автор пытается разрешить проблему «обреченных» (в понятии Кудашева), у которых нет никаких перспектив и которым не светит солнце. Однако поиски «солнца» для обреченных кончатся ничем. Герой повести Юрий, сын попа, чувствует, что почва ускользает из-под ног той социальной группы, к которой принадлежит он, его отец и ему подобные. Пытается найти новые пути в жизни — вступает в комсомол, но неудач-

но. Кончает жизнь самоубийством. Проблема «обреченных» выпукло обнажает внутренний мир Кудашева, мир противоречий, сомнений и смятенности.

Нечеткость авторского мировоззрения, бесформенность его творческой установки не позволяют ему разрешить конфликт в той плоскости, в которой это надобно сделать. Конфликт, пропущенный сквозь призму ущемленного мироощущения писателя, получил искривленное и неверное изображение. Позиция автора в создавшемся конфликте двойственна. Интуитивно Кудашев на стороне своего «обреченного» героя, логика же толкает его на признание комсомола как большого решающего и действительного фактора. Здесь опять приходится признать, что писатель не понимает и не в состоянии разобраться в сложном социальном переплете сегодняшней действительности. Повесть слаба и с точки зрения внешнего оформления. Провал повести не случаен. Аполитизировав свое творчество от современности, писатель при первом серьезном столкновении с ней оказался побежденным и как идеолог, и художник.

Т. Николаева.

Б. Левин.— «Жили два товарища». ГИХЛ. 1931 г. Стр. 175. Ц. 1 р. 85 к.

«Если умереть было достаточно (для революции.—Т. Н.) в девятнадцатом году, то сейчас это мало. Сейчас надо еще работать». Эта формулировка председателя комиссии по чистке, эпизодически выведенного в книге, является по существу тем критерием, на котором базируется автор. Автор пытается разрешить чрезвычайно интересный идеологический конфликт ме-

жду романтикой революции и ее социалистическими буднями, конфликт, который находит себе почву в бытии тех общественных групп, которые в значительной степени находятся еще во власти романтики первых лет революции и которые создают поэтому искусственную стену между героикой гражданской войны и мирным строительством. Главные персонажи повести Корчагин и Дебеч, коммунисты, студенты университета. И Корчагин и Дебеч прошли через несколько исторических отрезков и каждый по-своему болезненно реагирует на социальные сдвиги, происходящие в нашей стране.

Корчагин принес в эпоху строительства воспоминания о боевых годах гражданской войны, мечты о будущей войне, в которой падут все капиталистические армии, нетерпимость к строительным будням, неумение видеть и ощущать пафос создания новых социалистических форм бытия. Тенденции к отрицанию культуры, равнению по нищему в струпьях и одновременно стремление к мелкобуржуазному уюту являются причиной психологической раздвоенности Корчагина. Последнему стыдно; что он «чистенький, умытый, сытый и причесанный». Мир социалистических будней, пропущенный сквозь призму мироощущения Корчагина, подвергается соответствующему процессу перерождения. Возникает опасность некоего «мирного обрастания», забвения тех лозунгов и идей, которые стимулировали социальную активность революционера.

Здесь перед молодым писателем возникают большие трудности—выдержать определенную дистанцию между героем и самим автором, не подменять общее частным, дать антигезис искривленному мироощущению Корчагина и Дебеча, разоблачить кажущуюся опасность «мирного обрастания», показать социалистическое строительство и одних из его участников—коммунистическое студенчество—глазами подлинного художника-диалектика.

Трудности эти писателем не преодолены. Конфликт между «романтикой» революции и ее подлинным реальным содержанием разрешен в неверной идеологической плоскости. Действительность в трактовке автора вместо разоблачающего начала выступает в роли союзника тем чуждым настроениям и идеям, которые должны быть нами категорически осуждены. Писатель так мобилизует свои художественные средства, так организует свой материал, что опасность «мирного обрастания» из кажущейся превращается в реальную, а ножницы между мелкобуржуазной романтикой военных лет и мирным социалистическим строительством расширяются еще больше (пример на человеческом материале—Корчагин, Дебеч, парикмахер—бывший фронтвик, Швецов, голвэ-типы на заводе, где работал Корчагин, и др.).

Отсюда грубо-элементарное, неверное, механистическое понимание той социальной

энергии, которая расходуется активными участниками социалистической стройки. «Работать по 18 часов в сутки и ослепнуть от переутомления»—вот в чем заключается для автора пафос революции мирного отрезка времени.

Но конфликт все-таки должен быть разрешен. Один из двух товарищей—Дебеч, моральная опустошенность и ненужность для революции которого санкционирована автором, устраняется при помощи самоубийства. Остается Корчагин. Но его социальная характеристика неясна. Автор очевидно пытается в лице Корчагина дать положительное разрешение конфликта. Однако несколько высказанных последним правильных теоретических формулировок не спасают положения. Ножницы между романтикой военных лет и строительством мирного периода сомкнулись лишь наполеону. Герои Левина могут умирать, но не работать. Такие отрицательные результаты, идущие в разрез замыслу писателя, объясняются не только неумением автора дать логически обоснованные выводы, стать на более высокую позицию, чем та, на которой стоят герои. Причина кроется глубже.

Персонажи Левина, их поступки, высказывания даны обособленно, вне связи с окружающей их социальной действительностью. Важнейшие проблемы и вопросы, которые органически связаны с разрешением конфликта (реорганизация ин-та, проблема кадров, классовое расслоение профессуры, тема ревности, вопрос о новой форме семейной ячейки), не даны в их конкретном художественном преломлении. Для читателя остается скрытой та мощная деятельность, которая развернулась на всех участках нашего социалистического строительства. Не заметил автор и новую, крепкую, закаленную смену, которая готовится в наших университетах. «Работать по 18 часов в сутки и ослепнуть от переутомления»—остается для писателя тем критерием, с которым он вступил в решающую полосу социалистической реконструкции нашей страны.

Молодому автору предстоит познать серьезную переоценку ценностей. Только овладев методом марксистско-ленинской диалектики, зорко присматриваясь к тем социальным процессам, которые совершаются сейчас в стране, молодой писатель сумеет разрешить проблемы, поставленные эпохой «мирного» строительства.

7. Гиколаева.

И. Рудин.—«Галаган». Изд. «Московское товарищество писателей». 1931 г. Стр. 193. Цена 1 руб. 70 коп.

Его же. «Дикие». Изд. «Федерация». М. 1931 г. Стр. 264. Цена 2 руб.

«Галаган» назван автором—романом; «Дикие» представляют собой книгу рассказов. По существу же «Галаган»—художественное

ственный очерк на тему о коллективизации, а пестрая, распыленная галерея «диких», скрепленная общностью образов, выглядит, как единое художественное целое.

Обе книги, вышедшие в 1931 году, знаменуют творческий рост молодого писателя, дебютировавшего в 1929 году книгой «Содружество». И. Рудин вплотную подходит к волнующим темам сегодняшнего дня, борьба двух начал, — индивидуалистического и коллективистического, развертывающаяся в наши дни, столкновение двух полюсов сознания — таково содержание «Галагана» и «Диких». В выборе злободневных и важных тем, в постановке интересных проблем — несомненная заслуга И. Рудина; но ряд существенных недостатков в значительной степени снижает общественную значимость рецензируемых книг.

В романе «Галаган» должно было быть подчеркнуто огромное, революционизирующее значение социалистического сектора сельского хозяйства в деле перевода раздробленных единоличных хозяйств на рельсы коллективизации. Между тем совхоз у Рудина является лишь фоном для внешнего показа личности основателя и руководителя совхоза — Галагана. Углубленного же показа людей, освобождающихся от власти земли, от собственных инстинктов мы в книге не найдем. Она вся заволнена многочисленными тирадами Галагана и длиннейшими рассуждениями будущих колхозников.

Это чрезмерное изобилие разговорного элемента при отсутствии действительного психологического анализа приводит к неизбежной в таких случаях схематизации и статичности. Ярко-цветистый язык книги, уснащенный пышными метафорами, и сравнения в еще большей степени отягощают зыбкую ткань повествования, делая его необычайно замедленным и лишенным всякой динамичности.

Полную противоположность «Галагану» представляет вторая рецензируемая книга «Дикие»; она свидетельствует о том, что сфера образов «Диких» автору близка и знакома. И. Рудин чувствует себя устойчиво на почве городского быта, который нашел талантливое отображение в первой его книге «Содружество», генеалогическая связь с которой — очевидна (рассказы «Фрол», «Прорва», «Силуэт»). Отточенно-образная речь автора и его персонажей носит следы тщательной работы над материалом.

«Дикие» — это одиночки-интеллигенты и ремесленники, по выражению учителя Верблюдова, — «розничные продавцы свежго труда», стоящие в стороне от жизни, от революции, как «разносчики лимонаду» («уравнение учителя Верблюдова»). Промежуточное классовое положение и отсутствие устойчивых производственных связей порождает у одних эгоцентрическое отношение к миру, а других заставляет тяготиться своим вынужденным отщепенством.

Два лагеря противостоят друг другу; на одной стороне разобщенные одиночки, рыцари «свободного» труда, однако не ощущающие его социального эквивалента, на другом — люди, направляющие свои совместные трудовые усилия на общее благо, на благо государства, коллектива.

Надо однако признать, что коллизия столкновения двух начал так же, как и в «Галагане», не нашла в «Диких» надлежащего истолкования. Автор не сумел вскрыть классовые мотивы дикости, не обосновал причин отказа от нее (перелом у «Диких» совершается неожиданно и внезапно). Рудин и здесь ограничился внешним показом, сделав удачные зарисовки, но не сумев дать синтетического обобщения этого любопытного социально-биологического явления. В результате получился сборник интересно задуманных, но лишенных вну-тренней убедительности новелл.

Перед И. Рудиным стоит ответственная задача — преодолеть инерцию материала, с которым ему приходится оперировать, и дать полновесные, социально-насыщенные художественные произведения, которые мы в праве ожидать от писателя.

Дм. Гельман.

Сергей Третьяков. — «Месяц в деревне». (Июнь—июль 1931 г.). Изд. «Федерация». М. 1931 г. Стр. 256. Ц. 1 р. 50 к. Перепл. 20 к.

Данные очерки, названные автором «оперативными», весьма далеки от «туристского», пассивного, созерцательного отношения к действительности. Автор стремится быть не наблюдателем, а активным участником колхозного строительства (Терская область). Касаясь того или иного участка колхозной жизни, автор не только его просто «зарисовывает», но и стремится к определенным действенным выводам, намечает необходимые дальнейшие стадии развития, стремится оказать посильную помощь в преодолении тех или иных трудностей. Так например Третьяков не просто (не «беспристрастно», т.-е. объективно, не безучастно») «описывает» «колхозного газетчика», а намечает при этом и «ближайшую задачу низового газетного воспитания»: «перевести селькора (в ближайшем будущем) с обличительно-псевдонимно-информационной ступени на ступень открыто оперативную». Активизм Третьякова резко проявляется и в ряде других моментов, — в его разоблачении «левацких» загибов по отношению к середняку, в его борьбе за организацию правильного учета в колхозах и во многом другом. Не замазывая трудностей, видя «болезни» колхозного роста, Третьяков смело и энергично, активно стремится к их преодолению. Духом активности пронизаны страницы его книжки.

Вещам в книжке С. Третьякова, разумеется, уделяется огромное внимание. Однако в данных очерках явственно намечается и преодоление старого «лефовского» фетишизма вещи, узкого внесоциального техницизма. Третьяков видит и людей. Взаимо-

отношения единоличников и колхозников, проблема середняка, рождение новой женщины, рост социалистического соревнования и др. находят себе место на страницах книжки. Третьяков начинает постигать тесную связь вещей и людей, связь производственного процесса и классовой борьбы. Так например борьба за подсолнух, сою и клещевину предстает перед нами как социальная борьба (см. стр. 157). Процесс творческого преодоления С. Третьяковым остатков «лефовщины» еще нельзя считать законченным вполне, однако наличие такого можно отметить.

Остатки «лефовщины», апологии пресловутой «фактографии» между прочим содержатся и в том «ралорте писателя-колхозника», который предваряет настоящие очерки. Справедливо борясь за теснейшую, органическую связь писателя с современностью, верно подчеркивая необходимость активного отношения писателя к действительности, ратуя за внимание ко всем «повседневным мелочам», С. Третьяков — недавний теоретик «фактографии» — все же не может не удержаться от выпада против «обобщений». Верно, что некоторые писатели защитой «обобщений» только прикрывали свое бегство от современности, но столь же неоспоримо, что «фактография» и диалектический метод — весьма отличны друг от друга, что без обобщений художнику современности обойтись никак нельзя и что в конце концов и сами очерки С. Третьякова нам ценны лишь только как материал для известных обобщений. С остатками «лефовщины» советуем Третьякову распрощаться всерьез и навсегда. Это только увеличит ценность его современной литературно-общественной работы.

Арк. Глазюлев.

Анатолий Кудрейко. — «Сердце мира». РАПП. Новинки пролетарской литературы. ГИХЛ. М. — Л. 1931 г. Стр. 64. Ц. 1 р. 15 к. в пер.

Появление «Сердца мира» в серии «новинок» пролетарской литературы «является очередным недоразумением. Что пролетарского в стихах Кудрейки? Вот к примеру «Вступление»: Страна моя! Ты — сердце мира. Таким ты кажешься поэту. Живи, работай и пульсируй: ведь кровь твоя течет по свету». Сразу же замечаются условность и «литературность» кудрейкиных восприятий, сразу же обнаруживается скудость этого псевдонафоса. Но «Вступление» локонично, а вот в «Поэтической ударной» дана развернутая декларация. В начале — дача, писанья, чай, неубедительное вторжение в комнату «героев», а затем, во второй половине — признание, что «до этого (до чего?) песня моя, трепеща, ходила в чаду романтических версий» (следуют спасительные ссылки на Багрицкого, Светлова, Луговского), но теперь, мол, «песен ударных восходит заря». Нет, ударных песен Кудрейко еще не слышно! В

стих. «В ожидании зимы», кроме самых ходячих, бледнеющих перед любой газетной заметкой фраз о партии, ударниках, тракторах, ничего не найти, если не считать неизбежную литературщину. А стих. «Донбасс»? С ним та же история, — здесь Кудрейко преимущественно интересуется «картинками». Главное в том, что забойщик эффектно волочит «полночную тень», ну, а все остальные широковещательные слова никак не поэтизированы, — они существуют сами по себе

Немногом благополучней и с поэмой «Чабан». Если переложить этот многостраничный, вяло организованный «эпос» на язык презренной прозы, обнаружатся почти такое же умение разбираться в действительности, крайняя поверхностность и, что совсем скверно, работа над трафаретами. Конечно чабан когда-то был партизаном. Бесспорно, мельник Сторубель «трясет усами» и «рычит». Несомненно, чабан затевает роман с мельниковой дочкой, а папаша грозится убить обоих. Разумеется, бывший партизан бунтует против дельного секретаря ячейки и выслушивает соответствующую отповедь. Понятно, в дальнейшем идут разговоры о колхозе, мужики сперва мнутесь, но в конце концов мельницу у кулака отбирают, а чабан успешно борется с чарами сторубелевой дочки и в эпилоге оказывается сидящим в «молочной базе». Вот и все. Было бы ошибкой отыскивать в поэме более глубокий показ классовой борьбы на селе. Свою энергию Кудрейко направил не на это. Величина поэмы обусловлена невероятным обилием ни для кого не обязательных описаний и всякими субъективными прикрасами («словно сгусток аметистовый, стояло солнце над водою» и т. п.).

На характер отзыва не повлияют отдельные удачные строки книги, так как им трудно противопоставить и столь же наглядно частые срывы. Дело гораздо серьезнее: молодой поэт, выпуская книгу за книгой, полагает, повидимому, что перестройка мировоззрения произойдет в процессе бесперывного механического писания стихов.

И. Поступальский.

И. Фефер. — Сборник стихов. Предисловие М. Равич-Черкасского. ГИХЛ. 1931 г. Серия еврейской литературы. Стр. 108. Ц. 2 р. 50 коп.

И. Фефер принадлежит к числу еврейских пролетарских поэтов, — так аттестует его т. Равич-Черкасский. Его стихи — наплыву лирика воспоминаний; проникнутых теплым любовным отношением к детским годам и впечатлениям. Он охотно вспоминает еврейское местечко, родных, знакомых, годы детства:

С ветхозаветной крышей из соломы
В наследство мне достался бедный дом, —
Кому домишки эти незнакомы
На пыльном шляхе, с вишней под окном?

Это «наследство» для Фефера не менее значительно, чем для Есенина его вязан-

ская деревня: он часто и охотно возвращается к нему, хотя патетическая часть его стихов—о том же, о чем неизбежно суждено петь молодому поэту наших дней:

Слышу, как грядущий день
Нарастает в шуме...

Тематика Фефера не особенно широка, но свежесте взгляда, черты органического, естественного развития отличают ее. Как художник он довольно сложно и своеобразно развивает образы, часто умеет положить неожиданный и сильный мазок там, где тема как будто не обещает ничего нового. Самое же ценное у Фефера—это дух подлинной лирики, проникающей его стихи. У него не чувствуется выделанности, нарочитости. Переводы, в которых принимали участие несколько авторов (Наседкин, Светлов, Голодный, Антокольский, Багрицкий, Колычев, Олендер), в общем одинаковы по принципам перевода и достоинствам. Это дает нам право говорить, что стихи Фефера достаточно точно переданы русским читателям.

К. Локс.

Ваан Тотовенц.—Жизнь на древнеримской дороге. Перевод И. К. Предисловие А. Тер-Мартосяна. ГИХЛ. 1931 г. 110 стр. Ц. 90 коп.

В книгу В. Тотовенца вошли две небольшие повести: одна из быта турецкой Армении, вторая — современного Нью-Йорка. В предисловии Тер-Мартосяна Тотовенц характеризуется «как наблюдатель, лирически взволнованный художник, понимающий проведенную историей грань, но не идущий дальше обычных сентенций». Не говоря уже о непонятности выражения «обычные сентенции», для начала приходится отметить, что Тотовенц как художник больше и шире этой характеристики. В первой повести, несмотря на импрессионистическую манеру письма, красочный быт полуфеодальной турецкой провинции выступает в очертаниях сильных и впечатлительных. В отличие от гурманствующих эстетов в роде Лоти или Фаррера Тотовенц изображает экзотику турецкого быта изнутри, интимно, во всей ее обнаженности. Мелочи домашней жизни и торговой улицы, образ отца, крупного чиновника, мальчишки-беспризорные, турецкий «святой»— все это дано хотя и в мягком, любовном освещении, но само собой создает определенное впечатление, не нуждающееся в «сентенциях». Вторая повесть, где сатирический замысел преобладает, художественно слабее, хотя и острее по сюжету и подбору фактов. Здесь восточное своеобразие армянских купцов, торгующих коврами, приобрело черты уже до конца своеобразные. Лавки, где задние комнаты превращены в дома свиданий (на ряду с этим адский труд армян-эмигрантов), — таковы «контрасты» буржуазного Нью-Йорка. Социальная сатира в этой повести острее и более определенно направлена. Но... все же Синклер как сатирик сильнее Тотовенца и

лучше его знает американские нравы. Пока—это чувствуется совершенно ясно—Тотовенц ограничен своей страной, своим народом и бытом, понятным и дорогим ему. Но его небольшая книжка представляет несомненный интерес и для наших читателей.

К. Локс.

М. А. Цявловский.—Книга воспоминаний о Пушкине. Изд. «Мир». М. 1931. Стр. 383. Ц. 2 р. 50 к.

Современному читателю пушкинская мемуарная литература в основной своей массе почти неизвестна. Керн, Вульф, еще несколько других названий, и это, по существу говоря, все. Таким образом, нельзя не признать вполне законной и, может быть, даже своевременной предпринятую М. Цявловским попытку собрать воедино все те мемуарные мелочи о Пушкине, которые обильно рассеяны в мало доступных повременных изданиях прошлого века. Преувеличивать удельный вес всех этих беглых, часто случайных заметок, зарисовок, характеристик конечно не следует. Есть в них и более или менее достоверные сообщения; есть и такие, достоверность которых можно только предполагать, поскольку не имеется свидетельств, прямо опровергающих их; есть и самое откровенное вражде и при этом в довольно солидной дозе.

С этой точки зрения настоящий сборник вызывает определенные возражения. Следовало конечно перепечатать воспоминания кишиневского приятеля Пушкина Горчакова, следовало перепечатать мелкие заметки Погодина, Лонгинова. Но для чего было включать сюда же старческую болтовню Макарова или измышления явного фальсификатора Грена, вся известность которого зиждется в значительной мере на его подлогах, — положительно непонятно. Стремление к максимально полному охвату материала вряд ли является здесь достаточным оправданием.

Тем более, что комментарий почти незатрогивает вопроса о большей или меньшей правдивости тех или иных показаний. Краткие общие характеристики включенных в сборник мемуаристов, предпосылаемые каждому отдельному опусу, слишком лаконичны, чтобы оказать какую-либо существенную помощь в этом направлении, а, кроме того, по правде говоря, и слишком бессодержательны.

Вообще нужно сказать, что, несмотря на авторитетное имя редактора, редакционное оформление сборника стоит далеко не на должной высоте. В особенности слаб реальный комментарий, составленный неким Лапиным. Трудно писать более неумело и безответственно, не думая, зачем пишешь, о чем пишешь, для кого пишешь. «Чиновник пятого класса», «человек рыцарской доброты и честности» — такими перлами буквально пестрят примечания. За последние годы пушкиноведение, кажется, действительно начало становиться чем-то похожим

на научную дисциплину, пора бы забыть этот стиль адрес-календарей довоенного качества и дурных некрологов старых провинциальных газет. Современному читателю нужны не послужные списки деятелей прошлого и не беспредметные панегирики их высоким душевным качествам, а объективные исторические характеристики.

Временами небрежность редактора граничит с полной безответственностью. В некоторых местах не оговорено например, кому принадлежат подстрочные сноски: автору, редактору или еще кому-нибудь. В результате читатель с недоумением узнает, например, что село Вяземы принадлежит теперь (?) князю Голицыну. Специалист конечно разберется, но ведь книгу будет читать не только специалист.

При всем этом повторяем: за вычетом всех отмеченных выше дефектов—чрезмерной универсальности в подборе материала, отсутствия развернутого критического аппарата, исключительно неумелой и несерьезной работы комментатора—сборник надо признать не лишенным некоторого интереса. Пушкиноведению такая книга нужна.

И. Сергиевский.

В. А. Сологуб.—«Воспоминания». Редакция, предисловие и примечания С. П. Шестерикова. Вступительная статья П. К. Губера. Изд. «Academia». М.—Л. 1931. Стр. 654. Ц. 5 руб.

Воспоминания Сологуба—одного из наиболее ярких представителей «светской» повести тридцатых-сороковых годов, одного из наиболее внимательных и вдумчивых выразителей салонно-кружковой культуры русского ампира периода ее умирания—давно уже пользуются широкой известностью в нашем исследовательском обиходе. Тем не менее переиздать их конечно следовало. Прежде всего старого суворинского издание доступно сейчас в конце концов только весьма ограниченному кругу специалистов. Затем к основному тексту воспоминаний редактор настоящего издания присоединил ряд других отрывков мемуарного характера, гораздо менее известных и еще менее доступных. Наконец нет ничего дурного в том, чтобы познакомить с сологубовскими воспоминаниями широкую читательскую массу.

И не потому только, что Сологуб—прекрасный мемуарист, исключительно красочно и выпукло рисующий свою эпоху, но и по некоторым другим обстоятельствам. Дело в том, что на литературную обстановку тридцатых—сороковых годов мы в значительной мере привыкли смотреть,—определенную роль сыграла здесь широкая популяризация в последние годы воспоминаний Авдотьи Панаевой,—привыкли смотреть глазами последующего поколения—глазами некрасовского круга и шестидесятников. Воспоминания Сологуба прекрасно корректируют эту привычную точку зрения.

Это не следует конечно понимать так, что Сологуб шире и объективнее своих потомков,—современник не может смотреть на действительность иначе, как с своей колокольни. Но сопоставление этих двух рядов оценок, определений, характеристик дает уже картину, близкую к истине.

К сожалению, редакция издания не проявила достаточной инициативы, чтобы развернуть такого рода сопоставление. Не говорим здесь о примечаниях: они носят узко объяснительный характер и многого от них требовать нельзя. Но пухлая, водянистая вступительная статья Губера могла бы быть и сжатее, и содержательнее, и серьезнее. Мечтательная элегия в стиле дурно и примитивно понятых «Образов прошлого» Гершензона вообще не заменяет историко-литературного и историко-бытового анализа и сугубо неуместна, когда на обязанности автора лежит ознакомление широкого читателя с писателем малоизвестным, писателем, общий идейно-психологический тонус которого в весьма малой степени созвучен основным установкам нашей эпохи.

В заключение два слова о мелких редакционных упущениях. Отсутствует хотя бы краткая библиографическая сводка. Неудовлетворенный губервским водословием читатель, естественно, будет искать других пособий, и то немногое, что есть в нашей историографии о Сологубе, следовало бы указать. Нет действительно необходимого в изданиях такого рода предметно-алфавитного указателя.

И. Сергиевский.

Издатель «Известия ЦИК СССР
и ВЦИК».

Редакционная
коллегия:

{ И. М. Гронский.
А. Г. Малышкин.
В. П. Полонский.
В. И. Соловьев.

Отв. редактор

В. П. Полонский.